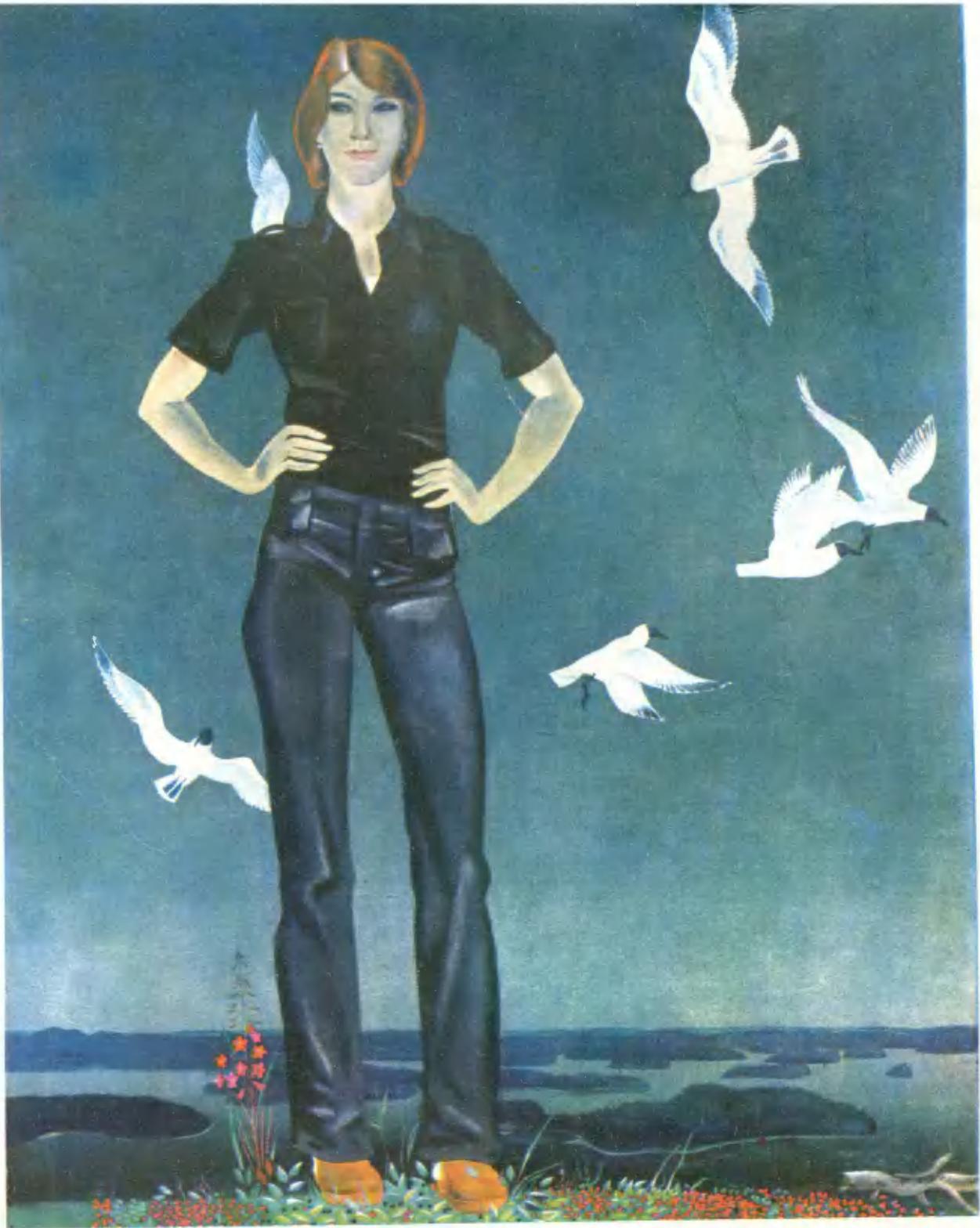


ФОНДЪ

1982





О. САВОСТЮК, Б. УСПЕНСКИЙ.

Чайка.



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

1982
МАРТ
(322)

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

ЮНОСТЬ

3

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Виталий ГОРЯЕВ
Сергей ЕСИН
Леопольд ЖЕЛЕЗНОВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Кайсын КУЛИЕВ
Мария ОЗЕРОВА
Андрей ПОТЕМКИН
Алексей ПЬЯНОВ
(заместитель главного редактора)
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Владислав ТИТОВ
Алексей ФРОЛОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство «Правда»
Москва

Адрес редакции: 101524, ГСП,
Москва, К-6, улица Горького, № 32/1.

В НОМЕРЕ:



Проза

Виктория ТОКАРЕВА. Талисман. Повесть	13
Фазиль ИСКАНДЕР. Джамхух — сын Олена. Народная легенда	36
Сергей БАРУЗДИН. Бескрылый Серафим. Рассказ	54
Аркадий АДАМОВ. Вечерний круг. Повесть	
Продолжение	56



Поэзия

Римма КАЗАКОВА	3
Евгения СЛАВОРОСОВА	9
Виктор МОСПАН	10
Нормурад НАРЗУЛЛАЕВ	11
Виктор ГОРШКОВ	12
Артем АРУТЮНЯН	34
Борис СИРОТИН	35
Юрий КАМИНСКИЙ	52
Давид АСТРАХАН	53
Газим-Бег БАГАНДОВ	80



Публицистика

Строим на Севере	4
ПАМЯТЬ. Выпуск 11-й	72



Критика

Семен ГЕЙЧЕНКО. У Лукоморья	75
Алексей ПЬЯНОВ. В один крылатый миг...	81
Корней ЧУКОВСКИЙ. «Без писания я не понимаю жизни...»	83
Валентин БЕРЕСТОВ. Жизнь, прожитая талантливо	84
Анна КИРЕЕВА. Остановиться, оглянуться...	97
Геннадий АЛИФАНОВ. Живые страницы истории	101
Кирилл КОВАЛЬДЖИ. Видеть звезду...	102
Петр ВЕГИН. Так начинают...	112



Наука и техника

Дмитрий БИЛЕНКИН. Почему молчит космос?	104
---	-----



«Зеленый портфель»

Борис ГУРЕЕВ. Однажды вечером	109
Владимир СЛУЦКИЙ. Современный роман	110
Сергей ТУПИЦЫН. Наша компания	111

Макет
Л. К. Зябкиной.

Главный художник
Ю. А. Цищевский.

Художественный редактор
О. С. Кокин.

Технический редактор
А. В. Сальников.

Телефоны:

Главная редакция — 251-31-22
 Отдел прозы — 251-59-44
 Отдел поэзии — 251-44-35
 Отдел публицистики — 251-02-30
 Отдел критики — 251-96-76
 Отдел науки и техники — 251-27-57
 Отдел рукописей — 251-74-60
 Отдел писем — 251-14-21
 Отдел культуры — 251-48-65
 Отдел сатиры — 251-05-06
 Отдел оформления — 251-73-83

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию издательства «Правда» по адресу: 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24, отдел технического контроля, тел. 257-42-09.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Сдано в набор 11.01.82.
 Подп. к печ. 25.02.82.
 № 08634.
 Формат 84×108 $\frac{1}{16}$.
 Высокая печать.
 Усл. печ. л. 12,18.
 Учетно-вид. л. 17,60.
 Тираж 3 215 000 экз.
 Изд. № 778.
 Заказ № 1894.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типолитография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина,
125865, Москва, А-137, ГСП,
ул. «Правды», 24.



**РИММА
КАЗАКОВА**

☆☆☆

Отдыхаю... Но все же душа открывает и в день этот праздный, как подробности жизни прекрасны, как привычная жизнь хороша, Если взгляд вдохновенно проник в то, что спрятано и заповедно, сколько нового в шелесте ветра, сколько в листьях деревьев — от книг! И в свободной моей голове уложиться спешат впечатленья: неба гулкое стихотворенье, песнопенье росы на траве. Отдыхаю. Пораньше ложусь, тишине благодарно внимая, но в каком-то ином пониманье — увлеченно, счастливо тружусь. Вот какой он, выходит, покой! Принести бы и в день мой рабочий, где все мечется, мчится, грохочет, озаренье работы такой. Чтобы стал ни к чему навсегда от забот и от дел моих продых и душой принималась, как отдых, неизбежная трудность труда.

☆☆☆

Человек силен бедой,
мукой человека.
Он не может — под пятой
до скончанья века,
И обидных непобед
удрученный слоник
не заставит,
чтоб хребет
был ущербно сломлен.
Слезы тоже не навек:
слезы иссякают.
Не сникает человек —
горести сникают.
Ты, любовь, — печаль моя,
грустен ты доселе.
Ты печалишься, а я —
плаваю в бассейне!
Друг-предатель, что грустишь!
Не всесильна сила!
Все себя ты не простишь —
я тебя простила.
Зло неправое смешно —
прышь на чистом теле!

И не может стать оно

злом на самом деле.

Не бывает в зле тепло,

в зле — тоска и бездна.

Злу в лицо глядит добро

ясно и победно.

Не творил бы лучше зла,

не копил бы яда!

Я вот злою не была —

и живу, как надо.

Пережить и значит: жить

всем, что лучше будет.

А тебе еще — кружить,

и петлять, и путать.

Может, умудрят года

в сложном мире этом...

Пусть и для тебя беда

бернется светом.

Алтайская сонатина

В горах на склоне дна,

что был во всем удачен,

ловил для нас коня

поэт Борис Укачин.

Штиблеты отшвырнул,—

водой иди придется,

штаны завернул

и — в гору по болотцу.

Нельзя кусты ломать,

красу Алтая грабить.

А вот коня поймать...

К тому же все — игра ведь!

Похвастайся, Борис,

добром родного края,

всерьез иди на риск,

в свою игру играй.

Внимательнее будь,

прицелься умным оком...

Ведь может и пягнуть

кобылка ненароком.

Красавцы — кони все.

Плынут тела литые...

И в молодой росе

их морды молодые.

Вот — гордый — у куста,

подобный обелиску.

— Хватай его с хвостом! —

кричат друзья Борису.

— Эй, Борыка, не боись!

Смелее! Конь не птица!..

Махнул рукой Борис

и, где стоял, садится.

Как будто бы с трибун,

на зрелище глядим мы.

Уходит прочь табун,

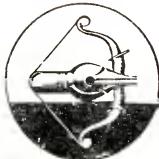
земли алтайской диво.

Сидит босой поэт,

прекрасный наш хозяин,

и смотрит диву вслед

счастливыми глазами.



СТРОИМ НА СЕВЕРЕ



Фото
Л. Шимановича

«Главзапсибжилстрой» — это без привычки труднопроизносимое словосочетание уже не раз встречалось на страницах нашего журнала. В сентябре прошлого года вместе с редакцией болгарского еженедельника «Софийские новости» мы заключили договор о сотрудничестве с этой мощной строительной организацией, которая с помощью болгарских специалистов возводит в нефтегазодобывающих районах Тюменской области города и жилые поселки. А вскоре делегация «Юности» и «Софийских новостей» побывала в Тюмени у наших новых друзей.

Сегодня мы хотим поближе познакомить вас с делами и заботами строителей—делами героическими и заботами нелегкими. Построить город на Севере, и особенно на севере тюменском,—задача наисложнейшая. Здесь суровые климатические условия. Здесь земли, бедные строительными материалами. Здесь трудности с доставкой. И огромные расстояния.

И все-таки строят. Поднялись Нефтеюганск, Урай, Надым, Нижневартовск, новый Сургут. Поднимается Уренгой. Города эти, конечно, уступают городам Большой земли. И в приграссовых поселках невысок пока уровень благоустройства. Но не застыла, не стоит на месте инженерная мысль. Строители думают, спорят, предлагаются, требуют, борются за то, чтобы дать жизнь новым идеям, новым методам. Ведь хотя и кажется: мало кого сегодня надо убеждать, что благоустроенное жилье, развитый бытовой комплекс во многом решают успех освоения — инерцию прошлых лет так просто не избудешь. Порой на ее преодоление тратится не меньше сил, чем на преодоление, скажем, климатических неудобств.

Мы еще не раз расскажем вам, как живут и трудятся наши новые друзья. Как растут и мужают, делая дело большой государственной важности.

Для первого знакомства, для того чтобы почувствовать, каков на вкус их хлеб, предлагаем рассказ начальника «Главзапсибжилстроя» Ильи Варшавского с комментариями журналиста Алексея Фролова.

Вначале нашего разговора я вспомнил, как однажды — мы тогда летели в Сургут — мой сегодняшний собеседник Илья Павлович Варшавский сказал: «А знаешь, пожалуй, жилье для северян должно быть таким же прочным, комфортабельным, продуманным в мелочах, как самолет».

Сравнение показалось неожиданным, даже несколько экстравагантным. Однако, поразмыслив, я подумал, что, сравнивая таким образом, Варшавский предъявлял высокий счет и к своему делу и к себе самому. Подумать только — как самолет!

Смутило одно, и, критически оглядев салон, я сказал: «Надеюсь, не такое тесное?»

Варшавский энергично замотал головой: «Конечно, нет!»

И вот я напомнил Илье Павловичу тот давний разговор.

— Реплику не забыл, — сказал Варшавский. — Она не в бровь, а в глаз. Никуда не денешься, жилье для северян непременно должно удовлетворять трем условиям. Оно должно быть теплым, светлым и просторным. Короткое лето, полярные ночи, длинные холодные зимы, когда на улицу носа не высунешь, делают жилье — комнату, квартиру — основным местом времяпрепровождения. Здесь люди учатся, воспитывают детей, отдыхают, развлекаются. Теснота — помеха!. Но теснота, неустроенность еще и враг. Вот в нынешней пятилетке должно быть построено шесть ниток газопроводов, берущих начало на Севере. И за Полярным кругом в Приобье возникнут новые города и поселки, разрастутся старые. Это крайне необходимо, чтобы быстрее достичь уровня суточной добычи нефти в 1 миллион тонн, а газа — в 1 миллиард кубометров. Значит, нужны десятки тысяч дополнительных рабочих рук. Надо привлечь их в область. Привлечь, как известно, это еще не закрепить. Многолетняя практика освоения показывает, что люди «голосуют ногами»: никакой северной надбавкой их не удержать, если здесь, на Севере, жилье тесное, неблагоустроенное. Если не развит соцкультбыт — нет детских садов, магазинов, комбинатов бытового обслуживания... Сегодня мы в области это хорошо понимаем. Например, одно из ведущих подразделений нашего главка, Сургутский домостроительный комбинат, построил в прошлом году «для своих» сорок тысяч квадратных метров жилья. Люди обычно по восемь—десять лет в очереди стояли, а тут за год ощутимый сдвиг. И это только начало... А как по-иному? Не обеспечь мы жильем самого строителя, нам вовек не справиться с пятилетним заданием. Миллион квадратных метров — такую мощность мы будем иметь к концу пятилетки.

Думая о первостепенных нуждах, о неотложном, мы не забываем и о сверхзадаче: жилье для северян должно быть теплым, светлым и, подчеркиваю, просторным. Сейчас в Сургуте уже строят преимущественно по проекту ленинградцев. Великолепные многоэтажные дома с кладовыми, сушилками. И главное — повышенный уровень комфорта. Конечно, такими квартирами мы не сумеем обеспечить тысячи и тысячи приезжающих. Улучшенная планировка

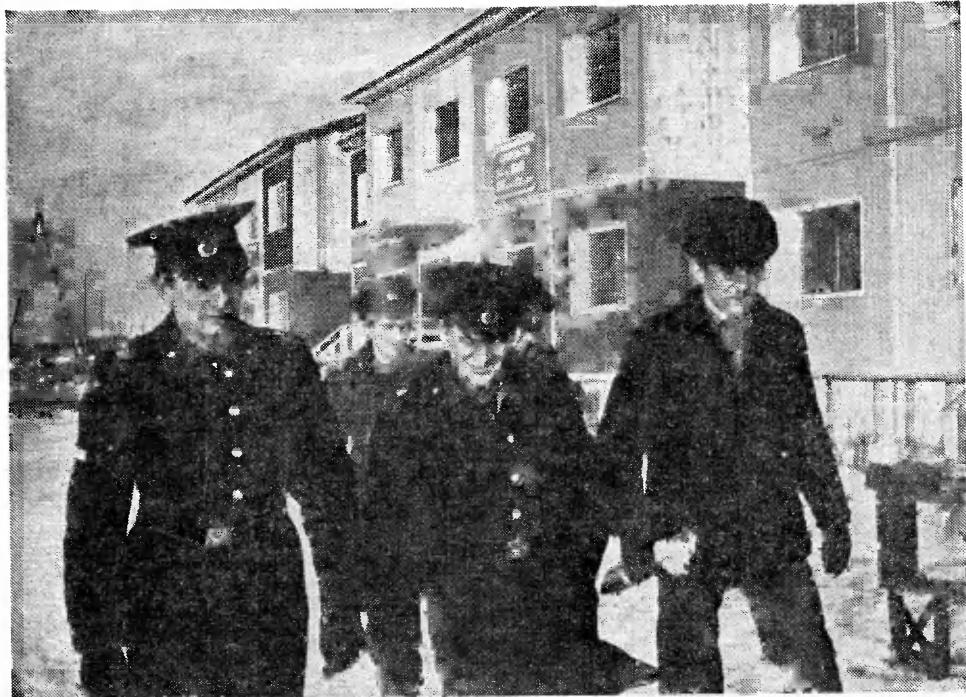
для тех, кто не год и не два проработал на суровой тюменской земле. Только-только приехал — поживи в общежитии гостиничного типа, в квартирах — отличных, удобных — для малосемейных. А перспектива — вот она, перед глазами: со временем и ты сможешь получить подобные апартаменты.

Если у вас под руками есть карта Тюменской области, взглянув на нее, вы сможете убедиться, что производственные интересы этого главка не замыкаются на традиционных промышленных центрах области — Тюмени и Сургуте. Шестьдесят подразделений работают в системе этого строительного главка, и они разбросаны по всей Тюменщине в строгом, разумеется, соответствии с необходимостью. В Надыме и Уренгое идет работа на газовиков. В Белом Яре, Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске и Урае — на нефтяников. В Тюмени изрядная доля забот строителей приходится на крупный социально-экономический эксперимент. Но об этом чуть позже. Сейчас попробуйте прикинуть расстояние от штаба главка, который расположен в областном центре, до ближайшего северного подразделения — выйдет около пятисот километров. Ну а дальний, Уренгой, — это уже все полторы тысячи. Ни одна организация страны, строящая жилье, не имеет столь обширной географии. Как управиться с таким разветвленным хозяйством, если для того, чтобы устроить элементарный смотр всем объектам, их нужно не обойти, не объехать, а облететь, потратив на это не одни сутки?

У Варшавского это здорово поставлено — транспорт и связь. Я не раз присутствовал на селекторных совещаниях, которые неукоснительно дважды в неделю начальник главка устраивает по радио с руководителями всех подразделений. Не раз приходилось наблюдать, как прямо из кабины автомобиля он «достает» по радиотелефону нужного ему человека, получает самую свежую информацию. И пропортуолеты, которые обслуживают главк, неизменно шутят: у них, мол, всегда разогретые двигатели, готовность номер один. И все-таки четкой организации, хватки делового человека было бы явно недостаточно, чтобы управлять огромным хозяйством. Управлять, умело координировать, избегая ошибок, дублирования, неразберихи и суеты, отмены принятых решений. Здесь, помимо всего, должна была бы «работать» продуманная, хорошо отлаженная система...

— Может, для кого-то, — сказал Варшавский, — подобная разбросанность и служит извиняющим обстоятельством: расстояния немалые, всякое случается — тут и непогода и транспорт частенько не на высоте. Однако для нас эта вынужденная разбросанность явилась моментом мобилизующим. Заставила шеевить мозгами, искать оптимальный вариант.

Сразу было яснее ясного: предприятия стройиндустрии — заводы железобетонных изделий, домостроительные комбинаты — должны находиться на кратчайшем расстоянии от строительных площадок, чтобы не возить панели, скажем, из Тюмени в Сургут за семьсот километров, а монтировать дома если не из «горяченьких», то из «тепленьких». Впрочем, монтаж — это не самое сложное. Куда хлопотнее, это сегодня знает любой неспециалист, с инженер-



На снимке:
скоро бывшие воины
сменят шинели
на спецовки
строителей.

ными сетями — вода, тепло, канализация. А что если создать специальный трест опережающей инженерной подготовки? Счастливая мысль! Этот трест без проволочек был создан, и сегодня его специалисты приходят на место будущего микрорайона задолго до монтажников. Они занимаются только проектировкой подземных коммуникаций. Только отсыпкой площадок и подготовкой свайных полей под будущие дома.

Но этим мы не ограничились. Очередная закавыка случается, когда начинается монтаж лифтового оборудования, сантехники, электролиний. Работами этиими занимаются специализированные организации, которых, как правило, рвут на части. Мы решили отказаться от услуг этих субподрядчиков и производить все работы силами своих специалистов. Словом, изготовление панелей и санитарных блоков, прокладку инженерных сетей, монтаж самой коробки и всей начинки дома и, естественно, транспортировку изделий и оборудования — все: подготовительный, строительный и отделочный цикл — мы замкнули на себя. Ответственность немедленно повысилась. Не было теперь «дяди», на которого можно было что-то свалить и спрос с которого, как правило, был невелик. Ты сам отвечал за все.

Я не был в Сургуте год, а когда приехал в очередной раз, поразился увиденному. На пустыре, где всего год назад лепились полуусевшиеся, полуразвалившиеся балки, красовался новенький микрорайон, триадцатый по счету. Пятиэтажные, крепкие — один к одному — дома. Раньше такие микрорайоны строили три, а то и пять лет. А теперь (действительно, счастливая, хотя и не новая осенила строителей мысль) опережающая инженерная подготовка в трое сократила сроки строительства. Более, было здесь и другое. В точном соответствии с задуманным, на Сургутском домостроительном комбинате (ДСК) внедрили поточное строительство. Еще те-

площадки подавались на строительную площадку, и бригада моего знакомого Володи Проценко, смонтировавшая в восемидесятом году совсем немало — тридцать пять тысяч квадратных метров изделий, — в году минувшем подобралась к пятидесяти тысячам. Мне рассказывали, в Сургут к домостроителям наладились приезжать за опытом. Всем хотелось строить дома «с колес»...

— Ну а начинали-то всего два с лишним года назад, — продолжает рассказ Илья Павлович Варшавский. — Однинадцать тысяч тогда у нас работало. Назывались не главком — объединением. А заботы тех дней? Что ни день, отправляю телеграммы в Харьков, Киев, Днепропетровск. Своим друзьям, на тамошние ДСК. «Зашиваюсь с арматурой. Пришли специалиста». «Плохо с отделкой, командируйте человека знающего». Выручали, спасибо им, не было отказа. А руководство меня критикует: «Воспитывай, выращивай своих специалистов! Что-то они у тебя не очень задерживаются. Может, характером крут?» Им невдомек, что дело-то не в крутизне моего характера — в необычных условиях для работы. Чаще складывалась такая ситуация.. Приезжал толковый инженер. Опыта вроде ему не занимать. Но опыта и разворотливости в условиях большого города, где все под боком. Снял трубку — транспорт у порога. Сто метров прошагал — стройплощадка. Стукнул кулаком по столу — к вечеру слабженец везет дефицитный материал. А здесь у таких частенько руки опускались. И человек вроде знающий, толковый специалист, отсеивался, уезжал на Большую землю... Остаются, как правило, предприимчивые, «крутеожные», инициативные, дерзкие в деле. Его хлебом не корми, дай новую задачу, и он три варианта решения этой задачи тебе выложит. И непременно доберется до оптимального решения. Я бы назвал таких романтиками, но не наивными — из тех, кто едет к нам «за запахом тайги», а обладающими большим жизненным

опытом и знаниями, высокими профессиональными навыками. Они легко входят в дело, легко перестраиваются, могут рискнуть, не боятся должностных препятствий. Как правило, такие люди уже прошли школу сибирской стройки. Это, думаю я, уже сложившийся тип человека освоения. Они, рабочие, инженеры, руководители, и составляют костяк. Задают на стройке тон и постепенно — тут торопиться никак нельзя — обращают людьми. Жилищное строительство — дело тонкое. Наша продукция выходит прямо на человека. Поэтому среди строителей, как ни был бы велик голод на кадры, не хотелось бы иметь людей случайных, залетных, преисполненных равнодушия. Они бросают наше дело тень.

Вот Станислав Иванович Калиниченко — тот самый человек, вокруг которого «кучукается» толковый люд. Калиниченко — начальник Сургутского ДСК, о котором сегодня много говорят и пишут. А ведь совсем недавно это было слабенькое предприятие, и Станислав Иванович, занимавший ранее солидные посты, ушел на этот отстающий участок, пожертвовав чинами, положением во имя дела. И с ходу закрутил работу. Калиниченко сделал ставку на инициативных специалистов. Вместе с ним предельную нагрузку несли Станислав Таслицкий, Богдан Скрипец, Олег Мубаракшин и другие. За считанные месяцы комбинат вдвое увеличил выпуск продукции. А в скором времени в Сургуте станут изготавливать детали домов общей площадью полмиллиона квадратных метров.

В отделе кадров «Главзапсибжилстроя» мне дали небольшую справку. Сегодня в системе главка работает уже двадцать шесть тысяч человек. Средний возраст — двадцать девять лет. Пополнение в основном идет за счет молодежи. Это ребята, демобилизовавшиеся из армии. Это бойцы ударных строительных отрядов, которые посыпают на Тюменскую стройку комсомол. Таких отрядов было четыре: имени 25-летия целины, «Молодогвардец», имени XXVI съезда партии и имени Николая Островского.

Не все у отрядовцев сложилось гладко. Двадцать процентов ребят не прияли тюменских условий и разъехались по домам. Еще двадцать ушли со стройки по причинам не столь категоричным: семейные обстоятельства, «неклимат», болезни. Шестьдесят процентов прижились. По мнению специалистов, цифра эта сравнительно высокая. И первопричина называется: на стройке благоустроено жилье, наложен быт.

Это действительно так. Кто бывал в великолепном сургутском общежитии или в «малосемейках», подтвердит: молодежь здесь встречают как в доме родном. Но ведь в конце концов не ради комфорта бельевого жилья ехали сюда ребята и девушки — работать. И, видимо, что-то особенное, присущее только этой стройке привлекло их сюда, заставило остаться, связать свои жизненные планы с Тюменью.

Гадать особенно не приходится, привлекала сама атмосфера, сам дух стройки.

— По себе знаю, — говорит Варшавский, — здесь не соскучишься. Каждый день жизни подбрасывает новые задачи, и одна крупнейшая, ответственная, неотложней другой. Только успевай поворачиваться...

Кому приходилось бывать в Тюменской области, особенно в междуречье Оби и Иртыша и в Среднем Приобье, тот знаком с этой шуткой, которая пошла с легкой руки строителей. Все города у нас привозные, говорят здесь. Весомая доля правды в этом при словье. Все, что в железобетонной плите, кроме арматуры и цемента, — простые заполнители, или, по нашему, инертные материалы. Цемент мы везем издалека, сталь, понятно, тоже. Так надо еще и запол-

нители в вагонах и на палубах барж транспортировать. Нет их на Севере. Импортный гравий в копеечку влетает, привозной щебень тоже не дешев. Идем на эти расходы, привычно сетуя на обстоятельства. А если подумать, не дефицит инертных материалов, а собственная инертность порой заставляла перегонять сотни, тысячи тонн балласта... Отыскались все же запасы местных заполнителей. У нас под ногами. Правда, это еще не готовый продукт, а полуфабрикат.

Вместе с азербайджанскими учеными был разработан способ получения из местных глин нового строительного материала — азерита. Он может заменить в крупнопанельном домостроении и легкий заполнитель — керамзит — и добавляемую для прочности щебенку. И что совсем немаловажно, его не нужно будет возить из дальних далей. Производство будет налажено на месте.

Или еще одно, что также передает очень дорогую моему сердцу атмосферу напряженных поисков.

Обычно «хлеб» строителей — железобетонные панели, лестничные марши проходят на заводе термообработку паром. Шесть часов длится эта паровая баня. И в цеху туман стоит — на расстоянии вытянутой руки порой ничего не видно. И вот в Надыме, благо район газонесный, мы придумали заменить пропарку горячей термообработкой прямо на газу. Простое вроде бы дело, но оно равно крупному техническому достижению. Деталь при горячей обработке «созревает» уже не за шесть, а за четыре часа. И тут, как вы понимаете, не только идет экономия уловного топлива. Подобно тому, как в сельском хозяйстве при какой-то рационализации с гектара снимается большее количество хлеба, мы при новом способе снимаем с одного квадратного метра производственной площади куда больше «хлеба» для жилищного строительства. И людям теперь работает легче. Тепло, сухо, и дышится нормально...

Про Варшавского я знал не очень много, но, думаю, вполне достаточно, чтобы понять — у него прекрасная школа. Его вкусы, инженерные пристрастия, какие-то очень легкие отношения с людьми, подкупавшая прямота, его «заводной» характер, столь симпатичные мне черты делового человека, только подчеркивали главное в этой личности — глубокое и разностороннее знание своего дела. А это штука не заемная. Ее надо наработать.

Вот как нарабатывал.

В пятьдесят седьмом, после окончания Днепропетровского инженерно-строительного института (диплом писал на кафедре организации производства по проблемам заводов железобетонных изделий) поехал на казахстанскую Магнитку. Работал мастером, начальником участка. Строил ТЭЦ, участвовал в пуске первой казахстанской домны. Здесь закалился и как общественный работник. Был председателем совета молодых специалистов всей стройки. А молодых специалистов здесь было за две тысячи. Казахстанская Магнитка, по словам Варшавского, показала ему размах, масштабы дела. Потом был Кременчуг. Здесь — уже другая страна жизни, связанная с жильем. Многие районы в Кременчуге под его руководством построены. И новое назначение — начальником первого на Украине экспериментального ДСК объемно-блочного домостроения, который, кстати, сам строил и пускал. И, наконец, Сургут, Тюмень, уже отчасти знакомые вам сибирские дела.

Обычно перечисление «через запятую», давая информацию вообще, мало что объясняет. В перечислении жизненных ступенек Варшавского четко, однако, просматривается служение двум гигантам строительства — промышленному и жилищному. И становится ясно, почему сейчас, когда главк работает по

замкнутой системе « завод — транспорт — жилстрой », Варшавский профессионально владеет ситуацией.

Но хотелось бы подробно о другом. О «коньке» Варшавского, о его главном пристрастии.

В тридцати километрах от Тюмени, в местечке Винзили, работало пресколько небольшое предприятие. Здесь выпускались деревянные дома контейнерного типа. Домики симпатичные, сорок четыре, как говорится, «квадрата». Особнячки, да без удобств! Я хорошо был знаком с комбинатом в Винзилиях. Многие годы наш журнал ратовал за временное жилье для северян именно контейнерного типа. Оно легко — железной дорогой, автотранспортом, вертолетом — перебрасывается. Легко и быстро монтируется. Отчасти «Юность» «повинна» в том, что здесь была запущена хотя и не до конца продуманная, но все-таки контейнерная серия.

Совсем недавно Варшавский принял предприятие в Винзилиях на баланс. И сделал из него первый за Уралом домостроительный комбинат по возведению деревянных зданий из объемных блоков.

— Мое глубокое убеждение, — говорит Варшавский, — жилищник должен идти в район сразу за разведчиком-геологом. И строить там сразу же капитально. В тайге, в глухомани, на строительстве железнодорожной ветки или магистрального газопровода люди не должны быть обделены теплом, светом, удобствами. Это ведь неверно, что строительство жилья, соцкультбыта, мол, непроизводительная сфера и туда можно меньше вкладывать, можно «отламывать», случись какой прорыв в сфере производительной. Ведь мы обделяем не сферу, а человека, который — считать так считать! — дает куда меньше в условиях дискомфорта и неразвитых социально-бытовых условий. Словом, когда я получил Винзилинский комбинат, я недолго горевал. Еще с тех времен — с Кременчуга, когда был начальником экспериментального ДСК, понял, что такое объемно-блочное домостроение. Основная работа — семьдесят пять, а то и восемьдесят процентов — делается в заводских условиях. А строительная площадка фактически пре-вращается в монтажную.

По существу, это сборка из бетонных объемов нескольких разновидностей. За этим методом будущее. Мы неминуемо придем к нему и на Севере, где в особой цене повышенная заводская готовность. Но разве уже сейчас нельзя утверждать явные преимущества этой технологии на традиционном материале — дереве? Скажете, есть сборные дома, где основным элементом стала не доска, а щит? Мы не возражаем: это — достижение пятидесятих годов. Потом контейнерные особнячки... Еще малый шаг вперед. Но и только. А если комплектовать из блоков не особняки, а много квартирные дома? Не два-три блока, а восемь десятков — готовые единичные здания? И самые трудоемкие операции перенести с семи ветров в заводские корпуса? Не так ли, кстати, поступили работники комсомольско-молодежного треста «Тюменгазмонтаж» на заре освоения, когда рождался блочно-комплектный метод сооружения промысловых объектов, за которые коллектив, входящий теперь в состав главка, удостоен премии Ленинского комсомола?

Кстати, опыт треста, когда каждый становился участником и полноправным соавтором эксперимента, пригодился и нам. На ходу принимались решения, уточнялись варианты, одновременно реконструировались цехи, определялись линии конвейера, коллективно складывался облик нашего первенца. Невидано быстро наш проект получил права гражданства. По крайней мере председатель «Госгражданстроя» Геннадий Нилович Фомин помог узаконить эту идею.

Представьте себе, что куда-нибудь в Заполярье доставили наши готовые блоки пятнадцатиметровых комнат, лестниц, санузлов и в минус пятьдесят строили двухэтажный 24-квартирный дом не год, как водится, а монтировали — складывали из блоков, словно из спичечных коробков, всего пятнадцать дней! Смонтировали (дом еще на заводе был начинен удобствами — газовая плита, водопровод, батареи центрального отопления, санузел; на полу линолеум, обои, рамы с тройным остеклением), теперь только подключай к магистральным сетям: к воде, канализации, электричеству...

Это не сказка. Это уже сегодня реальность. В прошлом году мы сделали порядка шестидесяти тысяч квадратных метров таких домов, к концу пятилетки доведем до двухсот тысяч... Смущает, что деревянное? В городе Тюмени есть «деревянки», которые по стоимости пятьдесят лет стоят. А иные дома из железобетона — и пяти лет не прошло — на ладан дышат!

Еще одно преимущество деревянных объемов, или, как мы их называем, модулей. Они позволяют архитектору, конструктору маневрировать. Их можно сдвигать вправо-влево, меняя рисунок строения. Мы заботимся о том, чтобы наш дом имел лицо. И тут в дело идут накладные детали в русском стиле, краски разных цветов.

Не сказать, чтобы эта наша продукция шла тут. Спрос большой. И он еще увеличится, когда нитка железной дороги придет в Новый Уренгой — уже в начале этого года. И все-таки мы не жалеем ни сил, ни средств на пропаганду своего детища. Недавно на экспериментальной площадке Винзилинского комбината поставили целый дом. И квартиры в нем отделали по-разному: одну — пластиком, другую — деревом, третью — обоями. Приходите, приезжайте — охотно поделимся опытом. Модули — это не только быстрое, но и качественное решение жилищной проблемы в условиях интенсивного освоения. Сосплюсь тут на опыт нашего главка. Для очередников Винзилинского комбината мы решили построить целый поселок из деревянных объемных блоков. И знаете, противников такого жилья среди строителей не оказалось. Они сами его производят и видят все преимущества и достоинства... Ну, а мечта — создать на базе объемных вариантов набор детских учреждений для комплексной застройки, набор магазинов, столовых, комбинатов бытового обслуживания. Без всего этого нет поселка...

Так же, впрочем, как и города.

Я знаю, что заботит сегодня Варшавского, о чем он постоянно толкует на совещаниях. Ввод жилья в Сургуте серьезно опережает строительство соцкультбыта. И это обостряется сложными социальными проблемами. При острой нехватке кадров немало женщин, отличных специалистов, сидят в уютных сургутских квартирах с детьми на руках. Хронически не хватает яслей, детских садов. Магазин пришлось делать из панелей, предназначенных для строительства жилья. Нет индустриальной базы, а ведь соцкультбыт строится на отдельных специализированных предприятиях.

Такое намечено построить на 160 тысяч квадратных метров сборного железобетона, и руководство главка то и дело теребит проектировщиков. В Уренгое, этой газовой столице Тюменской области, не должна повториться сургутская ситуация. Город — это все сразу: и жилье, и детские сады, и школы, и магазины.



ЕВГЕНИЙ СЛАВОРОСОВА

Музыкальный день

А день сегодня музыкальный,
С утра шумит листва и кровь.
Дождь на поверхности зеркальной
Пруда с налета выбил дробь.
Звнят на дереве пичуги,
Звенят трамвай, звенят в ушах,
И ливень выплеснул в испуге
Воды серебряной ушат.
Плется звуков паутинка
Весь день из горлыши птенца,
А за стеною поет пластинка
Одно и то же без конца.
И голос человека странно
Плынет, вплетаясь в лес и плес.
Под лепет лип, дождя сопрано —
До дна, до облака, до слез.

☆☆☆

Уходишь — а день нынче
Хмур и тревожен.
О, будь осторожен, о, будь осторожен.
Друг другу в глаза на прощанье глядим.
Останься, прошу тебя, цел-невредим.
Уходя из дома — на службу, на битвы.
О вечная жалоба женской молитвы:
«Зачем ты покинул родимый порог!
Храни тебя сердце, храни тебя бог!»
Но в страсти, в любви
Компромисс невозможен.
Не будь осторожен, не будь осторожен.
О заговор женский, что жгуч и горяч:
«Не прячь свое сердце,
Любимый, не прячь!»
От страха лицом, как бумага, белея,
Ждет женщина, любит и мучит жалея.
То вверх поднимаясь, то падая вниз,
Кричит: «Уходи!» — и рыдает: «Вернишь!»
Во мне этот вопль нелогичный заложен:
О, будь осторожен, не будь осторожен.
Молю я: «Спасись из воды, из огня
И сердце свое сохрани для меня!»

Домая дорога

Только б увидеть,
Услышать скорей его!
Снова Кусково и Новогиреево.
Под облаками причудливых форм
Гуд проводов и мельканье платформ.

Снова любовь, и бессонница снова,
Свежестью пахнущий воздух сосновый,
И над богатою зимней казной
Вскинутых веток рисунок сквозной.
Вырос дымок, словно белое дерево.
Не потерять, не забыть мне теперь его.
Лес и дорога — как будто с клише,
Все отпечаталось четко в душе.
Сколько отмерено грусти-тревоги
На километр этой долгой дороги,
Сколько деревьев и сколько минут?
Руки тетрадку в волнении минут.
О напряжение страсти и слова!
Снег рукавичкой на лапе еловой,
Бег электрички — как гонит ее
Сердце мое, нетерпенье мое.
Склонна сегодня к слезам и веселью,
Вихрем примчусь я, нежданной метелью.
Растормошу, рассмешу, закружу,
Не заморожу, а заворожу.

Азбука Крыма

Возносятся к небу так чисто и хрупко
Веселые зовы — Алушта, Алупка!
Как будто бы вскрикнул невидимый хор
С восторгом — Гурзуф,
с придыханьем — Мисхор.

И длится минута от века до века.
Так птицы кричат или дети Артека!
А звуки камнями срываются вниз,
Осколки летят — Кореиз, Симеиз!

О воздух, сияющий в солнечном ветре,
Царапают небо вершины Ай-Петри.
Меж каменных ребер родившийся крик,
Зеленого моря соленый язык.

Кто эти выписывал мысы и бухты —
Истории древней нестертыне буквы!
Кто, горы и скалы рассыпав вот так,
Поставил сосны восхлипателный знак?

Протяжная песня от века до века,
Дыхание тавра, и скифа, и грека,
И облака пар, и Отечества дым
Смешались с горячим дыханьем моим.

Сигналят суда, проходящие мимо,
Учу на каникулах азбуку Крыма,
Машу кораблям загорелой рукой,
Шепчу: «Аю-Даг» и вздыхаю: «Джанкой»...

Сокольники

Сокольники, Сокольники,
Мелодия простая,
Как будто с колоколенки
Вспорхнула птичья стая.

Как будто сердце съзнова
Звенят колоколами,
Внезапно в небо брызнули
И вспыхнули крылами.

И слышно рифм лепечущих
Глухое бормотанье,
И стая крыл трепещущих,
Как сердца трепетанье.



**ВИКТОР
МОСПАН**

☆☆☆

Опять ветерану не спится.
Опять в тишине, в полусне
Ему отступать от границы,
Шагать по родимой стране.
Не сгинуть в беде окружений,
С боями идти на рассвет,
И вынести из поражений
Священную ярость побед.
Столкнуться с тоскою и скорбью
И кровью окрасить снега,
Но все же в лесах Подмосковья
Сдержать и отбросить врага.
Потом, сокрушая твердыни,
На запад прокладывать путь...
И лишь в покоренном Берлине
Под утро спокойно заснуть.

Один в поле воин

Когда фашист в бою прорвал
Цепочку редкую пехоты
И захлестнул железный вал.
Артиллерийские расчеты,
Пушечка малая одна
В огне случайно уцелела.
Чуть в стороне была она —
Не в самой жаркой точке дела.
Но выбит был ее расчет
Давно — еще при артобстреле...
Фашистский танк растет — идет,
Не останавливаясь, к цели.
Но встал израненный солдат,
В сердцах он вспомнил чью-то маму.
Затем солдат
Дослал снаряд
В казенник,
Встал за панораму
И честно принял смертный бой
За всю Советскую Россию,
За все живое за собой.
Один. Потом пришли другие.

Воспоминание о строевой песне

Проходит взвод, равненье сохраняя.
От шага строевого пыль столбом.
Но наша песня, песня строевая —
Как жаворонок в небе голубом.
Ее легко выводят запевала,
И за собою нас ведет она

До скорого желанного привала,
Где мы поступим под начало сна.
А поздней ночью, спящих согревая
Мелодией, что теплится в душе,
Мужская песня — песня строевая —
Звучит как колыбельная уже.

Раскованность

На смотрах строевых в былые годы
Мы занимали первые места.
И знаем, что у строя и свободы
Есть общее. И это неспроста.

Раскованность дают лишь ясность цели,
Уверенность и песня в вышине.
Кто походил в строю, узнал на деле,
Что это так. А вы поверите мне.

☆☆☆

Никогда наподобье улитки
Не таится в себе доброта,
Простодушность не прячет улыбки,
Не маращает себя чистота.
Откровенны высокие чувства.
Хитроумия в них не найдешь.
Не нужны им услуги искусства
Под всеобщим называнием ложь.

☆☆☆

...А был он так занятен,
Что видеть не хотел
На Солнце темных пятен
И в жизни черных дел.
Потом его не стало,
А жизнь себе идет,
И людям горя мало:
Совсем забылся тот,
Чья каждая причуда
Являла мудреца...
И некому у Солнца
Пятно стереть с лица.

☆☆☆

Цветет подсолнух.
Щедро, празднично
Одаривает край чужой,
А занимает место — разве что
Клочок обочины с межой.
Не балуют его колхозники:
Не помидор — не пропадет.
И подтверждает осень поздняя,
Что оправдался из расчета.
Глядишь — и вправду: у околицы
На сажень выше городьбы
Застыли строем добры молодцы —
Сплошные русые чубы.
Как перед девицею-павою
Красавцы, первые в селе,
Стоят подсолнухи — кудрявые
И словно чуть навеселе.



НОРМУРАД НАРЗУЛЛАЕВ

Письмо

Прсхожу перед маленьким домом,
Светит мне дорогое окно.
С легким смехом и горестным стоном
Кружит времени веретено.
Ты все пишешь мне, ночь коротая,
Сердце бедное держишь в узде.
Темнота, как ущелье, крутая
Поднимается к дальней звезде.
Обо всем забывая при этом
И себя забывая, сама
Простодушным, наивным секретом
Вдруг поделившись в строчке письма.
Ждут любви непрожитой тетради,
В них страницы легки и свежки.
Чистоты этой девственной ради,
Еремя быстрое, долго кружи!..
Свет в окне твоем тих и укромен.
Жадным взором его я ловлю.
Пресечется он — мир станет темен,
Жизнь промчалась — а я все люблю.

Шахида

Неужто стоило труда
Ко мне собраться, Шахида!

Ты так добра и весела.
Жаль, что не очень-то смела.

Но солнца тайного огонь —
Коснись тебя — прожжет ладонь.

Сильнее приворотных зелий
Лишь очи у моей газели.

Но даже юная луна
Не так бела, не так юна.

Но даже свежие цветы
Такой не знали красоты.

И каждый раз, как в первый раз,
Пьянит, пьянит свиданья час.

И счастье, хоть твой путь неведом,
Ступает за тобою следом.

Ты вспоминаешь ли порой,
Какою тешилась игрой!

Слова какие неспроста
Лились легко из уст в уста!

А взять из них хотя бы слог
Для этой песни я не смог.

Думы

Так сердце красоте природы радо,
Когда и дни и ночи напролет
Ковер из золотого листопада
Искусный ткач — осенний ветер — ткет.
А в те следы, что я земле оставил,
Вода живая жизни натекла;
Подземный ключ ее сюда направил,
Она была прозрачна и тепла.
И свет, который брезжил издалека,
Пока я шел, лесами окружен,
Как бы в цепочке оброненных стекол,
В моих следах надолго отражен.
Простые мысли обретают крылья,
И сердце начинает ждать чудес,
И песня прорастает без усилия
Сквозь тьму немую, чтоб достичь небес.
А свет любви сверкнет на небосклоне
И увлечет опять иди вперед.
Мир так тяжел, как яблоко в ладони,
И полон соков, как созревший плод.

☆☆☆

Усымой подведя свои черные брови,
Ты взгляду предстала, как будто бы внове,
И вновь я на свете про все позабыл
В темнотах и муки моей и любови.
Там, где ты ступаешь, вверх тянутся травы,
Строянеют деревья, что были корявы.
Ты праздник приносишь своим появлением.
Зачем только взоры твои так лукавы?
Играя небрежно букетом райхана,
Ты близко прошла, улыбнулась нежданно.
Но свежие скоро увянут цветы.
Надежда смела, но страшится обмана.
Уж лучше неведенье, лучше незнанье,
Чем это наивной душе наказанье.
Любимая, жизнь нам дается однажды.
Но жизнь — неужели одно лишь страданье?
В раскрытых объятиях нету угрозы,
А в летней поре не таятся морозы.
Ты трезвой рукой скоро смоешь усыму,
Но помню улыбку я трепетней розы.

☆☆☆

На судьбу не жалуюсь я боле,
Всем доволен — нечет или чет.
Сердце, как редактор, поневоле
Строки жизни строго перечтет.
Встретил я рожденья день в дороге,
Воду родника испил в горсти.
Еремя оглянувшись, чтоб итоги
Подвести и дух перевести.
Небосвод ко мне склонился старый
Так, что разом я увидеть смог
Судьбы всех друзей — слились удары
Сердца моего с рожденьем строк.

Мера

Все на земле, недаром говорят,
Имеет свой предел и ценит меру.
Предел переступая, вносишь яд.
Ты в чашу с медом, этим губишь веру
В гармонию, что даже жизни краше...
Кто ж меру мерит? — Только сердце наше.

Перевел с узбекского
Н. ЗЛОТНИКОВ



ВИКТОР ГОРШКОВ

Трасса

Гряда за грядою встают чередою,
Вершины синеют вдали.
На темные пади вечерней порою
Седые туманы легли.
Потоки, по склонам шарагаясь пьяно,
Ирезали горный массив,
Извилистый путь к берегам океана
На ощупь себе проложив.

Пока, продвигаясь по трассе,
Тротилом преграды дробя,
Ты здесь, среди гор,
Покоряешь пространство,
Тайга покоряет тебя.

Твой путь к океану —

то склон, то распадок,
то снова река впереди.
Сейчас эти реки — всего лишь преграды,
Но с ними тебе по пути.
Тебя обжигает вода ледяная,
Мошкá заедает сейчас,
Но к этим ручьям, о тайге вспоминая,
Еще припадешь ты не раз.

Марф

Не дело ждать своей минуты,
Таясь пугливо в уголке.
Талант подобен парашюту —
Он раскрывается в прыжке.
А этот шаг — нелегкий труд.
Непросто на прыжок решиться.
Ведь ясно: всякий парашют
Обязан вовремя раскрыться.
Но ты шагнул и — прочь сомненья.
Пусть кажется, что минул срок,
Поверь, что это не паденье,
А только затяжной прыжок.

Помешавая в печке угли

Ты гори, гори, сучок, не мешкай,
Полыхай, упрямец, веселей.
Стыдно быть чадящей головешкой
В окруженье рдеющих углей.
Полыхай всвсю, живое чудо,
Не жалей, не прячь в себе свой пыл.

Торопись дотла сгореть, покуда
Я трубу заслонкой не закрыл.
Ты, сучок, не порох, не бумага,
Но непылкий нрав я твой ценю.
Хорошо, что есть на свете тяга —
Выход нужен всякому огню.

☆☆☆

Про ямщики, про снежные метели
Мне с детства близок песенный рассказ.
Тоска, которой люди отболели,
Мою тоску лечила много раз.

Ах, эти песни, полные печали!
Какие силы в них заключены,
Когда они прозрачными ключами
Струятся к нам из темной глубины.

Они ушли, создатели мелодий,
Певцы, умельцы песенной строки.
Они ушли, как в землю дождь уходит
Питать собой земные родники.

Марф

Здесь, у яра с еловою чащей,
В ослепительной пойме реки,
Воздух, так ощутимо пьянящий,
Ручейкам развязал языки.

Зародиввшись на склоне прогретом,
Ручейки одолели сугроб
И теперь, вероятно, об этом
Спящей речке лопочут взахлеб.

Нависавший над краем обрыва,
Снег всей массой ушел под откос,
Формы, слепленные на диво,
Обрекаются нынче на снос.

Обновление, назревшее к сроку,
Утверждает свою правоту.
Лед, всю зиму душивший осоку,
Сам сегодня в смертельном поту.

С этим краем, с речной panorамой
С давних пор я так близко знаком,
Что почти человеческой драмой
Мне мерещится этот разгром.

☆☆☆

И гомон птиц, и грохот автотрассы,
И голоса детсадовских ребят —
Весь этот разнобой и диссонансы
Божественной гармонией звучат.
Судьбу земли взвалив себе на плечи,
Живем мы в вечной спешке, как в чаду,
Дух внутренних своих противоречий
Перенося во внешнюю среду.
Гудят земля — развороженный улей.
И этот гул в распахнутом окне
Гармонией звучит не потому ли,
Что каждой нотой онозвучен мнé?

ВИКТОРИЯ
ТОКАРЕВА

ТАЛИСМАН

ПОВЕСТЬ

Б девятом «Б» шел классный час. Классная руководительница Нина Георгиевна разбирала поведение и успеваемость по алфавиту. Александр Дюкин — сокращенно Дюк — был на «Д», и поэтому до него очередь дошла очень быстро. Еще никто не утомился, все спокойно сидели и внимательно слушали то, что говорила Нина Георгиевна. А говорила она так:

— Дюкин, посмотри на себя. Уроков ты не учишь. Внеклассную работу не ведешь. И даже не хулиганишь.

Все было чистой правдой. Уроков Дюк не учил. Внеклассную работу не вел, у него не было общественной жилки. В начале года его назначили вожаком в третий класс, а что именно делать, не сказали. А сам он не знал. И еще одно: Дюк не умел любить всех детей сразу. Он мог любить выборочно — одного или в крайнем случае двух. А то, что называется коллективом, он любить не умел и даже побаивался.

— Хоть бы ты хулиганил, так я бы тебя поняла. Пусть отрицательное, но все-таки проявление личности. А тебя просто нет. Пустое место. Нуль.

Нина Георгиевна замолчала, ожидая, что скажет Дюк в свое оправдание. Но он молчал и смотрел вниз, на носки своих сапог. Сапоги у Дюка были фирменные, американские, на толстой рифленой подошве, как шины у грузовика, и он носил их не снимая во все времена года и, наверное, будет носить всю жизнь и выйдет в них на пенсию, а потом завещает своим детям. А те — своим.

Эти мысли не имели ничего общего с тем, что интересовало Нину Георгиевну, но Дюк специально не сосредоточивался на ее вопросах. Думал о том, что, когда вырастет большой, никогда не станет унижать человека при посторонних только за то, что он несовершеннолетний, и не зарабатывает себе на хлеб, и не может за себя постоять. Дюк мог бы сказать это прямо сейчас в глаза Нине Георгиевне, но тогда она потеряет авторитет. А руководить без авторитета невозможно, и получится, что Дюк сломает ей карьеру, а может, даже и всю жизнь.

— Что ты молчишь? — спросила Нина Георгиевна.

Дюк поднял глаза от сапог и перевел их на окно. За окном стояла белая мгла. Белый блочный дом в отдалении плыл в зимней мгле, как большой корабль в тумане.

Все сидели тихо, и, развернувшись, смотрели на Дюка, и начинали верить Нине Георгиевне, что Дюк действительно нуль, пустое место. И сам он с подкрадывающимся неприятным страхом начинал подозревать, что действи-

тельно ни на что не способен в этой жизни. Можно было бы, конечно, снять с ноги сапог и метнуть его в окно, разбить стекло и утвердить себя в глазах общественности хотя бы хулиганом. Но для такого поступка нужен внутренний настрой. Не Дюк должен руководить таким поступком, а поступок Дюком. Тогда это органично. Дюк стоял, точно паралитик, не мог двинуть ни рукой, ни ногой.

— Ну, скажи чтонибудь! — потребовала Нина Георгиевна.

— Что? — спросил Дюк.

— Кто ты есть?

Дюк вдруг вспомнил, что мама с самого детства его звала: «Талисманчик ты мой». И вспомнил, что с самого детства очень пугался, а временами ревел по многу часов от ужаса, что мог родиться не у своей мамы, а у соседки тети Зины, и жить у них в семье, как Лариска.

— Я талисман, — сказал Дюк.

— Что? — не поняла Нина Георгиевна и даже нахмурилась от напряжения мысли.

— Талисман, — повторил Дюк.

— Талисман — это олимпийский сувенир?

— Нет. Сувенир на память, а талисман — на счастье.

— Это как? — с интересом спросила Нина Георгиевна.

— Ну... как камешек с дыркой. На шее. На цепочке. Чтобы всегда при тебе.

— Но тебя же на цепочку не повесишь...

Все засмеялись.

— Нет, — с достоинством сказал Дюк. — Меня просто надо брать с собой. Если задумать какое-то важное дело и взять меня с собой, все получится.

Нина Георгиевна растерянно, однако с живым интересом смотрела на своего ученика. И ребята тоже не знали определенно, как отнестись к этому заявлению: хихикать в кулак или гулом взреветь, как стадо носорогов. Они на всякий случай молчали и глядели на Дюка: те, кто сидел впереди, развернулись и смотрели с перекрученными телами. А те, кто сзади, смотрели в удобных позах, и даже умный Хонин не смог найти подходящего комментария, хотя соображал изо всех сил, у него даже мозги скрежетали от усилия.

— Ну ладно, Дюкин, — сказала Нина Георгиевна. — Это — классное собрание, а не клуб веселых и находчивых. Я не хотела, Дюкин, тебя обидеть. Просто ты должен подумать о себе сам и подтянуться. У тебя впереди долгая жизнь, и я не хочу, чтобы ты вступал в нее ленивым и безынициативным человеком. И семья тоже совершенно тобой не интересуется. Твоя мама ни разу не была на родительском собрании. Почему? Неужели ей не интересно знать, как ты учишься?

— Она знает, — сказал Дюк. — Она дневник подписывает.

— Дневник — это дневник. Неужели ей не важно мнение учителей?

«Совершенно не важно», — хотел сказать Дюкин. — У нее свое мнение.

Но этого говорить было нельзя. Он промолчал.

— Садись, — разрешила Нина Георгиевна. — Елисеева.

Оля Елисеева поднялась из-за стола.

— Ты неделю не ходила в школу, — сказала Нина Георгиевна. — И вместо справки от врача принесла записку от родителей. Скажи, пожалуйста, как я должна к этому отнестись?

Елисеева пожала круглым плечом.

— Все остаются мыть полы и окна, а тебе нельзя руки мочить в холодной воде.

— У меня хроническое воспаление легких, — сказала Елисеева с оттенком высокомерия. — Меня берегут.

— А знаешь, как воспитывали детей в Спарте? — поинтересовалась Нина Георгиевна.

— Знаю, — ответила Елисеева. — Слабых сбрасывали со скалы в пропасть.

Пример был неудачный. Получалось, что Елисееву тоже не мешало бы спихнуть в пропасть, чтобы не замусоривала человечество. Нина Георгиевна решила привести более современный пример.

— Между прочим, в Америке даже дети миллионеров во время летних каникул работают мойщицами, официантами, сами зарабатывают себе на хлеб. На Западе, между прочим, детей держат в ежовых руках.

— А в Японии детям разрешают все! — обрадованно встрял умный Хонин. — И японцы тем не менее самый воспитанный народ в мире.

Хонин был не только умный, но и образованный и постоянно обнаруживал свои знания, однако не нравился девочкам, потому что его лицо было покрыто юношескими вулканическими прыщами.

— Что ты предлагаешь? — спросила Нина Георгиевна.

— Я? — удивился Хонин. — А что я могу предложить?

— Если бы ты был на моем месте, то какой метод воспитания ты бы выбрал?

— Как в цирке. Современная дрессировка.

Все засмеялись, кроме Нины Георгиевны.

— Метод кнута и пряника? — спросила она.

— Это устарело, — ответил Хонин. — Современная дрессировка предлагает метод наблюдения. За животным долго наблюдают, выявляют, что ему нравится, а потом развивают и поощряют именно то, что ему нравится. Минимум насилия над личностью.

Нина Георгиевна посмотрела на часы. Наблюдать, выявлять и поощрять было некогда. На Дюкина и Елисееву ушло 20 минут, а впереди еще тридцать человек, и, если тратить по десять минут на каждого, уйдет 300 минут, а значит, пять часов. Этих пяти часов у Нины Георгиевны не было. Ей еще надо было забежать в магазин, купить продукты, потом поехать в больницу к своей маме, затем вернуться и взять из детского сада маленькую дочку. А вечером проверить тетради и сварить еду на завтра, потому что мама после операции и ей нельзя есть ничего позавчерашнего.

— Ну ладно, — сказала Нина Георгиевна. — Спарта, Япония, Америка, цирк... Чтобы к концу четверти все исправили двойки на тройки, тройки на четверки, а четверки на пятерки. Иначе мне за вас падет!

Она собрала тетради и пошла из класса.

Все вскочили со своих мест, стали с грохотом выдвигать из столов портфели. А Светлана Кияшко подошла к Дюку и сказала:

— Я в прошлом году дала Ленке Мареевой пластинку, последний диск «АББА», а она мне до сих пор не отдает.

Мареева раньше училась в их классе, а потом перешла в школу с математическим уклоном. Как выяснилось, никакого особенного уклона у Мареевой не оказалось, только ездить стало дальше. Дюк был убежден: если в человеке должно что-то выявиться, оно и так выявится. А если нет, никакая школа не поможет. Поэтому лучше сидеть на одном месте и ждать.

— Ну и что? — не понял Дюк.

— Давай сходим вместе, — предложила Кияшко. — Может быть, она отдаст?

— А я при чем? — удивился Дюк.

— Так ты же талисман.

— А-а... — вспомнил Дюк.

Он совсем забыл, что он талисман. Ему захотелось сказать: «Да я пошутил. Какой я на фиг талисман?» Но тогда Кияшко спросила бы: «А кто же ты?» И получилось бы, никто. Нуль. Пустое место. А кому хочется осознавать себя пустым местом, тем более что это и вправду очень может быть? Природа отдыхает. Если бы он бегал на дистанцию, как Булеев, или был умный, как Хонин. Или красивый, как Виталька Резников из десятого «Б». Если бы его что-то выделяло среди других: талант, ум, красота...

Но ничего такого у Дюка действительно не было. Он был только маминим счастьем. Ее талисманом. Может быть, этого достаточно для мамы, но недостаточно для него самого. И для всех остальных тоже недостаточно.

— Ладно,— сказал Дюк.— Пойдем. Только не сегодня. Завтра. Сегодня я не могу.

Дверь открыла Ленка Мареева. Она была красивая, но фигура ее походила на цифру «восемь». Один круг на другом.

К ее ногам тут же подбежала пушистая беленькая собачка и, встав на задние лапы, суетливо крест-накрест задвигала передними. Видимо, для баланса. Так ей было легче устоять.

— Ладка, фу! — отогнала Ленка собаку.

— А что она хочет? — спросил Дюк.

— Хочет тебе понравиться,— объяснила Мареева.

— Зачем?

— Просто так. Чтобы тебе приятно было. Ты чего пришел?

— По делу.

— Проходи,— пригласила она в комнату.

Но Дюк отказался.

Единственное, увидел в полуоткрытую дверь, что у них в комнате стоит кухонная мебель.

— Какое дело? — спросила Мареева, потому что Дюк медлил и не знал, с чего начать.

— Отдай Кияшке пластинку,— начал он с главного.

— Не отдам,— коротко отрезала Мареева.— Мне под нее танцевать удобно. Я под нее кайф ловлю.

— Но Кияшке, может быть, под нее тоже танцевать удобно?

— Это моя пластинка. Мне Кияшко подарила ее на день рождения. А потом пришла и заявила, что ее родители ругают, и потребовала обратно. Так порядочные люди не поступают.

Дюк растерялся. Забирать подарки обратно действительно неприлично. Но и задерживать их силой тоже нехорошо.

— А ты бы взяла и обиделась,— предложил Дюк.

— Я и обиделась,— сказала Мареева.— И перестала с ней общаться.

— И отдала бы пластинку,— подсказал Дюк.

— Еще чего! Что ж, я останусь и без подруги и без пластинки? Так у меня хоть пластинка есть!

Дюк понял, что дела его плохи. Мареева диск не отдаст и будет по-своему права. Достать эту пластинку нереально, во всяком случае, к завтрашнему дню. И значит, завтра выяснится, что никакой он не талисман, а нуль и к тому же трепач.

— А давай поменяемся,— предложил Дюк.— Я тебе дам фирменный пояс. С пряжкой. «Рэнглер». А ты мне диск.

— А где пояс? — заинтересовалась Мареева.

— Сейчас принесу. Я мигом.

Дюк побежал вниз по лестнице, поскольку лифта в пятиэтажке не было, потом через дорогу, потом два квартала мимо школы, мимо детского сада, мимо корпуса номер девять, мимо мусорных ящиков. Вбежал в свой подъезд. Тихо, как бы по секрету вошел в свою квартиру.

Мама разговаривала по телефону. Она умела разговаривать по четыре часа подряд, и все четыре часа ей было интересно. Она подняла руку ладонью вперед, что могло означать одновременно: «Подожди, я сейчас» и «Не мешай, дай мне пожить своими интересами».

Дюк кивнул головой, как бы проявляя лояльность к ее интересам, хотя раньше, еще год назад, ни о какой лояльности не могло быть и речи. Стоял обоядный террор любовью.

Дюк на цыпочках прошел в смежную комнату, достал из гардероба пояс, который был у них с мамой общим, она носила его на джинсовую юбку.

Дюк взял пояс, надел его под куртку. С независимым видом пошел в прихожую.

— Я тебя уверяю,— сказала мама кому-то в телефон.— Все будет так же.

Дюк кивнул маме головой, и это тоже можно было понять двояко: «Подожди, я сейчас» и «Не мешай, дай мне пожить своими интересами». У тебя свои, а у меня — свои». Он вышел на лестницу. Оттуда на улицу... И обратно — мимо мусорных баков, мимо корпуса номер девять, мимо детского сада, мимо школы два квартала, потом через дорогу. Потом без лифта на пятый этаж.

— Вот! — Дюк снял с себя пояс и протянул Мареевой.

Пряжка была тяжелая, похожая на натуральное потомневшее серебро, довольно большая, однако корректная. На ней выбито «Рэнглер» — название авторитетной фирмы. И от этого непонятного слова просыпалась мечта и поднимала голову надежда.

— Ух ты... — задохнулась Мареева, в которой тут же проснулась надежда и даже, может быть, не одна, а несколько. Она надела на себя пояс, как обруч на бочку, и спросила: — Красиво?

— Совсем другое дело,— сказал Дюк, хотя дело было то же самое.

Мареева ушла в комнату и вернулась с пластинкой. Поверхность ее была уже не черная, а сизая, истерзанная тупой иглой.

— Бери.— Она протянула пластинку.

— Не сейчас,— отказался Дюк.— У меня к тебе просьба: я завтра после школы приду к тебе с Кияшкой. Она у тебя попросит, ты ей отдашь. А то, что я к тебе приходил, ты ей не говори. Ладно?

— А пояс когда отдашь?

— Пояс сейчас. Бери, пожалуйста.

— Не жалко? — удивилась Мареева.

— Но ведь дарить надо то, что и самому нравится,— уклончиво ответил Дюк.— А иначе какой смысл в подарке?

— В общем, да,— согласилась Мареева и внимательно посмотрела на Дюка.

— Чего? — смущился он.

— Ты в Кияшку влюблен?

— Нет.

— А зачем пояс отдал?

— Так надо.

— Кому надо? Тебе или ей?

— И мне. И ей. Но не вместе, а врозь.

— Интересно... — Мареева покачала головой.

Они стояли в прихожей и молчали.

Дюк смотрел на свой пояс, и ему было его так

жалъ, будто он расставался не с вещью, а с близким другом.

— Вообще этот пояс на худых,— заметил он.

— Я похудею,— пообещала Мареева.— Вот посмотрши. У меня просто раньше стимула не было. А теперь есть.

Дюк вышел на улицу. Медленно перешел дорогу и медленно побрел вниз два квартала. Против корпуса девять жгли костер, сжигали ненужный хлам. Вокруг костра стояли люди и смотрели с задумчивыми лицами. Видимо, в таинстве огня есть что-то забытое с древних времен. И людей тянет огонь. Они собираются вокруг него и не могут вспомнить того, что забыли.

Лицо стало тепло. Дюк смотрел на пламя, и ему казалось, что это огненный олень бежит и не может вырваться в небо.

Он отошел от костра, стало еще чернее и холоднее. Дюк подумал, что у Мареевой есть пояс и стимул. У Кияшки — пластинка и возвращенная дружба. У него — успех талисмана, правда, успех за счет пояса, а пояс за счет воровства, потому что это был не его личный пояс, а общий с мамой. А у мамы так мало вещей. Притом Кияшко и Мареева ему никто. Он с ними даже не дружит.

А мама — это мама, независимо от того, разные у них интересы или общие.

Когда Дюк вернулся домой, мама все еще говорила по телефону. Он решил подождать, пока она окончит разговор, а потом уже сказать про пояс. Мама окончила довольно быстро, но к ней тут же пришла соседка тетя Зина, и они ушли в кухню пить чай, а вмешиваться в разговор взрослых неэтично. Когда тетя Зина ушла, по телевизору начали передавать детектив, четвертую серию, которая удалась лучше остальных, и не хотелось разбивать впечатление. Когда кино кончилось, он заснул. Он заснул даже до того, как оно кончилось. А утром они торопились, мама на работу, Дюк в школу, и заводить беседу о поясах было несподручно. Дюк решил, что скажет в том случае, если мама сама поднимет этот разговор. Вот спросит она: «Саша, а где пояс?» — тогда он ответит: «Мама, я подарил его девочке».

А до тех пор, пока она не спросит, нечего соловаться первому, да еще в неподходящее время, когда оба опаздывают и каждая секунда на учете.

Дюк положил сменную обувь в полиэтиленовый мешок и отправился в школу с относительно спокойной совестью.

На уроке литературы объясняли «Что делать?» Чернышевского, Сны Веры Павловны.

Дюк романа так и не прочитал — не из-за лени, а из-за скуки. Он попросил Хонина, чтобы тот рассказал ему своими словами, и Хонин рассказал, но Дюк запомнил только то, что Рахметов спал на гвоздях, а Чернышевский дружил с Добролюбовым, а Добролюбов умер очень рано. И еще то, что у Чернышевского над головой сломали шпагу. Не то саблю. Или шашку. Какая между ними разница, он не знал. Видимо, шпага узкая, а сабля широкая.

Дюк подумал, что человек, который производил гражданскую казнь, должен был обладать недюжинной силой — иначе как он переломил бы сталь. Потом догадался, что шпагу (или саблю) подпилили. Не могут же исполнители казни рисковать в присутствии большого количества людей.

Что касается снов, они ему тоже снились, но другие, чем Vere Павловне. Он не понимал, как

может сниться переустройство общества. Сняться лошади — к вранью. Грязь — к деньгам. Иногда снится, что он летает. Значит, растет. А недавно ему снилась Маша Астраханская из десятого «А», как будто они танцевали какой-то медленный танец в красной комнате и не касались пола. И он смотрел не на глаза, а на ее губы. Он их отчетливо запомнил — нежные, сиреневые. А зубы крупные, ярко-белые, рекламные. На таких зубах блестит солнце.

— Дюкин, повтори! — предложила Нина Георгиевна.

Дюк поднялся.

— Я жду, — напомнила Нина Георгиевна, поскольку Дюк не торопился с ответом.

— Чернышевский был революционер-демократ, — начал Дюк.

— Дальше, — потребовала Нина Георгиевна.

— Он дружил с Добролюбовым. Добролюбов тоже был революционер-демократ.

— Я тебя не про Добролюбова спрашиваю.

Дюк смотрел в пол, мучительно припоминая, что бы он мог добавить еще.

Нина Георгиевна соскучилась в ожидании.

— Садись. Два, — определила она. — Если ты дома ничего не делаешь, то хотя бы слушал на уроках. А ты и на уроках латаешь в эмпиреях. Хотела бы я знать: где ты латаешь...

Светлана Кияшко сидела перед Дюком, ее плечи были легко присыпаны перхотью, а школьная форма имела такой вид, будто она спала, не раздеваясь, на мельнице, на мешках с мукою.

Самое интересное, что о пластинке она не вспомнила. Наверное, забыла.

Дюк уставился в ее затылок и стал гипнотизировать взглядом, посыпая флюиды.

Кияшко нервно задвигалась и оглянулась. Наткнулась на взгляд Дюка, но опять ничего не вспомнила. Снова оглянулась и спросила:

— Чего?

— Ничего, — зло сказал Дюк.

Последним уроком была физкультура.

Физкультурник Игорь Иванович вывел всех на улицу и заставил бегать стометровку.

Дюк присел, как требуется при старте, потом приподнял тощий, будто у кролика, зад и при слове «старт» ввинтился в воздух, как снаряд. Ему казалось, что он бежит очень быстро, но секундомер Игоря Ивановича насплетничал какие-то инвалидные результаты. Лучше всех, как молодой бог, пробежал Булеев. Хуже всех Хонин, у которого все ушло в мозги. Дюк оказался перед Хониным. На втором месте от конца. Однако движение, воздух и азарт сделали свое дело: они вытеснили из Дюка разочарования и наполнили его беспечностью, беспринципной радостью.

И в этом новом состоянии он подошел к Кияшке.

— Ну что? — между прочим спросил он. — Пойдем за пластинкой?

Кияшко была освобождена от физкультуры. Она стояла в стороне в коротком пальто, из которого давно выросла.

— Ой, нет, — отказалась Кияшко. — Сегодня я не могу. Мне сегодня на музыку идти. У меня зачет.

— Ну, как хочешь... Тебе надо, — равнодушно ответил Дюк.

— Завтра сходим, — предложила Кияшко.

— Нет. Завтра я не могу.

— Ну ладно, давай сегодня, — любезно согласилась Кияшко. — Только после зачета. В семь вечера.

В семь часов вечера она стояла возле его дома в чем-то модном, ярком и коварном. Дюк не сразу узнал ее. Светлана Кияшко состояла из двух Светлан. Одна — школьная, серая, пыльная, как мельничная мышь. На нее даже можно наступить ногой, не заметив. Другая — вне школы, яркая и победная, как фейерверк. Казалось, что школа съедает всю ее сущность. Или, наоборот, проявляет, в зависимости от того, чем она является на самом деле: мышью или искусственной звездой. А скорее всего она совмещала в себе и то и другое.

— Привет! — снисходительно бросила Кияшко. — Пошли!

И они пошли молча мимо мусорных ящиков, мимо корпуса номер девять, мимо детского сада, и Дюку вдруг показалось, что он так ходит всю жизнь. Где-то в других мирах Маша Астраханская танцует вальс, не касаясь пола. А он, Дюк, качается, будто членок, между Мареевой и Кияшкой.

Подошли к пятиэтажке.

Дюк представил себе спектакль, который уже подготовлен и отрепетирован, а сейчас будет разыгран. Ему это стало почему-то противно, и он сказал:

— Я тебя здесь подожду.

— Сработает? — подозрительно спросила Кияшко.

— Что сработает? — не понял Дюк.

— Талисман. Его же надо в руках держать.

— Не обязательно. Можно и на расстоянии. До четырех километров.

— Почему до четырех?

— Радиус такой.

— А как ты это делаешь? — заинтересовалась Кияшко.

— Биополе, — объяснил Дюк.

— И чего?

— Надо чувствовать. Словами не объяснишь, — выкрутился Дюк.

— А ты попробуй, — настаивала Кияшко.

— Ну... я буду думать о том же, что и ты. Когда двое хотят одного и того же, то их желание раскачивается, как амплитуда, и нахлестывает на Марееву. Как петля. И ей никуда не деться. Мареева начинает хотеть того же, что и мы.

— А она меня не выбгонит?

— Иди уже, — попросил Дюк. — Не торгуйся.

Кияшко начинала его раздражать, как раздражают одалживавшиеся и неблагодарные люди. Вторых, он торопится: через пятнадцать минут начиналась следующая серия детектива, и он хотел успеть к началу.

Кияшко наконец ушла. И пропала. Ее не было ровно два часа.

Дюк промерз, как свежемороженый овощ в целлофане. Его куртка на синтетическом меху имела особенность, вернее, две особенности: в теплую погоду в ней было душно, а в мороз нестерпимо, стеклянно холодно.

Он стучал сначала ногой об ногу. Потом рукой об руку. Оставалось только головой об стену. Можно, конечно, было плечнуть и уйти, но его не пускало тщеславие. Мало ли чего не терпят люди во имя тщеславия? Тщетной славы. Это только потом, с возрастом, начинаешь понимать тщету. А в пятнадцать лет за славу можно отдать все: и здоровье и честь. И даже жизнь.

Наконец Кияшко появилась с пластинкой под мышкой и сказала:

— А мы кино смотрели. Потом чай пили. — Помолчала и добавила: — Я думала, ты ушел дезно...

— А пластинку тебе отдали? — спросил Дюк, хо-

тя Кияшко держала ее под мышкой и не увидеть было невозможно.

— Сразу отдала, — поразилась Кияшко. — Я даже рта не успела раскрыть. Эта Ленка... Я только сейчас поняла, как мне ее не хватало...

— Я ей четыре флюида послал, — напомнил о себе Дюк.

Снег мельтешил сплошной и мелкий. И сквозь снег на него смотрели Кияшкины глаза — желтые и продолговатые. Как у крупной кошки. У кошечки вообще очень красивые глаза. И у Кияшки были бы вполне ничего, если бы не существовало в мире других глаз.

— Саша, — сказала Кияшко, и Дюк поразился, что она помнит его имя. — Ты не раздавай направо и налево.

— Что? — не понял Дюк.

— Свое биополе. А то из тебя все выкачивают. И ты умрешь.

— Поеle можно подзаряжать. Как аккумулятор, — успокоил Дюк.

— А обо что его можно подзаряжать?

— Об другое биополе.

— От человека?

— От человека. Или от природы. От разумной вселенной.

— А есть еще неразумная?

— Есть.

Кияшко смотрела на Дюка молча и со странным выражением. Как бы сравнивала его прежнего с этим новым, божким избраником, и никак не могла понять, почему господь выбрал изо всех именно Дюкина, указал на него своим божким перстом.

— А почему именно ты? — прямо спросила Кияшко.

Ну что ответить на такой вопрос?

Можно только слегка пожать плечами и возвести глаза в обозримое пространство, куда уходила нитка фонарей и последним фонарем была Луна.

Слава и сплетня распространяются с одинаковой скоростью, потому что слава — это та же сплетня, только со знаком плюс. А сплетня — та же слава, только отрицательная.

На другой день во время большой перемены к Дюку подошел Виталька Резников из десятого «Б» и спросил с пренебрежением:

— Ты, говорят, талисман?

Дюк не отвечал, смотрел на него во все глаза, потому что Виталька был не только сам по себе Виталька, но и еще предмет обожания Маши Астраханской. Дюк узнал об этом месяц назад при следующих обстоятельствах.

Однажды он возвращался из овощного магазина со свеклой в авоське, крупной и круглой, как футбольный мяч. Мама велела купить и сварить. Такую свеклу надо варить сутки, как кости на холоде. Дюк умел варить и холодец, он был приспособленный ребенок. Но сейчас не об этом. Дюкступил в лифт, стал закрывать дверцы, в это время кто-то вошел в подъезд и крикнул: «Подождите». Дюк не переносил ездить в лифте компаний, оставаться в замкнутом пространстве с незнакомым человеком. Особенно ему не нравилось ездить с бабкой с восьмого этажа, которая занимала три четверти кабины, и от нее так и веяло маразмом. Поэтому, войдя в лифт, он старался тут же закрыть дверь и сразу нажать кнопку. Но на этот раз его засекли. Пришлось ждать. Через несколько секунд в лифт вошли Лариска — соседка Дюка — и с ней Маша Астраханская, вся в слезах. Она

плакала, брови у нее были красные, лоб в нервных красных точках. Она была так несчастна, что у Дюка упало сердце, Лариска нажала кнопку, и лифт стал возноситься, как казалось Дюку, под скорбный органный хорал. Заметив Дюка со свеклой, Маша не перестала плакать — видимо, не стеснялась его, как не стесняются кошек и собак. Просто не обратила внимания.

Дюк стоял, потрясенный до основания. Он мог бы умереть за нее, но при условии, чтобы Маша заметила этот факт. Заметила и склонилась к нему, умирающему, и ее мелкая слезка упала бы на его лицо горящей точкой.

Лифт остановился на пятом этаже, и они все трое разошлись в разные стороны: Маша с Лариской влево, а Дюк со свеклой вправо.

Вечером этого дня Лариска позвонила Дюку в дверь.

— Распишись, — велела она и сунула ему какой-то список и шариковую ручку.

Дюк посмотрел в список и спросил:

— А зачем?

— Мы переезжаем, — объяснила Лариска.

— Ну и переезжайте. А зачем тебе моя подпись?

— Дом кооперативный, — объяснила Лариска. Нужно разрешение большинства лайщиков.

«Зачем это нужно? Кому нужно?» — подумал Дюк. Сколько еще в жизни взрослых чепухи...

Он расписался против своей квартиры «89» и, возвращая ручку, спросил как можно равнодушнее:

— А почему Маша Астраханская в лифте плакала?

— Влюбилась, — так же равнодушно ответила Лариска и позвонила в следующую дверь.

Вышла соседка — немолодая и громоздкая, как звероящер на хвосте. У нее было громадное туловище и мелкая голова. Дюк несколько раз ездил в лифте вместе с ней, и каждый раз чуть не уграл от запаха водки, и каждый раз боялся, что соседка упадет на него и раздавит. Но она благополучно выходила из лифта и двигалась к своей двери как-то по косой, будто раздвигая плечом невидимое препятствие. Говорили, что у нее много денег, но они не приносят ей счастья. Однако она боялась, что ее обворуют.

— Распишитесь, пожалуйста, — попросила Лариска.

Звероящер хмуро-недоверчиво глянула на ребят. Дюк увидел, что лицо у нее красное и широкое, а кожа натянута, как на барабане. Она молча расписалась и скрылась за своей дверью.

— В кого? — спросил Дюк.

Лариска забыла начало разговора, и сам по себе вопрос «в кого?» был ей непонятен.

— Маша в кого влюбилась? — напомнил Дюк.

— А... В Витальку Резникова. Дура, по самые пятки.

Дюк не разобрал: дура по пятки или влюбилась по пятки. Чем она полна, любовью или глупостью?

— Почему дура? — спросил он.

— Потому что Виталька Резникова — это гарантное несчастье, — категорически объявила Лариска и пошла на другой этаж.

— Гарантное — это гарантированное? — уточнил Дюк.

— Да ну тебя, ты еще маленький, — обидно отмахнулась Лариска.

И вот гарантное несчастье Маши стояло перед Дюком в образе Витальки Резникова и спрашивало:

— Ты, говорят, талисман?

Дюк во все глаза глядел на Витальку, пытаясь рассмотреть, в чем его опасность.

Витальку любили учителья — за то, что он легко и блестяще учится. Ему это не сложно. У него так устроены мозги.

Витальку любили оба родителя, две бабушки, прабабушка и два дедушки. К тому же за его спиной стоял мощный папаша, который проторил ему прямую дорогу в жизни, выкорчевал из нее все пни, сровнял ухабы и покрыл асфальтом. Осталось только пойти по ней вперед — солнцу и ветру навстречу.

Витальку любили девчонки за то, что он был красив и благороден, как принц крови. И знал об этом. Почему бы ему об этом не знать?

Его любили все. И он был открыт для любви и счастья, как веселый здоровый щенок. Но в его организме не было того химического вещества, которое в фотографии называется закрепителем. Виталька не закреплял свои чувства, а переходил от одной привязанности к другой. Поэтому, наверное, что у него был большой выбор. На его жизненном столе, как в китайском ресторане, стояло столько блюд, что смешно было наесться чем-то одним и не попробовать другого.

Дюку было легче; его не любили ни учителья, ни девочки. Одна только мама.

Зато он любил — преданно и постоянно. У него была потребность в любви и постоянстве.

— Предположим, я талисман, — ответил Дюк. А что ты хочешь?

— Я хочу позвать Машу Астраханскую на каток.

— Так позови.

— Я боюсь, что она откажется.

— Ну и что с тобой случится?

— Да ничего не случится. Просто она меня не ненавидит, — расстроенно сообщил Виталька. — Что я ей сделал?

Дюк не сомневался в результате, поскольку результат был подготовлен самой жизнью и не требовал ни риска, ни труда.

— Ну, пойдем, — согласился Дюк, и они пошли к десятому «А» в конец коридора.

Обидно было упустить такую возможность — утвердиться в глазах старшеклассника, и не какого-нибудь, а Витальки Резникова, имевшего изысканно-подмоченную репутацию. Получалось, Дюк как бы примыкал к этой репутации и становился более взрослым.

Из десятого «А» навстречу им вышла Маша Астраханская.

На ней была не школьная форма, а красивое фирменное рыжее платье, она походила в нем на язычок пламени, устремленный вверх. Дюк обжегся об ее лицо.

Виталька схватил Дюка за руку, как бы зажимая в руке талисман. Подошел к Маше.

Она остановилась с прямой спиной и смотрела на Витальку строго, почти сурово, как завуч на трудновоспитуемого подростка.

— Пойдем завтра на каток, — волнуясь, выговорил Виталька.

— Сегодня, — исправила Маша.

И пошла дальше по коридору с прямой спиной и непроницаемым лицом.

Виталька отпустил Дюка и посмотрел с юшаренным видом — сначала ей вслед, потом на Дюка.

— Пойдет, что ли? — очнулся он.

— Сегодня. В восемь, — подтвердил Дюк.

— А где мы встретимся?

— Позвонишь. Выяснишь, — руководил Дюк.

— Ни фига себе... — Виталька покрутил головой, приходя в себя, то есть возвращаясь в свою высокородную сущность. — А как это тебе удалось?



— Я экстрасенс,— скромно объяснил Дюк.

— Кто?

— Экстра — сверх. Сенс — чувство. Я сверхчувстви-

тельный.

— Значит, водка «Экстра» — сверхводка,— догадался Виталька. И это был единственный вывод, который он для себя сделал. Потом спохватился и спросил: — А может, ты в институт со мной пойдешь сдавать?

— А полы тебе помыть не надо? — обиделся Дюк.

— Полы? — удивился Витька.— Нет. Полы у нас бабушка моет.

Зазвенел звонок.

Дюк и Виталька разошлись по классам. Каждый со своим: Виталька с Машей, Дюк — с утратой Маши. Правда, ее у Дюка никогда и не было. Но были сны. Мечты. А теперь он потерял на это право. Право на мечту. И все из-за того, чтобы сорвать даровые аплодисменты, утвердиться в равнодушных Виталькиных глазах. Но Витальку ничем не поразишь. Для него важно только то, что имеет к нему самое непосредственное отношение. Если «экстра» — то водка или печенье, потому что он это ест или пьет.

Шла география.

Учитель по географии Лев Семенович рассказывал о климатических условиях.

Дюк слышал каждый день по программе «Время», где сейчас тепло, где холодно. В Тбилиси, например, тропические ливни. В Якутии высокие деревья стонут от мороза. Встать бы под дерево в своей стеклянной куртке. Или под тропический ливень — лицом к нему...

— Дюкин! — окликнул Лев Семенович.

Дюк встал. Честно и печально посмотрел на учителя, глазами прося понять его, принять, как принимает приемник звуковую волну. Но Лев Семенович был настроен на другую волну. Не на Дюка.

— Потрудитесь выйти вон! — попросил Лев Семенович.

— Почему? — спросил Дюк.

— Вы мне мешаете своим видом.

Дюк вышел в коридор. На стене висели портреты космонавтов. Гербы союзных республик.

Дюк постоял какое-то время как истукан. Потом прислонился к стене и съехал, скользя по ней спиной. Сел на корточки.

Из учительской с журналом в руке шла Маша Астраханская. Ее лицо светилось. Она двигалась, как во сне, — на два сантиметра над полом. Это счастье несло ее по воздуху.

Как она умела сливаться со своим состоянием! Дюк видел ее несчастной из несчастных. Теперь — самой счастливой из людей. А поскольку Виталька — гарантное несчастье, то она скоро вернется в прежнее состояние, и мелкие слезки снова покажутся по ее лицу, брови опять станут красными, а лоб в нервных точках.

Она будет перемещаться из счастья в горе и обратно. Может быть, это и есть любовь? Может быть, лучше горькое счастье, чем серая, унылая жизнь...

Маша заметила Дюка, сидящего на корточках.

— Что с тобой? — нежно спросила она, как бы пролила на него немножечко переполняющей ее нежности.

— Ничего, — ответил Дюк.

Ему не нужна была нежность, пред назначенная другому.

— Полкило пошехонского сыру, полкило масла и десять пачек шестипроцентного молока, — перечислил Дюк.

Продавщица — пожилая и медлительная — посчитала на счетах и сказала:

— Пять рублей шестьдесят копеек.

— А можно я вам заплачу? — спросил Дюк и протянул деньги.

— В кассу, — переадресовала продавщица.

Работала только одна касса, и вдоль магазина текла очередь, как река с изгибами и излучинами.

— Долго стоять, — поделился Дюк и установил с продавщицей контакт глазами.

В его глазах можно было прочитать: хоть вы и старая, как каракатица, однако очень милая и не-бось устали и хотите домой.

Когда на человека с добром смотришь и нормально с ним разговариваешь, не выпячивая себя, не качая прав, то легко исполняется все задуманное и не обязательно для этого быть талисманом. Добро порождает добро. Так же, как зло высекает зло.

Продавщица посмотрела на тощенького, нежизнеспособного с виду мальчика, потом обежала глазами очередь в кассу. Совместила одно с другим — мальчика с очередью — и сказала:

— Ну ладно. Только без сдачи.

Дюк положил на прилавок пять рублей шестьдесят копеек. Продавщица смела деньги в ладонь. Из ладони — в большой белый оттопыренный карман на халате. И перевела глаза на следующего покупателя. На усохшую, как сучок, старуху.

— Пятьдесят семь копеек. Без сдачи, — сказала старуха и положила деньги на прилавок. — Пакет сливок и творожный сыр.

Когда Дюк выходил из магазина, волоча в растопыренной авоське десять треугольных маленьких пирамид, торговля в молочном отделе шла по новому принципу, минуя кассу, в обход учета и контроля.

Хорошо это или плохо, Дюк не задумывался. Наверное, кому-то хорошо, а кому-то плохо.

В дверях он столкнулся с Ларискиной мамой, сестрой тети Зины — той самой, у которой он не хотел бы родиться.

— Куда это ты: столько молока тащишь? — удивилась тетя Зина.

— А мы из него домашний творог делаем, — объяснил Дюк. — Мама утром только творог может есть.

— Молодец, — похвалила тетя Зина. — Маме помогаешь. Бываю же такие дети. А моя только «дай» да «дай». Сейчас магнитофон требует. «Соню». А где я ей возьму?

Дюк не ответил. Нижняя пачка треснула под давлением верхних девяты, и из нее тонкой беспредырковой струйкой потекло молоко, омывая правый башмак.

Дюк отвел руку с авоськой подальше, струйка текла на безопасном расстоянии, но держать тяжесть в отведенной руке было неудобно.

— Саша, говорят, что ты... это... забыла слово. Ну, навроде золотой рыбки.

— Кто говорит? — заинтересовался Дюк.

Путь распространения славы был для него небезразличен.

— В школе говорят.

Дюк догадался, что Виталька сказал Маше. Маша — Лариске. Лариска тете Зине. А той только скажи. Разнесет теперь по всей стране. В «Вечерке» напечатает, как объявление.

Дюку льстило, что его имя звучало в кругах, где лучшие мальчики катаются на катке с лучшими девочками под музыку, скрестив руки перед собой.

— Ко мне знакомые приехали из Прибалтики, — сообщила тетя Зина почему-то жалостливым голосом. — Мы у них летом дачу снимаем. Они хотят финскую мебель купить. Тауэр. А достать не могут.

— Английскую, — поправил Дюк.

— Почему английскую? — удивилась тетя Зина.

— Тауэр — это английская тюрьма. Там королева Мария Стюарт сидела.

— А ты откуда знаешь?

— Это все знают.

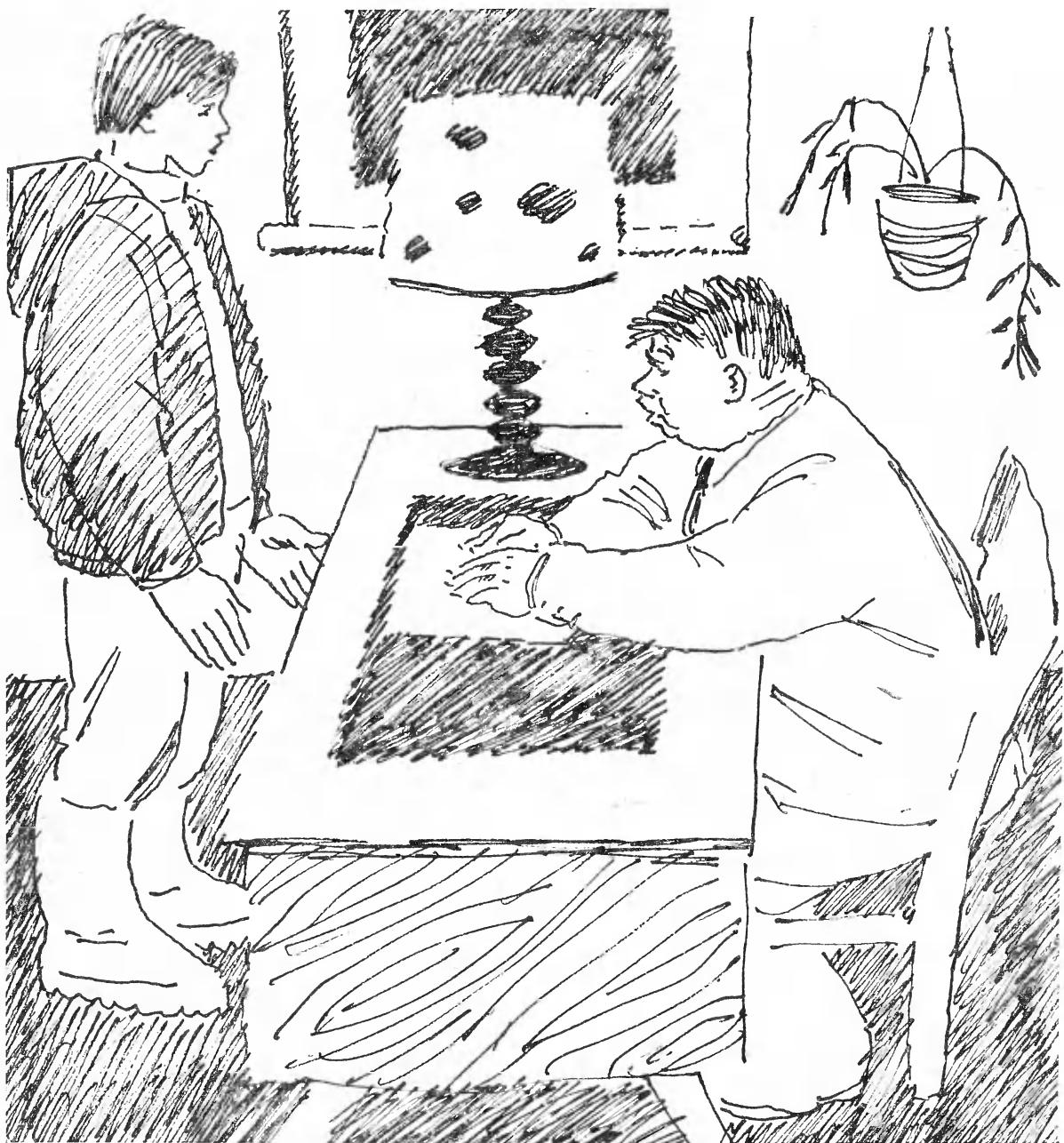
— Может быть, — согласилась тетя Зина. — Там стена в металлических решетках.

— А зачем тюремные решетки в квартиру покупать? — стал отговаривать Дюк.

— Помоги им, Саша, а? Я обещала. Лариска говорит, что ты благородный.

Дюк не знал про себя, благородный он или нет. Но раз Лариска говорит, со стороны виднее.

Согласиться и пообещать было заманчиво, но рискованно. Вряд ли директора мебельного магазина может устроить пояс с пряжкой «Рэнглер». Да и пояса нет. Сказать тете Зине: «Нет, не могу», — означает сильно сократить радиус славы. А слава — единственный верный и самый короткий



путь к Маше Астраханской. Когда она убедится, что Виталька — гарантное несчастье, а Дюк благородный и выдающийся, то неизвестно, как повернется дело.

— Они бы сунули,—доверительно шепнула тетя Зина.— Но, говорят, мы не знаем, кому надо дать и сколько.

Для Дюка «сунуть» и «дать» значило дать кулачком в нос. Получалось, что знакомые из Прибалтики навешали бы тумаков, но не знает, кому и сколько.

— Они очень порядочные люди, Саша. Интеллигентные. Садом пользоваться разрешают. Огородом. Мы у них смородину рвали. Укроп.

Струйка из пакета иссыкла и теперь капала редкими каплями. Дюк вернул руку в прежнее состояние.

— Я попробую,—сказал он.— Но не обещаю. Операцию «Тауэр — Талисман» следовало подготовить заранее.

Кабинет директора располагался в глубине магазина, рядом с мебельным складом.

Директор сидел за своим столом, сгорбившись, приоткрыл рот, и походил на ежика, который хочет пить. Жесткие волосы стояли на голове торчком, как иголки. Не хватало только иголок на спи-

не. Его голова переходила в туловище сразу, без шеи. Ручки были короткие, как лапки, и лежали на столе навстречу друг другу.

— Здравствуйте,— поздоровался Дюк, входя.

Ежик что-то вякнул безо всякого вдохновения. Длинное слово «здравствуйте» ему произносить не хотелось. Да и некому особенно. Подумашь, мальчик пришел. Заблудился, должно быть. Маму потерял.

Дюк стоял в нерешительности и молчал.

— Чего тебе? — спросил Ежик.

Говорил он через силу, как будто его немножко придушили и держали за горло.

— Гарнитур «Тауэр», — отозвался Дюк.

— Импорта сейчас нет... А кому надо?

— Знакомым.

— Чьим? — Директора, видимо, беспокоило, не явился ли Дюк гонцом от важного лица.

— Тети-Зининым.

— А тетя Зина кто?

— Соседка.

— Что же это она тебя за мебелью посыпает? Совсем уж с ума посходили... Ребенка за мебелью... — Директор фыркнул, абсолютно как еж.

— Я не ребенок.

— А кто же ты?

— Талисман.

— Чего?

— Талисман — это человек, который приносит счастье.

Директор впервые за время разговора ожила и посмотрел на Дюка, как ежик, который увидел что-то для себя интересное, гриб, например.

— Ты приносишь счастье? — переспросил он.

— Сам по себе нет. Но если человек что-то хочет и берет меня с собой, то у него все получается, чего он хочет.

— А ты не врешь? — проверил Еж.

— Так гарнитуров все равно ведь нет, — уклонился Дюк.

— Если ты мне поможешь, я тебе тоже помогу, — пообещал Еж. — Съезди со мной на час-другой.

— Куда? — спросил Дюк.

— В одно место, — не ответил Еж. — Какая тебе разница?

— Да, в общем, никакой, — согласился Дюк.

В такси Еж сидел возле шофера и все время молчал, утопив голову в плечи.

Один только раз он обернулся и сказал:

— Если они хотят, чтобы не было взяточничества, пусть не создают условия.

Дюк ничего не понял.

— Создают дефицит. Создают очередь, — продолжал обижаться Еж. — И на что они надеются? На высокую нравственность? Я так и скажу.

— Кому? — спросил Дюк.

Еж махнул рукой и обернулся к таксисту.

— Здесь.

Таксист притормозил возле большого внушительного здания.

Еж расплатился. Вышел. Открыл дверцу Дюку.

Они разделились в гардеробе, прохладном и мраморном, как собор.

Поднялись по просторной лестнице, вошли в комнату, обшитую деревом.

По бокам комнаты были две массивные двери с табличками, и возле каждой сидело по секретарше.

— Стой здесь, — велел Еж, а сам пошел направо. Но, перед тем как кануть за дверью, бросил Дюку

взгляд, как бросают конец веревки, прежде чем прыгнуть в кратер погасшего вулкана. Или нырнуть в морскую глубину. Или выйти из ракеты в открытый космос, когда не знаешь, что тебя ждет и сможешь ли ты вернуться обратно.

Дюк поймал глазами конец веревки и кивнул.

Еж скрылся за дверью, подстрахованный Дюком.

Дюк остался стоять, как столбик. Хотелось есть. Он толком не понимал, что происходит, однако сообразил, что кто-то создал условия для взятки, и Еж, не обладая высокой нравственностью, загреб взятку в норку своими куцыми лапками. Теперь его вызывают и требуют объяснения, и Еж сильно расстроен, поскольку придется снимать с иголок чужие деньги, которые успели стать его собственными.

Секретарша справа сосредоточенно копалась в бумагах. Потом достала то, что искала, и вышла из комнаты. Вторая секретарша держала возле уха трубку и время от времени произносила одну и ту же фразу: «Ты совершенно права». Пауза, и снова: «Ты совершенно права».

Дюку стало скучно. Он прислонился спиной к дверному косяку и съехал вниз, скользя по косяку спиной. Он рассчитывал посидеть на корточках для разнообразия жизни. Но не удержался, повалился спиной на дверь. Дверь поехала, Дюк поехал вместе с дверью, и в результате получилось, что его голова и туловище оказались лежащими в кабинете, а ноги остались в приемной, и он был похож на труп, вывалившийся из чулана.

В этом лежачем положении Дюк сумел рассмотреть, что в кабинете двое: Еж и еще один человек, похожий на бывшего спортсмена, вышедшего в тираж по возрасту.

— Что это? — испугался Спортсмен.

— Это мое, — смущился Еж.

Дюк тем временем поднялся на ноги, и Спортсмен получил возможность рассмотреть Дюка в вертикальном положении — узкого в кости, с круглыми перепуганными глазами, с вихром на макушке.

Спортсмен смотрел на мальчика дольше, чем принято в таких случаях. Потом почему-то расстроился и сказал Ежу:

— Ну вот что! Пишите заявление по собственному желанию, и чтобы в торговле я вас больше не видел! Чтобы вами не пахло! Ясно вам?

Говорил он грубо, но Еж почему-то обрадовался, у него даже глаза выпирали от счастья.

— Спасибо! — с чувством вякнул Еж.

— Меня благодарить не надо! — запретил Спортсмен. — Мне вас не жалко. Мне детей ваших жалко. Хочется думать, что яблоко от яблони далеко падает. Идите!

Еж стоял, парализованный счастьем. Дюк тоже не двигался.

— Иди, иди, — мягко предложил Спортсмен Дюку. — И папашу своего забирай...

Спустились по лестнице, не глядя друг на друга. Молча взяли пальто у гардеробщика.

Вышли на улицу.

— «Не пахло...» — обиженно передразнил Еж. — Да я и сам к этим магазинам на пушечный выстрел не подойду. Плевал я на них с высокой колокольни! А еще лучше — с низкой, чтобы плевок быстрее долетел. На этой мебели посидишь — людей начинаешь ненавидеть. Стая... Да и то в стае свои законы. Вот волки, например... Да что мы здесь стоим? — спохватился Еж.

Они перешли дорогу, влекомые вывеской «Гриль-бар».

В баре было почти пусто. За столиками сидели в пальто редкие пары. Играли тихая музыка.

— Есть хочешь? — спросил Еж.

— Сейчас нет, — ответил Дюк.

Он хотел, потом перехотел и только чувствовал в теле общую нудность.

Еж принес бутылку коньяка с большим количеством звездочек и лимон, нарезанный кружками.

Разлил коньяк по стаканам, себе полный, Дюку на донышке.

— Тебя как зовут? — спросил Еж.

— Саша, — вспомнил Дюк.

— Ну, Саша, — Еж поднял стакан, — за успех мероприятия!

Дюк глотнул. Закусил. Ему стало пронзительно от коньяка и кисло от лимона.

Еж выпил. Скрючил лицо, как резиновая кукла, сбив нос и рот в одну кучу. Потом вернулся все на свои места.

— Жаль, что меня не посадили, — сказал он.

— Куда? — не понял Дюк.

— В тюрьму, — просто ответил Еж, размыкая лимонное кольцо в лимонную прямую. — Скрыться бы от них ото всех. Поменять обстановку. В тюрьме, если хочешь знать, тоже жить можно. Главное, знаешь, что?

— Нет. Не знаю.

— Главное — оставаться человеком. Я помню, после войны пленные немцы дома строили. На совесть. Я спрашивала одного: «Ты чего стараешься?» А он мне: «Хочу домой вернуться немцем». Понимаешь?

Дюк внимательно слушал Ежа, но проблемы немца были далеки от его собственных проблем.

— Вы мне «Тауэр» обещали, — напекнул Дюк.

— Приходи и бери, — согласился Еж.

— Так нету же, — растроился Дюк.

— На базе нету, а у меня на складе есть. Один. Бракованный. Стекло треснуло. Но стекло заменить — пара пустяков. Мои ребята и заменят. Еж посмотрел на часы и сказал: — Сегодня я туда уже не вернусь. Давай завтра. С утра. Ты сам придешь? Или пришлешь?

— Пришлю, — важно ответил Дюк.

— Я его грузину одному обещал. Но отдам тебе.

— Спасибо, — поблагодарил Дюк.

— Тебе спасибо. То, что ты сделал, дороже денег. Ты в самом деле счастье приносишь?

— Всем, кроме себя, — сказал Дюк.

— Это понятно, — поверил Еж.

— Почему понятно?

— Или себе за счет других, или другим за счет себя, — объяснил Еж.

— А вместе не бывает?

— Может быть, бывает. Но у меня не получается.

— А вы — себе за счет других? — поинтересовался Дюк.

— Я не себе. В том-то и дело. Что мне надо? — Еж прижал к груди обе лапки. — Мне ничего не надо. Я старый человек. Все для них! И хоть бы раз они спросили: «Папа, как ты себя чувствуешь?» Я не стал бы жаловаться. Но спросить-то можно... Понтересоваться отцом родным...

Дюку стало обидно за Ежа, и он спросил:

— А как вы себя чувствуете?

— Плохо! — Еж подпер лапкой свою крупную голову и устремил грустный, умный взгляд в лесное пространство. — Из меня азарт ушел. Скучно мне! Скучно! Смысла не нахожу. В чем смысл?

— Не знаю, — сказал Дюк.

— И я не знаю, — сознался Еж. — Раньше думал: дети растут. Для них. Теперь выросли, и я вижу:

это вовсе не мои дети. Просто отдельные люди. Сами по себе. Я — отдельный человек. Сам по себе. Я для них интересен только как источник дохода. И больше ничего.

Дюк вспомнил маму и сказал:

— Это нехорошо со стороны ваших детей.

— Нормально, — грустно возразил Еж. — Если бы дети исполняли все надежды, которые на них возлагаю родители, мир стал бы идеален.

— А что же делать? — настороженно спросил Дюк.

— Ничего не делать. Жить. Во всех обстоятельствах. Как пленный немец. Все мы, в общем, в плену: у денег, у возраста, у любви и смерти. А... — Еж махнул рукой. — Пойдем, я тебя домой отвезу.

— Я сам доберусь. Спасибо, — поблагодарил Дюк.

Он устал от Ежа так, будто бесконечно долго ехал с ним в одном лифте.

Хотелось остаться одному и думать, о чем захочется. А если не захочется, то не думать вообще.

Добирался он три часа. Как до другого города.

В метро Дюк заснул и проснулся на станции «Преображенская» оттого, что женщина, работник метро, постучала его по плечу.

Дюк вышел из вагона, пересел в поезд, идущий в противоположном направлении, и его понесло через весь город до следующей конечной.

Дюк сидел, свесив голову, которая почему-то не держалась на шее, моталась по груди, как футбольный мяч по полу. И ему казалось: он никогда не доберется до цели, а всегда теперь будет грохотать в трубах.

Наконец он все же добрался до своей лестничной площадки. Позвонил к тете Зине и сообщил необходимое: куда прийти и когда прийти.

Дюк чувствовал себя, как после сильного отравления. И ему было безразлично все: и собственная победа и тети-Зинина реакция. Но реакция была неожиданной.

— А ковер? — спросила тетя Зина.

— Что «ковер»? — не понял Дюк.

— К мебели, — объяснила тетя Зина.

Она, видимо, решила, что Дюк действительно вроде золотой рыбки, а рыбке ничего не составляют достать новое корыто и новые хоромы.

— Это я не знаю, — сухо ответил Дюк. — Это без меня.

Его тошило от всего на свете, и от тети Зины в том числе.

— Я сейчас, — пообещала тетя Зина.

Тут же вернулась и сунула Дюку десятку, сложенную пополам.

— Что это? — не понял Дюк.

— Возьми, возьми... Купиши себе что-нибудь.

— С какой стати? — простодушно удивился Дюк. — Лучше купите себе туалетной бумаги, например. На год хватит. Если экономно...

Он сунул деньги обратно в пухлую руку тети Зины и пошел к своей двери. Достал ключи.

Тетя Зина наблюдала, как он орудует ключом. Потом сказала:

— Грубый ты стал, Саша. Невоспитанный. Чувствуется, что без отца растешь. Безотцовщина...

Дюк скрылся за своей дверью.

Лоб стал холодным. К горлу подкатило. Он пошел в уборную, наклонился и истощил из себя остатки коньяка, гарнитур «Тауэр», десятку и безотцовщину.

Стало полегче, но ноги не держали.

Переместился в ванную. Встретил в зеркале свое лицо — совершенно зеленое, как лист молодого июньского салата. Потом пошел в комнату и лег на диван зеленым лицом вниз.

После уроков к Дюку подошел Хонин и сказал:

— У меня к тебе дело.

— Нет! — отрезал Дюк.

— Почему? — удивился Хонин. — У тебя же мамаша уехала.

Мама действительно уехала на экскурсию в Ленинград. У них в вычислительном центре хорошо работал местком, и они каждый год куда-нибудь выезжали. Но при чем здесь мамаша?

— А что ты хотел? — спросил Дюк.

— Собраться на сабантуй, — предложил Хонин. — Маг Светкин. Кассеты Сережкины. Хата твоя.

— Пожалуйста, — обрадовался Дюк.

Его никогда прежде не включали в сабантуй: во первых, троичник и двоичник, что не престижно. Во-вторых, маленького роста, что некрасиво. Унижение для компании.

— Можно бы у Светки на даче собраться. Так туда пилили два часа в один конец.

— Пожалуйста, — с готовностью подтвердил Дюк. — Я же сказал...

Вернувшись из школы домой и войдя в квартиру, Дюк оглядел свое жилье как бы посторонним критическим взглядом. Взглядом Лариски, например.

У Лариски в доме хрустали и фарфора — как в комиссионном на улице Горького. Дюк просто варежку отвесил, когда пришел к ним в первый раз. Внутри серванта была из фарфора разыграна целая сцена: кавалер с косичкой в зеленом камзоле хватал за ручку барышню в парике и в бесчисленных юбках. Действие происходило на лужайке, там цветли фарфоровые цветы и лаяла фарфоровая собачка. У собачки был розовый язычок, а у цветов можно было сосчитать количество лепестков и даже тычинок.

Ничего такого у Дюка не было. У них стоял диван с подломанной ножкой, которую Дюк сам бинтовал изоляционной лентой. Инвалидность дивана была незаметна, однако нельзя плюхаться на него с размаху.

На креслах маленькие коврики скрывали протертую обивку. Скрывали грубую прямую бедность.

Они вовсе не были бедны. Мама работала оператором на ЭВМ — электронно-вычислительной машине. Закладывала в машину перфокарты и получала результат. И зарплату. И алименты размером в свою зарплату. Судя по алиментам, отец где-то широко процветал. И они с мамой жили не хуже людей. Просто мама не предрасположена к уюту. Ей почти все равно, что ее окружает. Главное, что в ней самой: какие у нее мысли и чувства. Дюка это устраивало, потому что не надо постоянно что-то беречь и заставлять людей переобуваться в прихожей, как у Лариски.

Дюк подумал было, не пойти ли к ней, пока тети Зины нет дома, и не попросить ли лужайку напрокат. Но просить было противно и довольно бесмысленно. В ситуации «сабантуй» украшательство ни к чему. Все равно потушат свет, и ничего не будет видно.

Дюк еще раз, более снисходительным взором оглядел свою комнату. Над диваном акварель — «Чехов, идущий по Ялте». Высокий, худой, сутулый Чехов в узком пальто и шляпе. Его слава жила от-

дельно от него. А с ним вместе — одиночество и туберкулез.

Дюка часто огорчало то обстоятельство, что Чехов умер задолго до его рождения и Дюк не мог приехать к нему в Ялту и сказать то, что хотелось сказать, а Чехову, возможно, хотелось услышать. И очень жаль, что нет прямой связи предков и потомков. У Дюка накопилось несколько предков, с которыми он хотел бы посоветоваться кое о чём. И их советы были бы для него решающими.

Дюк вздохнул. Взял с батареи рукав от своей детской пижамы, который выполнял роль тряпки и, в сущности, являлся ею, вытер пыль с полированых поверхностей. Потом включил пылесос и стал елозить им по ковру. Ковер посветел, и в комнате стало свежее.

Далее Дюк отправился на кухню. Вымыл всю накопившуюся за три дня посуду. Заглянул в холодильник и понял, что надо бежать в кулинарию.

В кулинарии он купил на три рубля двадцать пирожных со взбитыми сливками, именуемых нежным женским именем Элишка.

Потом зашел в винный отдел. Встал в длинную очередь мужчин — хмурых и неухоженных, попавших под трамвай желаний. На оставшиеся деньги обрел болгарское сухое вино.

Это первый сабантуй на его территории, и надо было соответствовать.

Гости явились в два приема. Сначала пришли ребята: Хонин, Булеев и Сережка Кискачи.

Сережка был самый шебутной из всего класса. От него, как от бешеной собаки, распространялось волнение и беспокойство. И казалось, если Сережка укусит, заразишься от него веселым бешенством и никакие уколы не помогут. Он собирался поступать в эстрадно-цирковое училище на отделение, которое готовят конферансье.

Булеев — заджинсованный спортсмен. Он каждый день пробегал по десять километров вокруг микрорайона и вместе с потом выгонял из организма все токсины. Потом вставал под душ, смывал токсины и выходил в мир — легкий и свободный. В здоровом теле жил здоровый дух, равнодушный ко всякой чепухе вроде тщеславия и поисков себя. Зачем сбя искать, когда ты уже есть.

Через полчаса пришли девочки: Кияшко, Мареева и Елисеева.

Кияшко явилась в платье на лямках — такая широкая, что все даже заробели. А Сережка Кискачи сказал:

— Ну, Светка, ты даешь...

Мареева похудела ровно в половину.

На ее лице проступили скулы, глаза, а в глазах одухотворенность страдания.

— Ты что, болела? — поразился Дюк.

— Нет. Я худела. До пятой дырки.

Мареева показала пояс с пряжкой «Рэнглер», на котором осталась еще одна непреодоленная дырка.

— Ну, ты даешь... — покачал головой Кискачи.

Все свои эмоции — восхищение, удивление, возмущение — он оформлял только в одну фразу: «Ну, ты даешь...» Может быть, для конферансье больше и не надо. Но для публики явно недостаточно.

Оля Елисеева была такой же, как всегда, — кукла-неваляшка, с бело-розовым хорошенеким лицом. Она хотела по поводу и без повода, с ней было легко и весело. В Оле Елисеевой поражали контрасты: внешнее здоровье и хронические болезни. Наружная глупость и глубинные незаурядные способности. Она учились на одни пятерки по всем предметам.

У Дюка, например, все было гармонично: что снаружи, то и внутри.

Итого вместе с Дюком собралось семь человек. Четыре мальчика и три девочки. Одной девочки не хватало. Или кто-то из мальчиков был лишним.

Сначала все расселись на кухне. Сережка Кискачи потер ладони и возрадовался:

— Хорошо! Можно выпить на халяву.

«На халяву» значило: даром, за чужой счет.

Светлана Кияшко спросила:

— Саш! У тебя еще биополя немножечко осталось?

— Какого биополя? — удивилась Мареева.

Она училась в другой школе и была не в курсе талисманий Дюка. А Светлана Кияшко ей ничего не сказала, дабы не расходовать Дюка на других. Она поступила, как истинная женщина, не склонная к мотовству. И Мареева тоже поступила, как истинная женщина, — скрыла факт обмена, чтобы выиграть в благородстве. А в дружбе фактор благородства важен так же, как в любви.

— А что? — настороженно спросил Дюк.

— У Бульки через неделю соревнования на первенство юниоров. Сходи с ним, а?

— Ты прежде у меня спроси: хочу я этого или нет? — не строго, но категорично предложил Булеев.

— Булеев! — театрально произнесла Кияшко. — Хочешь ли ты, чтобы Александр Дюкин пошел с тобой на соревнования?

— Нет. Не хочу, — спокойно отказался Булеев.

— Почему? — удивился Хонин.

— Я сам выиграю. Или сам проиграю. Честно.

— «Честно», — передразнил Сережка. — Ты будешь честно, а у них уже список чемпионов заранее составлен.

— Это их дела, — ответил Булеев. — А я отвечаю за себя.

— И правильно, — поддержала Оля Елисеева с набитым ртом. — Иначе неинтересно.

— Сам добежишь — хорошо. А если Дюк тебя подстрахует, что плохого? — выдвинул свою мысль осторожный Хонин. — Я считаю, надо работать с подстражкой.

— Без риска мне неинтересно, — объяснил Булеев. — Я без риска просто не побегу.

— Это ты сейчас такой, — заметил Сережка Кискачи. — А подожди, укатают сивку крутые горки.

— Когда укатают, тогда и укатают, — подытожил Булеев. — Но не с этого же начинать.

— Правильно! — обрадовался Дюк.

Он был рад вдвойне: за Булеева, выбравшего такую принципиальную жизненную позицию. И за себя самого. Иначе ему пришлось бы подготавливать победу. Ехать к судье. И еще неизвестно, что за человек оказался бы этот судья и что он потребовал бы от Дюка.

Может, запросил бы, как Мефистофель, его молодую душу. Хотя какая от нее польза...

— Дело твое, — обиделась Светлана. — Я же не за себя стараюсь.

— А что Дюк должен сделать? — спросила Мареева.

— Ничего! — ответила Кияшко.

Мареева пожала плечами, она ничего не могла понять — отчасти из-за того, что все ее умственные и волевые усилия были направлены на то, чтобы не съесть ни одного пирожного и сократить себя в пространстве еще на одну дырку.

Дюк заметил: бывают такие ситуации, когда все знают, а один человек не знает. И это нормально. Например, муж тети Зины, Ларискин папаша, гуляет с молодой. Весь дом об этом знает, а тетя Зина нет.

— Пойдемте танцевать! — предложила Оля Елисеева и первая вскочила из-за стола.

Все переместились в комнату, включили Кияшкин маг и стали втаптывать ковер в паркет.

Танец был всеобщим, и Дюк замечательно в него вписывался. Он делал движения ногами, будто давил пятками бесчисленные окурки. Ему было весело и отважно.

Кискачи чем-то рассмешил Олю Елисееву, и она, не устояв от хохота, плюхнулась на диван всеми имеющимися килограммами. Ножка хрестнула, диван накренился. Все засмеялись. Дюк присел на корточки, исследовал ножку — она обломилась по всему основанию, и теперь уже ничего поправить нельзя. И как выходить из положения — непонятно.

Он взял в своей комнате стопку «Иностранок» и «Новых миров», подсунул под диван вместо ножки. Бедность обстановки из тайной стала явной.

Кассетный магнитофон продолжал греметь ансамблем «Чингизхан». Неуклюжий Хонин вошел в раж и сбил головой подвеску, висящую на люстре. Подвеска упала прямо в фужер, который Сережка держал в руке. Все заржали. Дюк заметил, что природа смешного — в нарушении принципа «как должно». Например, подвеска должна быть на люстре, а не в фужере. А в фужере должно быть вино, а не подвеска. Все засмеялись, потому что нарушился принцип «как должно» и потому что у всех было замечательное настроение, созданное вином и ощущением бесконтрольности — а это почти свобода. И поломанный диван — одно из проявлений свободы.

Фужер треснул, издав прощальный хрустальный стон. Дюк забрал его из Сережкиных рук, вынес на кухню и поглядел, как можно поправить трещину. Но поправить было нельзя, можно только скрыть следы преступления.

Фужер был подарен маме на свадьбу шестнадцать лет назад. С тех пор из двенадцати осталось два фужера. Теперь один.

Дюк вышел на лестницу, выкинул фужер в мусорпровод, а когда вернулся в комнату, увидел, что свет выключен и все распределены по парам.

Хонин с Мареевой, поскольку они оба интеллектуалы с математическим уклоном. Кискачи — с Елисеевой, поскольку он ее рассмешил, а ничего не роднит людей так, как общий смех. Булеев с Кияшкой по принципу: «Если двое краше всех в округе, как же им не думать друг о друге».

Дюк попробовал потанцевать между парами один, как солист среди кордебалета, но на него никто не обращал внимания. Все были заняты друг другом.

Дюк пошел к себе в комнату. Непонятно зачем. За ним следом тут же вошли Елисеева и Кискачи.

— Ты мне не веришь! — с отчаянием воскликнул Сережка.

— Ты всем это говоришь, — отозвалась Елисеева.

— Ну, хочешь я поклянусь?

— Ты всем клянешься.

— Это сплетни! — горячо возразил Сережка. — Просто меня не любят. Я только не понимаю, почему меня никто не любит. Я так одинок...

Он склонил нечесаную голову, в круглых очках он и на самом деле выглядел несчастным и неожиданно одиноким.

Дюку показалось, Елисеева хочет прижать Сережку к себе, чтобы своим теплом растопить его одиночество. Он смущился и вышел к танцующим.

Танцевали только Булеев с Кияшкой. Дюк не стал возле них задерживаться. Отправился на кухню.

На кухне за столом сидели Хонин с Мареевой и, похоже, решали трудную задачу... Хонин что-то чертил на листке. Мареева стояла коленями на та-

бумажке, склонившись над столом своим похудевшим телом.

Они оглянулись на Дюка с отсутствующими лицами и снова углубились в свое занятие.

Дюк постоял-постоял и вышел в коридор.

В коридоре делать было абсолютно ничего. Он взял с вешалки куртку и пошел из дома, прикрыв за собой дверь, щелкнувшую замком.

На улице мело. Под ногами лежал снег, пропитанный дождем. Значит, скоро весна.

Возле подъезда дежурил старик с коляской. У коляски был поднят верх.

Дюк почувствовал вдруг, что может заплакать — так вдруг соскучился по маме. По обоюдной необходимости. У него даже выступили слезы на глазах.

И в этот момент увидел маму, но почему-то похудевшую вдвое. Как Мареева.

Она подошла, и Дюк понял: это не мама — другая женщина, чем-то похожая на маму и одновременно на Машу Астраханскую. Если бы маму и Машу перемешать в одном кotle, а потом из них двоих сделать нового человека — получилась бы эта женщина с голубым от холода лицом. Как Аэлита. У нее были прозрачные дужки больших очков, и за ними большие прозрачные серые глаза.

— Мальчик, ты не знаешь, где тут квартира восьмидесят девятая? — спросила Аэлита.

Дюк знал, поскольку это была его квартира.

— А вам кого? — спросил он.

— Я не знаю имени. Мальчик-шаман.

— Талисман, — поправил Дюк. — Это я

— Ты? — удивилась Аэлита и даже сняла очки, чтобы получше рассмотреть Дюка.

Ничего особенного она не увидела и вернула очки на прежнее место.

— Это хорошо, что я на тебя сразу напоролась. Это хорошая примета, — заключила Аэлита.

— Случайно... — философски возразил Дюк.

Если бы на сабантуй пришли четыре девочки, а не три, то он бы сейчас дома и дверь никому, кроме мамы, не открыл. Аэлита бы подождала да и ушла.

— Случайного ничего не бывает, — возразила Аэлита. — Все зачем-нибудь.

Дюк часто думал на эту тему. Что есть судьба? Нагромождение случайностей. Или все зачем-нибудь? А если второе — то зачем?

Зачем, например, стоит перед ним эта странная марсианская женщина, от которой пахнет воздухом и водой, то есть дождем. Которую он никогда не видел прежде, а кажется, будто знал давно.

Дюк смотрел на Аэлиту и раздумывал — как быть? Пригласить ее в свою квартиру или нет? Можно, конечно, подняться, зажечь свет и громко предложить своим гостям, как предлагает обычно Лев Семенович:

— Потрудитесь выйти вон!

И это было бы совершенно справедливо со стороны Дюка. Но гостям сейчас меньше всего хотелось выйти вон, в промозглый холод и мрак. Им хотелось быть там, где они есть.

— Можно я к тебе не пойду? — спросила Аэлита. — Я твоих родителей стесняюсь. Еще подумаю, что я ненормальная.

— Можно, — обрадованно разрешил Дюк.

— Пойдем в парадное, — предложила Аэлита. — Там батарея есть.

Они вошли в парадное. Поднялись на один пролет.

Аэлита поставила на подоконник большую клетчатую сумку. Сняла варежки. Положила руки на батарею. Она грела их довольно долго. Потом спросила:

— Как ты думаешь, сколько мне лет? Только честно...

Дюк преувеличенно честно посмотрел на Аэлиту и сказал:

— Двадцать пять.

Он сложил в уме возраст мамы и Маши Астраханской, 34 + 16, и разделил на два. Получилось двадцать пять.

— Сорок, — сказала Аэлита низким голосом.

Дюк взгляделся в нее пристальнее и не поверил.

— Не может быть, — сказал он.

— Я тоже не верю, — согласилась Аэлита. — Утром проснусь, вспомню, что мне сорок, и такое чувство, как после операции: приходишь в себя и узнаешь, что тебе отрезали ноги... Ужас... Кажется, что это не со мной. А потом вспомню, что до войны родилась. Давно живу. Значит, все-таки со мной...

Аэлита замолчала, всматриваясь в сумерки.

— А чего? Сорок — не много, — слукавил Дюк, этот возраст казался ему безнадежно отдаленным, давно миновавшим станцию под названием «Любовь». Ему казалось, что в этом возрасте уже смешно любить или быть любимым. И что делать в сорок лет — совершенно непонятно.

— Не много, — согласилась Аэлита. — Но и остались тоже не много. Молодости считанные секунды остались. А молодость мне сейчас нужна больше, чем когда-либо. Раньше она была мне не нужна...

Из-под ее очков выползла слеза. Аэлита сняла слезу пальцем, но на ее место по этой же самой дорожке выкатилась следующая слеза, абсолютно такая же.

— Не плачьте, — попросил Дюк. — В конце концов — как у всех, так и у вас. Если бы вы одна старели, а все вокруг оставались молодыми, тогда было бы обидно. А так чего?

— Все — это все. А я — это я, — не согласилась Аэлита и упрямо шмыгнула носом.

— Вы хотите, чтобы я сделал вас моложе? — додгадался Дюк.

— Немножечко, — тихо взмолилась Аэлита. — Всего на десять лет. Больше я не попрошу...

— Но это не в моих возможностях. Для этого надо быть волшебником, а я только талисман.

— Не отказывайся! — шепотом вскричала Аэлита. — Я не из-за себя прошу. Мне все равно. Я из-за него.

— Из-за кого?

— Я замуж выхожу. — Аэлита сняла очки, и ее лицо стало близоруким, беспомощным —казалось, если она пойдет, то вытянет перед собой руку, как слепая. Будет щупать рукой воздух, а ногами землю. — Он моложе меня на десять лет. Когда он рождался, я уже в четвертый класс ходила...

— Ну и что? Если он вас любит, какая ему разница? — спросил Дюк, подмешивая в интонацию побольше беспечности. — Подумаешь, десять лет...

— Психологически... — Аэлита подняла палец. — Он не должен об этом знать.

Дюк посмотрел на палец и мысленно согласился. Знание действительно меняет дело. С тех пор, как он узнал, что Аэлите сорок, а не двадцать пять — вернее в тот момент, когда он об этом узнал, — она постарела прямо у него на глазах. Как-то потускнела, будто покрылась временем, как пылью.

— А вы не говорите, сколько вам лет. Он и не знает, — нашелся Дюк.

— «Не говорите»... — передразнила Аэлита. — Стала бы я за этим советом ехать за тысячу километров.

Дюк растерялся.

— Меня Клавдия Ивановна на тебя вывела. Ее знакомые у нас в Прибалтике живут.

Дюк понял, что слух о нем прошел по всей Руси великой и по дороге оброс, как снежный ком.

— Вы зря ехали, — сурово сознался Дюк и почувствовал, как стало колюче-жарко щекам. — Я не талисман.

— Талисман, — спокойно возразила Аэлита.

— Но я же лучше знаю, — мучительно улыбнулся Дюк.

— Ты не можешь это знать.

— Как? — растерялся Дюк.

— Потому что это твое свойство — оно как талант. А талант не чувствуется. Это просто часть тебя. Как цвет глаз. Разве ты чувствуешь цвет глаз?

— Нет.

— Ну вот. Чувствуется только болезнь. А талант — это норма. Для тебя. Вот ты и не чувствуешь...

Аэлита надела очки и посмотрела на Дюка с таким убеждением, что он подумал оторопел: а может, правда? Вдруг он действительно талисман и теперь не надо себя искать, потому что он уже есть...

— Вы так думаете? — спросил Дюк.

— А чего бы я летела за тысячу километров? Дюк молчал, испытывая самые разнообразные чувства, среди которых было и такое, как ответственность. Когда в тебя верят, ты должен соответствовать.

— А что я должен сделать? — спросил Дюк, испытывая готовность сделать все, что в его силах и свыше сил.

— Паспорт поменять. У меня там сороковой год рождения, а надо, чтобы пятидесятый.

— А где меняют паспорт?

— В милиции. Ты должен пойти со мной в милицию.

— И все? — поразился Дюк.

Он думал, что ему, как в «Коньке-горбунке», придется ставить во дворе три котла: один котел с «водой студеной, а второй — водой вареной, а последний — молоком, вскипятя его ключом». Потом запустить туда Аэлиту и следить, чтобы она не сварилась.

А оказывается, надо всего-навсего сесть в автобус и проехать три остановки до районного отделения милиции.

— И все, — подтвердила Аэлита. — Если у меня в паспорте будет пятидесятый год рождения, он станет думать, что мне тридцать лет. И я сама стану так думать. Я обману время. Я буду самой молодой для него.

— Запросто, — поддержал Дюк.

— Знаешь... Я его всю жизнь ждала. С семнадцати лет. Каждый день. Вышла замуж и ждала. Родила ребенка и ждала. А потом изверилась и уже собралась в старость. И тут я его увидела! Знаешь, где? В музее. Я ходила по залам, такая печальная и заброшенная. Смотрела на портреты с прежними лицами. Еще подумала: вот одеть бы их всех в джинсы. И все равно остались бы несовременные. Лица другие. И тут я увидела Его. Он как будто сошел со стены. Глаза — те. Несегодняшние. Как будто он знает о жизни что-то совсем другое, чем все. Я его сразу узнала и прямо за них пошла. Сначала из зала в зал. Потом из музея на улицу. Он говорил потом, что это он за мной шел. Что его поразило мое лицо. Что он ждал меня со своих семнадцати лет и мы обязательно должны были

встретиться... Я не имею на него права. Но я не могу от него отказаться. Я буду бороться.

Аэлита посмотрела на Дюка взглядом, исполненным решимости бороться, как солдат на передовой. До победного конца.

— Ты пойдешь со мной в милицию? — спросила она.

— Пойду, — сказал Дюк, как солдат солдату.

— Завтра, — приказала Аэлита.

— В три, — уточнил Дюк. — Встречаемся на этом же месте.

Аэлита притянула Дюка к себе и поцеловала его в щеку. От нее пахло дождем на жасминовом кусте. У Дюка чуть-чуть приподнялось к горлу сердце и ненадолго закупорило дыхание. Стало снова колюче-жарко щекам, и он неожиданно подумал, вернее сделал для себя открытие, что сорокалетние тоже могут быть любимыми и любить сами. И что на станции «Любовь» стоят самые разные поезда.

Дюк подождал, пока сердце станет на место. Потом попросил:

— Дайте мне ваш паспорт.

— Зачем? — поинтересовалась Аэлита.

— Я должен буду на него повлиять.

Она достала паспорт из сумки и протянула Дюку. Он спрятал его в верхний карман куртки. Застегнул молнию. Спросил:

— А там, где вы живете, нельзя было пойти в милицию?

— А зачем бы я сюда летела? — насмешливо удивилась Аэлита. — Отпуск брала за свой счет? Деньги на билеты тратила? Хотя я не жалею... Даже если у нас с тобой ничего не получится, я видела... Знаешь, что?

— Нет, — ответил Дюк. Откуда же он мог знать?

— Восход солнца из окна самолета. Я думала, что оно медленно выплывает. А оказывается, оно выстреливает. Туго так... Р-раз!

Аэлита смотрела на Дюка, но видела не его, а шар солнца, выстрелившего над земным шаром. И себя между двумя шарами, летящую навстречу собственной молодости.

— У вас есть где ночевать? — спросил Дюк. — А то можно у меня.

— Ну что ты, — отмахнулась Аэлита. — Еще только этого не хватало. Я не хочу выпасть в осадок.

— А что это такое? — удивился Дюк.

— Надо есть, — просто объяснила Аэлита. — Когда человека много, он выпадает в осадок. Как соль в перенасыщенном солевом растворе. Химические законы распространяются и на человеческие отношения. Это я говорю тебе как химик.

Аэлита снова притянула Дюка к себе. Снова поцеловала, обдав жасмином. И ушла.

Дюк постоял, собирая себя воедино, как князь Владимир разрозненную Русь. Если только Владимир, а не другой какой-нибудь князь. В истории Дюк тоже плохо ориентировался.

Собрать себя не удалось, и Дюк с разрозненной душой поплелся на пятый этаж. Позвонил в свою дверь.

Ему долго не отпирали. Он даже забеспокоился — не ушли ли гости, захлопнув дверь и оставив в доме ключ. Тогда ему придется либо ломать дверь, либо куковать всю ночь на лестнице.

Но по ту сторону заскреблось. Отворил Хонин. Дюк даже не сразу узнал его. Наверное, целовался до одурения, лицо его как бы разъехалось в разные стороны. Рот — к ушам. Глаза — на макушку.

— Это ты? — удивился Хонин. — А где же мы? Разве мы не у тебя?

Дюк понял, что и мозги у Хонина переместились из головы в какое-то другое, непривычное для них место.

В коридор выглянула Оля Елисеева, и ее нежное лицо осветилось радостью.

— Дюк пришел! — счастливо удивилась она.

Все вышли в коридор и выразили свою радость, как умели: Булеев — мужественно и снисходительно, Кияшко — мягко, женственно, Мареева — созерцательно.

И Дюк почувствовал, что может заплакать, потому что сердце не выдержит груза благодарности. И пусть они все переломают и перебьют в его доме, только бы были в его жизни. А он — в их. Обоюдная необходимость.

Сережка Кискачи качнул головой и сказал:

— Ну, ты даешь...

Это могло означать удивление. А скорее всего — благодарность за то, что Дюк не надоедал гостям и тем самым не выпал в осадок, а остался в допустимой и полезной пропорции.

В школу Дюк не пошел, а с самого утра отправился в районную милицию.

Паспортный отдел оказался закрыт. Дюк стал соваться в двери, и в одном из кабинетов обнаружил милиционера. Это был человек средних лет, и, глядя на него, казалось, невозможно представить, что он когда-то был молодым или маленьким.

— Слушаю, — отозвался милиционер.

Дюк попытался установить с ним контакт глазами, но контакт не устанавливался.

У милиционера было остановившееся, неподвижное лицо. Он не понравился Дюку. Но Дюк не мог выбирать себе собеседника по вкусу. Приходилось иметь дело с тем, кто есть.

— Слушаю, — повторил милиционер.

Дюк достал из нагрудного кармана куртки паспорт Аэлиты и, сбиваясь, путаясь, замерзая от отсутствия контакта, стал объяснять, зачем пришел. Он рассказал про любовь и тысячу километров. Про тридцать и сорок, которые со временем перетекут в сорок и пятьдесят. Про психологический барьер. Дюк поймал себя на том, что при слове «психологический» поднял палец так же, как Аэлита.

Милиционер посмотрел на поднятый палец и сказал:

— Документики.

— У меня нет. Я несовершеннолетний. А зачем?

— Установить личность.

— Мою?

— Твоя. И того товарища, который хочет подделать паспорт.

— Не подделать. Исправить, — сказал Дюк.

— Это одно и то же. Знаешь, что полагается за исправление документа?

Дюк промолчал.

— Уголовная ответственность. С какой целью гражданин хочет подделать паспорт?

— Замуж выйти.

— Разрешите... — Милиционер протянул руку.

Дюк понял, что, если паспорт Аэлиты попадет милиционеру, он ее арестует и посадит в тюрьму.

— Если нельзя, то и не надо, — торопливо согласился Дюк. — Я ведь только посоветоваться. Я думал — это все равно. Ну какая кому разница, сколько человеку лет: сорок или тридцать?

— А паспортная система, по-твоему, для чего?

— Я не знаю. — Дюк действительно не знал, для чего существует паспортная система.

— В Москве одних Ивановых две тысячи, — возмутился милиционер, как будто Ивановы были винов-

ватаы в том, что их две тысячи. — Как их различить? По имени. Отчеству. Году рождения. Месту рождения. По паспорту. Понял?

— Понял, — радостно кивнул Дюк.

— А если каждый начнет приписывать по своему усмотрению, то что получится?

Дюк преданно смотрел милиционеру в глаза.

— Свали! Неразбериха! Куча мала! Кого регистрировать? Кого хоронить? Кому пенсию платить?

— Так она же хочет моложе. На десять лет позже пенсия. Государству экономия.

— Государство на безобразиях не экономит, — жестко одернул милиционер и пошевелил пальцами протянутой руки. — Документики, — напомнил он.

У Дюка не оставалось выхода, и он положил на стол паспорт. Милиционер развернул его и стал смотреть на фотокарточку Аэлиты. Если бы смотрел художник — то выискивал бы в ее чертах инопланетную красоту. Врач — следы скрытых недугов. А милиционер — преступные намерения. Определял преступный потенциал.

— Почему гражданка сама не явилась? — подозрительно прищурился милиционер. — Почему действует через третьих лиц? Через посредников?

Дюк хотел объяснить, что он не посредник, а талисман. Но тогда милиционер и его заподозрил бы в подлоге собственной личности, и это было бы в какой-то степени правдой.

Зазвонил телефон.

— Хренюк слушает, — сказал милиционер.

Дюк поверил, что паспорта действительно нельзя исправлять, иначе милиционер написал бы себе другую, более романтическую фамилию.

— Я сейчас, — пообещал Дюк.

Сдернул со стола паспорт Аэлиты и, не оглядываясь, пошел из комнаты.

Стены в коридоре были покрашены бежевой масляной краской, а стулья и скамейки — коричневой. Дюк рванул по коридору. Бежево-коричневая полоса скользнула по боковому зренiu. Выскочил на улицу. Огляделся по сторонам и брызнул куда-то вбок, через трамвайную линию. Нырнул в подземный переход, вынырнул на другой стороне, против магазина «Культтовары».

Зашел в магазин, нарочно беспечно сунув руки в карманы и настыльвая мотив. Такое поведение казалось ему наиболее естественным. Дюк бросил взгляд в окошко, ожидая увидеть погоню. Но никто за ним не бежал. Пешеходы шли по тротуару, озабоченные своими проблемами — такими далекими от проблем Дюка. Машины грамотно ехали по проезжей части, останавливаясь у светофора.

Дюк подумал: чтобы выглядеть в магазине естественно, надо что-то купить. Ведь именно за этим сюда и приходят.

— Покажите мне ручку, пожалуйста, — попросил Дюк.

Молодая продавщица, накрашенная, как на сцене, глядя выше головы Дюка, положила на прилавок три образца ручек и, не дожидаясь, какую он выберет, отошла в музыкальный отдел. Стала болтать с продавщицей из музыкального отдела — тоже молодой и накрашенной. У обеих был такой вид, будто в магазин должен кто-то прийти, и они боятся его пропустить.

Ручки были дорогие и не могли пригодиться Дюку, потому что он писал шариковыми за тридцать пять копеек. Но все же он макнул одну ручку в синие чернила и написал на бумажке: «Маша». Перо было жесткое. Таким пером хорошо заполнять похвальные грамоты каллиграфическим почерком — случалось такое в его жизни. Или подделывать документы. Такого в его жизни не бывало.

Дюк представил себе, как в три часа придет Аэлита. Посмотрит на него своими хрустальными глазами и скажет: «А я в тебя верила».

Дюк раскрыл спасенный паспорт, посмотрел на марсианское лицо Аэлиты, с тонким, каким-то светящимся овалом. Потом перевернул страничку, увидел ее год рождения: 1940. Нуль был немножко недоразвитым. Дюк взял другую ручку, на которой не было следов синих чернил. Окунул в черную тушь, стоящую тут же. Завесил руку над нулем, потом опустил и подставил под нулем аккуратную черную лапку. Получилась девятка. Она смотрелась немножко беременной в сравнении с первой, но все же это была именно девятка и ничто другое. Теперь год рождения был — 1949.

Продавщица вернулась к Дюку и спросила:

— Будешь брат?

— Вот эту, — показал Дюк.

— Три пятьдесят, — сказала продавщица и положила ручку в пластмассовый футляр.

— Извините, пожалуйста, я не вижу. Какой здесь год рождения? — спросил Дюк и подвинул продавщице раскрытый паспорт.

— 1949, — равнодушно ответила продавщица и посмотрела на дверь.

Ничто не вызывало в ней сомнения.

Дюк спрятал паспорт в карман. Заплатил за ручку и вышел на улицу.

До дома было недалеко. Он отправился пешком.

Спокойно шел, сунув руки в карманы, ни о чем не сожалея. Он знал, что теперь Аэлита будет счастлива всю оставшуюся жизнь. И так мало для этого надо: тоненькую черную лапку под нулем.

До трех часов оставался еще час.

Стоять в парадном было скучно. В пустую квартиру идти не хотелось.

Дюк сел в садике перед домом. Раскинул руки вдоль скамейки, поднял лицо к небу. Он любил разомкнутые пространства и любил сидеть вот так, раскинув руки, лицом к небу, как бы обнимая этот мир, вместе со всеми временно пришедшими в него и навсегда ушедшими. Куда?

Он не заметил, как подошла Аэлита, поэтому ее лицо с большими очками возникло внезапно.

— Я пораньше пришла, — сказала Аэлита.

— И я пораньше пришел, — ответил Дюк.

Аэлита села на краешек лавочки, не сводя с Дюка тревожных глаз.

— На десять лет не вышло, — извинился Дюк. — Только на девять.

Он протянул ей паспорт.

Аэлита раскрыла, вцепившись глазами в страничку. Потом вскинула их на Дюка, и он увидел, как в ней — р-раз! — тута выстрелило солнце.

— Будете на один год старше, — сказал Дюк. — Это нормально.

— Все... — выдохнула Аэлита. — Теперь я молода! Мне 31 год!

Она поднялась с лавочки. И помолодела прямо на глазах у Дюка. Он увидел, как она расправилась, стерла с себя пыль, вернее некоторую запыленность временем. И засверкала, как новый лакированный рояль, с которого сняли чехол.

— Я знала, что так получится, — сказала Аэлита, щурясь от грядущих перспектив.

— Откуда вы знали?

— А иначе и быть не могло. Разве могло быть иначе?

Дюк пожал плечом. Он знал, как могло быть и как есть на самом деле.

— Будь счастлив, талисман! — попросила Аэлита. — Не забудь про себя.

— Ладно, — пообещал Дюк. — Не забуду.

Она улыбнулась сквозь слезы. Видимо, счастье действовало, как перегрузка, и мучило ее. Улыбнулась и пошла из садика. У нее была впереди долгая счастливая жизнь. И она устремилась в эту новую жизнь. А Дюк остался в прежней. На лавочке.

Когда он обернулся, Аэлита уже не было. Он даже не узнал, как ее зовут. И откуда она приехала? И кто она такая? Да и была ли она вообще?

Но в кармане лежала новая ручка со следами черной засохшей туши на жестком пере.

Значит, все-таки была...

Вечером из Ленинграда вернулась мама.

Увидела сломанный диван и сказала:

— Ну, слава богу! Теперь мебель поменяю. А то живем, как беженцы. Не дом, а караван-сарай.

Она привезла в подарок Дюку альбом для марок, хотя Дюк вот уже год, как марок не собирал. А мама, оказывается, не заметила. Она вообще последнее время стала невнимательна, и Дюк заподозрил: не зевалась ли у нее какой-нибудь хмырь с несовременным лицом на десять лет моложе или ровесник. В этом случае большая часть маминой любви перепадет ему, а Дюку останутся огрызки. И он заранее ненавидел этого хмыря и маму вместе с ним.

Дюк ходил по квартире хмурый и подозрительный, как бизон в прериях, но мама ничего не замечала. На нее навалилась куча хозяйственных дел. Она стирала белье, запускала в производство обед и носилась между ванной, кухней и телефоном, который победно-звенящие призывал ее из внешнего мира. Мама спешила на зов, сильно топотча, вытирая на ходу руки, и Дюк всякий раз подозревал, что это звонит хмырь, и процесс кражи уже начался или может начаться каждую секунду.

Наконец мама заметила его настроение и спросила:

— Ты чего?

— Ничего. Не выспался.

Он улегся спать в половине десятого, но заснуть не мог, потому что вдруг понял: он обречен. Аэлита засекут довольно скоро, может быть, даже в загсе, куда она предъявляет фальшивый паспорт. Ей зададут несколько вопросов, на которые она, естественно, ответит. И Дюка посадят. В камеру придет Хренюк и скажет: «Я тебя предупреждал. Ты знал. Значит, ты совершил умышленную подделку документа, чем подорвал паспортную систему, которая является частью системы вообще. Значит, ты государственный преступник».

Шпагу над ним, как над Чернышевским, конечно, не сломают, а просто пошлют в тюрьму вместе с ворами и взяточниками. Правда, можно и в тюрьме остаться человеком. Но поскольку Дюк — нуль, пустое место, то он и там не завоюет авторитета, и ему достанется самая тяжелая и унижительная работа. Например, чистить бочку картошки.

Дюк услышал, как кто-то взвыл, а потом вдруг сообразил, что это его собственный вой. Взрывная волна страха выкинула его из постели, выбила из комнаты и кинула к маме. Мама уже засыпала. Дюк забился к ней под одеяло, стал выть потише, обывая ее волосы и лицо.

— Ну что ты, талисманчик мой. — Мама нежным сильным движением отвела его волосы, стала целовать в теплый овечкин лобик. — Уже большой, а совсем маленький.

Он был действительно совсем маленьким для нее. Так же пугался и плакал, так же ел, слегка брезгли-

во складывая губы. От него так же пахло — сеном и парным молоком. Как от ягненка.

— Ну что с тобой? Что? Что? — спрашивала мама, плавясь от нежности.

И Дюк понял, что нет и не будет никакого хмыря. Мама никогда не выйдет замуж, а он никогда не женится. Они всю жизнь будут вместе и не отдастут на сторону ни грамма любви.

Мама грела губами его лицо. Ее любовь перетекала в Дюка, и он чувствовал себя защищенным, как зверек в норке возле теплого материнского живота.

— Ну что? — наставила мама.

— А ты никому не скажешь?

— Нет. Никому.

— Поклянись.

— Клянусь.

— Чем?

— А я не знаю, чем клянутся.

— Поклянись моим здоровьем, — предложил Дюк.

— Еще чего... — не согласилась мама.

— Тогда я тебе ничего не скажу.

— Не говори, — согласилась мама, и это было обиднее всего.

Он не ожидал такого хода с маминой стороны.

Потребность рассказать распирала его изнутри, и он почувствовал, что лопнет, если не расскажет. Дюк полежал еще несколько секунд, потом стал рассказывать — с самого начала, с того классного часа, до самого конца — совершения государственного преступления. Но мама почему-то не испугалась.

— Идиотка, — сказала она раздумчиво.

— Кто? — не понял Дюк.

— Твоя Нина Георгиевна, кто же еще? Кто это воспитывает унижением? Хочешь, я ей скажу?

— Что? — испугался Дюк.

— Что она идиотка.

— Да ты что! У меня и так общий балл по аттестату будет 3,3. Куда я с ним поступлю?

— Хочешь, я тебя в другую школу переведу?

— Мама! Я тебя умоляю! Если ты будешь грубо вмешиваться, я ничего не буду тебе рассказывать, — расстроился Дюк.

— Хорошо, — пообещала мама. — Я не буду грубо вмешиваться.

Дюк лежал в теплой, уютной темноте и думал о том, что другая школа — это другие друзья. Другие враги. А он хотел, чтобы друзья и даже враги были прежними. Он к ним привык. Машу Астраханскую он сделал счастливой. Марееву — стройной. Тете Зине выразил свой протест.

— Знаешь, в чем твоя ошибка? — спросила мама. — В том, что ты живешь не своей жизнью. Ты ведь не талисман.

— Неизвестно, — слабо возразил Дюк.

— Известно, известно. — Мама поцеловала его, как бы скрашивая развенчание нежностью. — Ты не талисман. А живешь, как талисман. Значит, ты живешь не своей жизнью. Поэтому ты воруешь, врешь и воешь.

Дюк внимательно слушал и даже дышать старался потише.

— Знаешь, почему я развелась с твоим отцом? Он хотел, чтобы я жила его жизнью. А я не могла. И ты не можешь.

— А это хорошо или плохо? — не понял Дюк.

— Где-то я читала: «Ни брату, ни жене, ни другу не давай власти над собой при жизни твоей. Доколе ты жив и дыхание в тебе, не заменяй себя никем...» Надо быть тем, кто ты есть. Самое главное в жизни — найти себя и полностью реализовать.

— А как я себя найду, если меня нет?

— Кто сказал?

— Нина Георгиевна. Она сказала, что я безынициативный.

— Ну и что? Даже если так... Не всем же быть лидерами... Есть лидеры, а есть ведомые. Жанна Д'Арк, например, вела войско, чтобы спасти Орлеан, а за нее шел солдат. И так же боролся и погибал, когда надо было. Дело в том, куда они идут и с какой целью. Ты меня понял?

— Не очень, — сознался Дюк.

— Будь порядочным человеком. Будь мужчиной. И хватит с меня.

— Почему с тебя? — не понял Дюк.

— Потому, что ты моя реализация.

— И это все?

— Нет, — сказала мама. — Не все.

— А как ты себя реализовала?

— В любви.

— К кому? — насторожился Дюк.

— Ко всему. Я даже этот стул люблю, на котором сижу. И кошку соседскую. Я никого не презираю. Не считаю хуже себя.

Дюк перевел глаза на стул. В темноте он выглядел иначе, чем при свете, — как бы обрел таинственный дополнительный смысл.

— А без отца тебе лучше? — спросил Дюк, проникая в мамину жизнь.

Они впервые говорили об этом. И так. Дюку всегда казалось, что мама — это его мама. И все. А оказывается, она еще и женщина и отдельный человек со своей реализацией.

— Он хотел, чтобы я осуществляла его существование. Была при нем.

— А может быть, не так плохо осуществлять другого человека, если он стоит того, — предположил Дюк. — Чехова, например...

— Нет, — решительно сказала мама. — Каждый человек неповторим. Поэтому надо быть собой и больше никем. Дай слово, что перестанешь талисманить.

— Даю слово, — пообещал Дюк.

— Это талисманство — замкнутый порочный круг. Все, кого ты облагодетельствовал, придут к тебе завтра и снова станут в очередь. И если ты им откажешь, они же тебя и возненавидят и будут помнить не то, что ты для них сделал, а то, что ты для них не сделал. Благодарность — аморфное чувство.

Дюк представил себе, как к нему снова пришли: Аэлита — за новым ребенком в новой семье, тетя Зина — за ковром, Виталька Резников — за институтом, Маша — за Виталькой. Кияшко захочет вернуть все, что когда-то раздарила.

— Даю слово, — поклялся Дюк.

— А теперь иди к себе и спи. И не бойся. Ничего с тобой не будет.

— А с Аэлитой?

— И с ней тоже ничего не случится. Просто будет жить не в своем возрасте. Пока не устанет. Иди, а то я не высплюсь.

Дюк побежал трусцой к себе в комнату, обгоняя холод. Влез под одеяло. Положил голову на подушку. И в эту же секунду устремился вверх по какой-то незнакомой лестнице. Подпрыгнул, напрружинился и полетел в прыжке. И знал, что, если напрружинится изо всех сил, может лететь выше и дальше. Но не позволял себе этого. Побаивался. Такое чувство бывает, наверное, у собак, играющей с хозяином, когда она легко покусывает его руку и у нее даже зубы чешутся — так хочется хватить посильнее. Но нельзя. И Дюк, как собака, чувствует истерпение. И вот не выдерживает — напрягается до того,



что весь дрожит. И летит к небу. К розовым обла-
кам. Счастье! Вот оно! И вдруг пугается; а как
обратно?

И в этот момент зазвенел телефон.

Дюк оторвал голову от подушки, обалдело по-
смотрел на телефон, переживая одновременно сон,
и явь, и ощущение тревоги, звенящей вокруг телефона.

Он снял трубку. Хрипло отозвался:

— Я слушаю...

Там молчали. Но за молчанием чувствовалась не
пустота, а человек. Кто это? Аэлита? Милиционер?
Маша Астраханская? Кому он понадобился?..

— Я слушаю,— окрепшим голосом потребовал
Дюк.

— Саша, это ты? Извини, пожалуйста, что я тебя
разбудила...

Дюк с величайшим недоумением узнал голос
классной руководительницы Нины Георгиевны. И
представил себе ее лицо с часто и нервно мигаю-
щими глазами.

— Мне только что позвонили из больницы и сказа-
ли, что мама плохо себя чувствует. И чтобы я
пришла. Я очень боюсь.

Дюк молчал.

— Ты понимаешь, они так подготавливают родст-
венников, когда больной умирает. Они ведь прямо
не могут сказать. Это антигуманно...

Волнение Нины Георгиевны перекинулось на Дю-
ка, как пожар в лесу.

— Я тебя очень прошу. Сходи со мной в больницу. Пожалуйста.

— Сейчас? — спросил Дюк.

— Да. Прямо сейчас. Я, конечно, понимаю, что ты должен спать. Но...

— А какая больница? — спросил Дюк.

— Шестьдесят вторая. Это недалеко.

— А как зовут вашу маму?

— Сидорова Анна Михайловна. А зачем тебе?

— Перезвоните мне через пятнадцать минут, — попросил Дюк.

— Хорошо, — согласилась Нина Георгиевна убийством голосом.

Дюк положил трубку. Набрал 09. Там сразу отозвались, и слышимость была замечательная, поскольку линия не перегружена. Дюку дали телефон шестьдесят второй больницы. И в шестьдесят второй отозвались сейчас же, и чувствовалось, что больница рядом, потому что голос звучал совсем близко.

— Рабочий день кончился, — сказал голос. — Звоните завтра с десяти утра.

— Я не могу завтра! — вскричал Дюк. — Мне надо сейчас! Я вас очень прошу...

— А ты кто? — спросил голос. — Мальчик или девочка?

— Мальчик.

— Как фамилия? — спросил голос.

— Моя?

— Да нет. При чем тут ты? Фамилия больного. Про кого ты спрашиваешь?

— Сидорова. Анна Михайловна.

Голос куда-то канул. Дюк даже подумал, что телефон отключили.

— Алло! — крикнул он.

— Не кричи, — попросил голос. — Я ищу.

— А вы мужчина или женщина? — подюбопытствовал Дюк, потому что голос был низкий и мог принадлежать представителю того и другого пола.

— Я старуха, — сказал голос. И снова канул. Потом опять возник и спросил: — А она тебе кто? Бабушка?

— Не моя, — уклончиво ответил Дюк.

— Скончалась... — не сразу сказал голос.

Дюк был поражен словом «скончалась». Значит была, была и кончилась.

— Спасибо... — прошептал он.

Там вздохнули и положили трубку.

И этот вздох как бы остался в его комнате. Дюк с ужасом всматривался в черное окно, как будто там могло возникнуть мертвое лицо. Он сидел без единой конкретной мысли. Существовал как бы на верхушке вздоха.

Потом мысли стали просачиваться в его голову одна за другой. Первая мысль была та, что сейчас позвонит Нина Георгиевна и надо что-то придумать и не ходить. Потому что пойти с ней в больницу — значит, провалиться, порушить конструкцию талисмана, выстроенную такими усилиями. Нина Георгиевна увидит, что Дюк не просто нуль. Это было бы еще ничего. Нуль в конце концовнейтрален и никому не мешает.

Она увидит, что он минус единица. Врун и самозванец с преступным потенциалом. И если он таков в пятнадцать лет, то что же выйдет из него дальше?

И наверняка ближайшее классное собрание будет посвящено именно этой теме.

Вторая мысль, следующая за первой и вытекающая из нее, была та, что если Дюк не пойдет с Ниной Георгиевной, то она пойдет одна, потому что сопровождать ее некому. Она жила со старой матерью и маленькой дочкой. Он представил, как

она поплется в ночи. Потом одна встретит это известие. И одна пойдет обратно. Как она будет возвращаться?

Зазвенел телефон. Дюк снял трубку и сказал:

— Я выхожу. Встретимся возле автобусной остановки.

— А зачем? — удивилась Нина Георгиевна. — Ведь автобусы же не ходят...

— Для ориентира, — объяснил Дюк.

Он положил трубку и стал одеваться.

Конечно, жаль было проваливаться после стольких трудов.

Да и чем он мог ей помочь? Только тем, что быть рядом... Но ведь он мужчина. А это и есть его сущность. Замысел природы.

Автобусы начинают ходить в шесть утра, а сейчас было половина второго.

Дюк и Нина Георгиевна шли пешком и все время оборачивались — не покажется ли такси со светящимся зеленым огоньком.

И такси действительно показалось, но уже возле самой больницы. Когда они уже дошли и брат машину было бессмысленно.

У Дюка всегда было в жизни именно так: все, что он хотел получить, приходило к нему в конце концов. Но приходило поздно. Когда ему это уже становилось не нужно. Так было с велосипедом. Так, наверное, будет с Машей Астраханской.

Больница была выкрашена в белую краску, как больничный халат, и даже в темноте светилась белизной, и казалось, что возле нее начало светать. Где-то за стенами, может быть, в подвале, лежало мертвое тело.

— Я вас здесь подожду, — сказал Дюк.

Нина Георгиевна кивнула и пошла к широкой стеклянной двери, ведущей в стационар. Обернувшись, спросила:

— Ты не уйдешь?

— Что вы... — смутился Дюк, поражаясь беспомощности и детству взрослого человека.

— Я никогда ее не понимала, — вдруг сказала Нина Георгиевна. — Не хотела понять...

Она как бы переложила на Дюка немножко своего отчаяния, и он принял его. И поник.

— Ну ладно, — сказала Нина Георгиевна и пошла, неловко ступая.

Дюк остался ждать.

Перед больницей, по другую сторону дороги, был брошен островок леса. К островку примыкали шикарные кирпичные дома. Возле них много машин. Иказалось, что в этих домах живут люди, которые не болеют, не умирают и не плачут. Чтобы достать мебель или пластинку, им не надо обзаводиться талисманом. Иди и покупай. Однако Дюк не завидовал им. У него было свойство натуры, как у мамы. Любить то, что мое. Моя шапка с кисточкой. Моя страна. Моя жизнь. И даже эта ночь тоже моя.

За стационаром строился новый корпус. Стройка неприятно, хламно темнела, иказалось, что оттуда может прибежать крыса. Дюк мистически боялся этого зверя с низкой посадкой и голым бесстыжим хвостом. Он был убежден, что у крысы ни совести. А ум есть. Значит, крыса сознательно бесстыжая и бессовестная. Она сообразит, что Дюк один в ночи, взбежит по нему и выкусит кусок лица.

Дюку стало зябко и захотелось громко позвать Нину Георгиевну. В этот момент отворилась стеклянная дверь, и Нина Георгиевна выбежала радостная.

Дюк заметил, что такое случается с ним часто: стоит ему о человеке подумать, внутренне позвать, и он появляется. Встречается на улице либо звонит по телефону.

Нина Георгиевна радостно обхватила Дюка и даже приподняла его:

Потом поставила на место и сообщила, запыхавшись от чувств.

— В понедельник можно забирать...

— В каком виде? — растерялся Дюк.

— В удовлетворительном, — ответила Нина Георгиевна. И пошла по больничной дорожке.

Дюк двинулся следом, недоумевая: что же случилось? Может быть, Нине Георгиевне дали неправильную справку? Не захотели огорчать? А может быть, это ему по телефону неправильно сказали, что-нибудь перепутали? Или пошутили. Хотя вряд ли кто шутит такими вещами. А может быть, все правильно. Просто Ивановых в Москве две тысячи, а Сидоровых человек триста, и почему бы двум Сидоровым не оказаться в одной шестьдесят второй больнице.

— А зачем вам звонили? — перепроверил Дюк.

— Мама потребовала. Заставила дежурную сестру, — недовольно сказала Нина Георгиевна. — Все-таки она эгоистка. Никогда не умела думать о других. А в старости и вовсе как маленькая.

Сейчас, когда миновала смерть, на сцену выступила сама жизнь с ее житейскими делами и житейскими претензиями.

Обратная дорога показалась в три раза короче. Во-первых, они больше не оборачивались, а шли только вперед в обнимку с большой удачей. Нина Георгиевна возвращалась обратно дочкой, а не сироткой. А Дюк в последний раз блестяще выиграл партию талисмана.

Уходить надо непобежденным. Как в спорте. В последний раз выиграть — и уйти.

Подошли к автобусной остановке, откуда начали свой путь, полный тревог.

— Спасибо, Саша, — сказала Нина Георгиевна и посмотрела Дюку в глаза не как учитель ученику, а как равный равному.

— Не за что, — смущился Дюк.

— Есть за что, — серьезно возразила Нина Георгиевна. — Учить уроки, участвовать во внеклассной работе и хулиганить могут все. А быть талисманом, давать людям счастье — редкий дар. Я поставлю тебе по литературе пятерку и поговорю с Львом Семеновичем, у меня с ним хорошие отношения. И он поговорит с Инессой Даниловной. Максимальный балл — 5,0 — мы тебе, конечно, не сделаем. Но 4,7 можно натянуть. Это тоже неплохо. С 4,7 ты сумеешь поступить куда угодно. Даже в МГУ.

— Да что вы, — смущился Дюк. — Не надо.

— Надо, — с убеждением сказала Нина Георгиевна. — Людей надо беречь. А ты человек.

Дюк не стал поддерживать это новое мнение. И не стал против него возражать. Он вдруг почувствовал, что хочет спать, и это желание оказалось сильнее всех других желаний.

Голову тянуло книзу, будто кто-то положил на затылок тяжелую ладонь.

— Ну, до завтра, — попрощалась Нина Георгиевна. — Хотя уже завтра. Если проспишь, можешь прийти третьему уроку, — разрешила она.

И пошла от остановки к своему дому. А Дюк — к своему. Короткой дорогой. Через садик.

Садик смотрелся ночью совершенно иначе — как дальний родственник настоящего леса. И лавочка выглядела более самостоятельной. Не зависимой от людей.

Дюк сел на лавочку в привычной позе — лицом к небу. Темное небо с точечками звезд было похоже на перфокарту. А может, это и есть господня перфокарта и люди из поколения в поколение пытаются ее расшифровать. Хорошо было бы заложить ее в счетную машину и получить судьбу.

Дюк всматривался в звездный шифр, стараясь прочитать свою судьбу. Но ничего нельзя знать наперед. И в этом спасение. Какой был бы ужас, если бы человек все знал о себе заранее: кого полюбит, когда умрет. Знание убивает надежду. Если, например, точно знать день смерти, то всю оставшуюся жизнь только и будешь подсчитывать сколько тебе осталось. И ничего существенного в жизни не сделаешь. Зачем что-то делать, если все равно такого-то и во столько-то ты умрешь.

А если не знать, то кажется: не окончишься никогда. Будешь вечно. И тогда есть смысл искать себя, и найти, и полностью реализовать. Осуществить свое существование.

Мама спала. Дюк неслышно раздевся. Просочился в свою комнату.

Расстеленная кровать мамила, но Дюк почему-то включил настольную лампу, сел за письменный стол. Раскрыл «Что делать?». Вспомнилось, как мама время от времени устраивала себе разгрузку, садилась на диету и три дня подряд ела несоленый рис. И, чтобы как-то протолкнуть эту еду, уговаривала себя: «А что? Очень вкусно. Вполне можно есть».

Дюк давился снами Веры Павловны и уговаривал себя: «А что? Очень интересно...» Но ему было неинтересно. Ему было скучно, как и раньше. Просто он не мог себе позволить брать пятерки даром. Как говорил Сережка, «на халаву».

Даром он мог брать только двойки.



АРТЕМ АРУТЮНЯН

Цветущий куст жасмина

Темный день...

Куст жасмина, зацветая, простерся
тенью светлой и длинной.
Белый ангельский лик лепестков,—
и глядят лепестки, не мигая,
в глубину твоих глаз, постигая
твои мысли и тайный твой зов.
А из чаши цветка аромат
воспарит над покорной травою,
и осыпаны желтой пыльцою
твои руки, поля, горный скат.
Ах, кротка и нежна их пыльца!
Но мгновенье — и вдруг улетает,
улетает, а может быть, тает,
исчезает, как радость с лица.
Но незыблем и вечен жасмин,
куст прекрасный, стремящийся к людям,
но незыблем ясная синь
неба, где мы, пожалуй, не будем...

Рассвет

Поднялся рано поутру,
гляджу, рассвет идет с косой
и косит влажную траву,
и косит лес и синеву,
и розы в песенном краю
в тот миг пролили кровь свою.
И солнце в небе родилось,
и луч его пронзил насквозь
великий мир, земной предел,
и сразу дождь осиротел.
И от дыхания лесов
слетел с твоих дверей засов,
роса ослепла от лучей,
и День возник в красе своей.
Ошеломляющий рассвет
запомнил я в пятнадцать лет.

☆☆☆

Благословенный край,
отторгни скорбь, страданья!
Благословенный край,
где ясных зорь сиянье,
где словно невзначай
левил твое касанье.

И пахнет мир тобой,
одной тобой на свете,
и от любви к тебе
погибнем я и ветер.

Мы любим, и земля
нам открывает тайны —
мир чувств, холмов, лугов,
такой необычайный.

Мы все приобрели,
и все мы потеряли,
но вечности лицо
нам открывалось в дали.

☆☆☆

Скажите, почему полет
скользящей ласточки,
как шелк?
Скажите, почему всегда
природа девичья свежа?
Скажите, ветер почему,
как несмышленое дитя,
которое не заманиТЬ
из сада, с луга в душный дом!
Когда перед рассветом ты
раскроешь звонкое окно,
ветра, врываясь сквозь окно,
способны жизнь перевернуть.
Скажите, почему смогла
от солнца тень произойти?
Скажите, кто торчит пути,
сам оставаясь
чащей скрыт?
Когда лица коснется свет,
рожденный каменной землей,
когда услышишь голос ты,
сзывающий на страшный суд,
открой скорее дверь свою,
чтоб День вошел,
чтоб День вошел,
покинувший тебя давно.

Дилижанский лес

Черный лес, порожденье зимы:
листья сброшены, дали открыты,
но дрозды полетели из тьмы,
почки крепки уже, как копыта.
Тает снег, и расплывчатая тень,
холод-труженик будет стараться,
чтобы лед заблестел в ясный день,
чтобы снегу с землей не расстаться.
Лес осунулся и похудел,
ветер слаб, как впадающий в старость,
аромат сохранить не сумел,
в ветре звуков почти не осталось.
Солнца путь в небесах одинок,
но, по сути вещей, не для вида
дрозд раскачивает сучок,
почки крепки уже, как копыта.
Тени резче бросает закат —
и уже под сырой землею
семена ударяют в набат,
чтоб воспрянуть с весенней зарею.

Перевел с армянского
О. ШЕСТИНСКИЙ



БОРИС СИРОТИН

Майское танго

В твоем городке у реки,
Где вишен томительный запах,
При галстуках фронтовики
И в белых капроновых шляпах.
Чистейше медали звенят,
Зеркально сверкают ботинки,
И листья под ветром шипят,
Как те фронтовые пластинки.
В костюм темно-синий одет,
В крахмальную втиснут рубашку
Смущенный и розовый дед,
С утра пропустивший рюмашку...
За Волгой великая тишь,
Там ивы исходят слезами.
А здесь ты на праздник глядишь
По-детски большими глазами.
С невидимых глазу высот,
А может, откуда из далей
Вдруг дымом лицо охнёт
И дедовским звоном медалей...
Ты косы сложи на груди
И, верная смутному долгу,
Смешной патефон заведи
И пальцем потрогай иголку.
Ах, танго, восторг голубой,
Щемящие, нежные звуки!
От музыки сами собой
Сожмутся взволнованно руки.
На нынешний дьявольский ритм
Все это ничуть не похоже.
Но лоб почему-то горит
И даже мураски по коже...
Мотив невесомо-сквозной
[Что может быть сентиментальней!]
Никак не увижешь с войной,
С ее канонадою дальней.
И все-таки все оно там,
Вот это прозрачное танго,
Где черная смерть по пятам
И тень от квадратного танка.
Где падает сумрачный свет
На землю и виден нечетко
Распластанно замерший дед
С гранатою у подбородка...

Обстуг

I

Как приехали мы в Овстуг,
Быстрой ласточек под стать,
Рифма радостная «воздух»
Стала в воздухе витать.
То ли реял слабый ветер,
То ль от ласточкиных крыл,

Но подвижен, легок, светел
Здесь июньский воздух был.
Овстуг-отзвук — вновь созвучье,
И аллеи тишины,
Где стволы, листы и сучья
Этим отзвуком полны,
А когда в грачинах тучах
Парк стогласно загадел,
Показалось, будто Тютчев
Вдоль аллеи поглядел...
Я представил: легкий волос,
Галстук, старческая грудь,
Я услышал слабый голос,
С хрипотцою даже чуть...

II

Придержу перо и точен
Буду — видно, неспроста
Тютчев в зрелости не очень
Эти жаловал места.
И в слепых лучах заката,
В сумрачном его огне
Этой страннысти загадка
Приоткрылась вроде мне.
Я представил свод небесный,
Контур звездного ковша...
Здесь впервые перед бездной
Обмерла его душа.
Утром снова луговые
Травы приняли коров,
Но тогда слетел впервые
Золотой со дня покров.
В дали детства увлекая,
Извивался пыльный путь,
Но в груди уже нагая
Отпечатывалась суть...

III

Как он будет с ней бороться,
Всякий злак боготворить,
Из глубокого колодца
Русской речи пить и пить!
Наблюдая воду, сушу,
Снегопады, травостой,
Он узрит в природе душу.
Взгляд разумный и простой.
Но, душе его любезный,
Мир опишет полный круг
И поставит вновь пред бездной...
Только ровен сердца стук.
Ведал он всю жизнь, что эта
Бездна жуткая дала
Взгляд ему, и речь поэта,
И печальных два крыла...



Речь моя очень медленно льется,
Я и сам не спешу никуда,
Предлагая испить из колодца,
Где глубокая блещет вода.

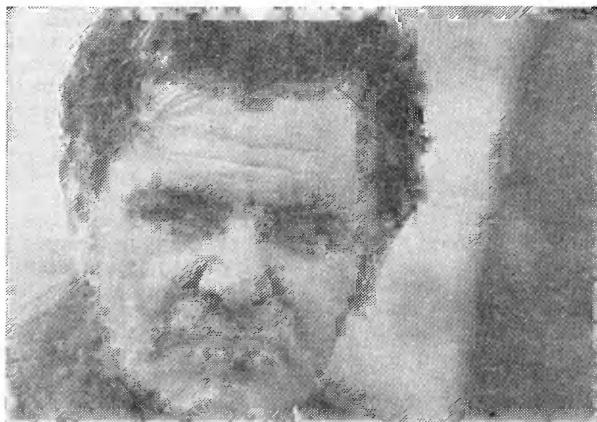
Загляните в колодец. Быть может,
Этот долгий и пристальный взгляд
И в себя вам всмотреться поможет,
Чтобы дальше не жить наугад.

Может быть, уловить вам придется
Связь миров, ее звук золотой
Меж глубоким мерцанием колодца
И высокой вечерней звездой...

г. Куйбышев.



ДЖАМХУХ— СЫН ОЛЕНИЯ



ФАЗИЛЬ
ИСКАНДЕР

НАРОДНАЯ
ЛЕГЕНДА

Теперь мы расскажем легенду о Джамхухе — Сыне Оленя, похожую на правду, или правду о жизни Джамхуха, обросшую легендами. Как хотите, так и считайте. Чегемцы, например, считают, что все это было на самом деле. Если даже сейчас, в наше время, говорят они, иногда случаются чудеса, то в те далекие, незлопамятные времена чудеса происходили чуть ли не каждый день.

И в этом есть доля истины. В самом деле, даже в наше время, когда в мире редко что случается, в Абхазии нет-нет да что-нибудь и случится. Говорят, будущему Джамхуху было, вероятно, месяца два-три, когда он очутился в зарослях леса неподалеку от Чегема. Там его нашла олениха. Как он там очутился, никто не знает.

Вот что чегемцы говорили по этому поводу. Они говорили, что, вероятно, какое-то семейство шло по лесной дороге, где на него напали разбойники. Мать ребенка успела отбросить его в заросли, прежде чем разбойники учинили свой кровавый разбой или просто связали путников и продали их в рабство в другие земли.

В Абхазии за рабов тогда не давали никаких денег, потому что держать рабов считалось у абхазов признаком дурного вкуса. Впрочем, некоторые рабов и тогда ухитрялись держать, потому что во все времена находятся люди с дурным вкусом и дурными наклонностями. Одним словом, так считают чегемцы, а как это было на самом деле — никто не знает.

...Мальчик, к счастью, упавший на мягкую траву в зарослях папоротника, проголодавшись, стал плакать. Долго плакал мальчик, пока голос его не услышала олениха, которая вместе с двумя оленятами паслась в этих местах и, пощипывая траву, приближалась к мальчику.

Раздвинув грудью стебли папоротника, олениха увидела плачущего младенца. Она поняла, что ребенок голоден, что собственную мать он почему-то потерял, и стала подставлять ему свое вымя. Но ребенок был так мал, что, конечно, никак не мог достать до вымени. Тогда олениха осторожно легла возле него и приладила свои добрые сосцы к мордочке младенца.

Тут ребенок догадался, что делать, и, поймав ртом добрый сосец оленихи, стал, сладостно причмокивая, высасывать из него вкусное теплое молоко. Ничего, думала олениха, прислушиваясь к своим двум оленятам, пасшимся рядом на лужайке, вы-

кормим младенца, хватит молока на троих. Только придется, думала она, жить в этих местах, потому что мальчик мал и ходить еще не умеет.

Обо всем этом олениха рассказала мальчику, когда он изучил олений язык. Оказывается, олени разговаривают глазами. Ну, а мальчик впоследствии, когда он стал жить с чегемцами, пересказал им то, что узнал от матери-оленихи.

Так олениха стала выкармливать младенца, который быстро рос и набирался сил на добром оленевом молоке. Теперь мальчик умел ходить, и олениха уже не ложилась, чтобы накормить его молоком, а только становилась на колени, чтобы мальчик достал до вымени. По вечерам, когда оленья семья укладывалась спать, мальчик, уютно устроившись на животе олених, всегда засыпал, держа во рту один из материнских сосков, что ужасно смешило его молочного братца и особенно сестренку.

Вскоре мальчик стал бегать с оленятами и стал понимать олений язык, что требует необыкновенной чуткости души и сообразительности ума. Ведь олени разговаривают между собой глазами, и только глупые люди думают, что животные лишь мыкают да блеют. Нет, животные далеко не только мыкают да блеют! Они все понимают и разговаривают между собой глазами, а иногда подают знаки головой или ушами. Особенно хорошо ушами разговаривают ослы.

Прошло шесть лет. Мать-олениха рожала новых оленят, и мальчик вместе с новыми оленятами пил молоко, и хотя ему давно было пора переходить на траву и листья, он предпочитал молоко или иногда, делая вид, что пасется возле кустов, на самом деле ел ягоды облепихи, черники, малины.

— Забавилась я его,— говорила иногда олениха,— но что делать, ведь он сирота.

По вечерам, когда мать-олениха со своим найденышем и новыми оленятами укладывалась спать, мальчик просил ее рассказать, как она его кормила, становясь на колени, и он, слушая ее, каждый раз заходился от хохота и говорил:

— Мама-олениха, неужели я был такой маленький?

— Конечно,— отвечала мать-олениха, продолжая жевать жвачку, потому что разговаривали они глазами,— ты тогда был совсем маленький. Только не гоготи, ради бога, а то волки нас услышат.

— Надо же,— говорил мальчик,— я тогда был такой маленький, что бедной маме приходилось на колени становиться, чтобы я доставал до вымени. А теперь я такой большой, что сам становлюсь на колени, чтобы удобнее было пить молоко.

— Баловень,— ворчала мать-олениха,— пора переходить на траву.

— А я сегодня много травы съел,— отвечал мальчик,— у меня от нее даже осколина на зубах.

— Вот и неправда!— вставляла тут сестричка-оленичка.— Я видела, сколько ты травы съел. Ты делал вид, что кушаешь траву, а сам землянику рвал.

— Правда, правда,— уверял мальчик,— я травы тоже много съел. Просто ты не заметила.

— Да?! Не заметила?!— горячилась сестричка-оленичка.— Тогда почему ты никогда жвачку не жуешь?

— Сам не пойму,— отвечал будущий Джамхух,— у меня почему-то никогда не получается жвачку из травы, которую съел.

— Из молока нельзя сделать жвачку,— не унималась сестричка.

— Молоко в желудке превращается в сыр,— важно изрекал в этом месте олень-отец,— от теплоты внутренностей. Я сам видел, как пастухи ставили на огонь котел с молоком, а после вытаскивали оттуда

да большой белый ком, который они называют сыром, потому что он сырой. Так что и выпитое молоко можно прожевывать, если его вовремя вернуть в рот, когда оно уже превратилось в сыр, но еще не ушло в тело. И на этом хватит болтать... А ты, дочурка-оленечурка, никогда не выдавай своего брата. Это у нас, оленей, не принято, это принято у плохих людей.

Так или немножко по-другому они разговаривали по вечерам, а потом укладывались спать, и оленята вместе с мальчиком засыпали, прижаввшись к животу матери-оленихи. Об этих днях Джамхух нежно вспоминал и охотно рассказывал о них друзьям.

...Однажды старый охотник Беслан из села Чегем увидел на лесной лужайке удивительную картину. Он увидел, что на ней пасутся олень-самец, олениха, два олененка и голый загорелый мальчик.

Охотник так обомлел, что в первое мгновение не мог дрожащими пальцами вытащить стрелу из колчана, чтобы поразить самца, потому что в те далекие времена настоящие охотники никогда не убивали самок.

А в следующее мгновение самец его почувствовал, что с мальчиком что-то не так, и стрелять уже было невозможно, потому что охотник мог попасть в олениху, в оленят или мальчика.

А еще через миг странное оленье семейство рванулось в лес, и мальчик, почти не отставая, бежал за оленятами. Охотник, пораженный увиденным, как бы очнувшись, бросился вслед и, конечно, никогда бы не догнал мальчика, но тот, споткнувшись о лиану, упал на землю, и, пока выпрямлялся ногу из лианы, подбежавший охотник схватил его.

Мальчик изо всех сил стал вырываться из рук охотника, он даже укусил его, но старый Беслан крепко держал его в своих объятиях. И тогда мальчик, поняв, что навсегда расстается с матерью-оленихой, закричал с невыразимой тоской, и этот крик расставания был первым звуком человеческого голоса. Мать-олениха издали ответила ему трубным рыданием, ведь она любила его, как собственного олененка и даже сильней, потому что дольше, чем любого из своих оленят, кормила его молоком.

Старый Беслан принес мальчика к себе домой, крепко привязал его веревкой к тяжелой кухонной скамье, чтобы он не сбежал, но поближе к очагу, чтобы он не зябнул. Стояла осень, а мальчик был голым, и старому Беслану казалось, что мальчик может замерзнуть.

Со всего Чегема приходили люди полюбоваться ребенком, жившим с оленями. Мальчик ужасно тосковал по своей оленевой семье и ничего не ел целых пять дней. Старый Беслан давал ему хлеб, мед, сыр. Он приносил ему свежей травы, просяной соломы, но мальчик ничего не ел — ни человеческой еды, ни еды травоядных.

А люди приходили, рассаживались на скамьях вокруг него, гадали, откуда он, кто он и что все это предназначено. К вечеру пятого дня старый Беслан принес ему охапку ореховых веток, шелестящую желтеющими листьями, и бросил ее у ног мальчика, надеясь, что, может быть, он соблазнится этим козьим лакомством. И тут мальчик вдруг заговорил человеческим голосом, потому что человек ко всему привыкает, он привыкает даже к людям.

— Ты бы мне еще охапку папоротников принес,— сказал он старому охотнику.— Лучше дай мне молока... козьего, раз у вас нет оленьего...

Тут чегемцы страшно удивились, что мальчик заговорил по-человеческому, хотя до этого не уставали удивляться, что он ничего не говорит человеческим языком.

Старый охотник дал ему большую глиняную круж-

ку молока, мальчик выпил его и стал говорить с людьми.

— Сначала отвяжите меня,— сказал мальчик,— я теперь никуда не убегу. Видно, судьба мне жить с вами, с людьми.

— Чей ты сын? — спросили чегемцы.— Давно ли ты попал в лес?

— Не знаю,— сказал мальчик,— я людей никогда не видел. Меня мать-олениха ребенком нашла в кустах и выкормила.

— Как?! — удивились чегемцы.— Ты никогда не видел человека, а сам разговариваешь с нами, да еще на нашем абхазском языке? Разве такое слыхано?

— Слыхано, раз слышите,— сказал мальчик.— Вы за пять дней мне здесь все уши прожужжали. К концу второго дня я уже все понимал, что вы говорите. Дело в том, что олени говорят глазами. И я понимаю язык глаз. И вы, люди, когда говорите ртом, одновременно говорите глазами. И хотя не все то, что вы говорите ртом, совпадает с тем, что вы говорите глазами, я, сравнивая то и другое, научился понимать значение слов, которые вы говорите.

— Чудо-мальчик! — воскликнули чегемцы.— Божий сын!

— Придется мне наказать своего пастуха-грека,— вдруг сказал один из чегемцев.— Он у меня целый год пастушит и до сих пор не может говорить по-абхазски!

— Глупец,— мальчик поглядел на него своими большими олеными глазами,— он же не знает языка глаз, потому ему трудно быстро заговорить на чужом языке.

— Откуда ты узнал, что он глупец?! — поразились чегемцы, переглядываясь. Они в самом деле считали этого своего земляка самым глупым человеком Чегема.

— Сначала по глазам,— пожал плечами мальчик,— а потом и по его словам.

И тут вдруг старый охотник Беслан расплакался.

— Чегемцы,— сказал он,— вы знаете, как погибли трое моих сыновей. Жена моя умерла от горя, оплакивая их. Наш бог, Великий Весовщик Нашей Славы, послал мне этого мальчика в утешение, чтобы было кому радовать меня на старости лет и было кому закрыть мне глаза в смертный час.

— Не плачь,— сказал мальчик и, подойдя к старому охотнику, прижался к нему, отчего тот еще сильней расплакался.— В прошлом году,— добавил мальчик,— когда волк зарезал моего брата-олененка, мама-олениха долго плакала. Мне ужасно больно, когда кто-нибудь плачет. Я буду утешать твою старость, но дай мне слово никогда не охотиться на оленей!

— Клянусь моими погибшими сыновьями,— воскликнул старый охотник,— я никогда не буду больше охотиться на оленей!

— Хорошо,— сказал мальчик,— я всегда буду жить с тобой.. Дайте мне одно из человеческих имен, раз вы без этого не можете.

— Нарекаю тебя Джамхухом,— произнес старый охотник,— в честь моего младшего сына.

— Джамхух — Сын Олена,— сказали чегемцы,— так будет лучше.

Они еще долго сидели в доме старого охотника, а потом разошлись, разнося весть о мальчике, воспитанном оленихой и овладевшем человеческой речью в пять дней. На самом деле он овладел ею в два дня.

Так Джамхух — Сын Олена зажил в доме старого охотника, и не было сына добрей и мальчика понятливей и сообразительней. Он в один месяц усвоил

все обычаи абхазов, а обычай этих так много, что абхазы и сами иногда путаются в них.

В первое время ему трудно было привыкнуть к одежде и он все норовил бегать голым, но потом и к одежде приучился. ИграТЬ он тоже в первое время любил с козлятами и телятами, а с детьми не играл. Он с ними начинал говорить о разных мудрых вещах, которые дети не понимали. Но потом, поняв, что дети его не понимают, он стал с ними играть, как с телятами и козлятами.

Мальчик только долго еще не мог привыкнуть к виду человека, сидящего верхом на лошади. Сначала он принял верхового человека за какое-то диконинное животное, но потом и к этому постепенно привык.

Однажды, когда чегемцы стали разбегаться перед взбесившейся буйволицей, он спокойно подошел к ней и вынунал у нее из глаза кусочек коры, разъяривший буйволицу.

— Откуда ты узнал,— спрашивали чегемцы,— что она разъярилась из-за этого?

— Язык буйволов очень похож на олений,— сказал мальчик,— примерно так, как язык убыхов похож на абхазский.

Через десять лет о Джамхухе — Сыне Олена уже знала вся Абхазия. Он жил со своим старым отцом, хорошо хозяйствовал, щедро давал людям мудрые советы и довольно точно предсказывал погоду и разные события. К этому времени он уже, кроме абхазского языка, знал язык греков, картвеллов, лазов, черкесов, скифов. Кто к нему ни обращается, он всячко давал совет независимо от его происхождения.

Хотя советы его иногда оказывались не самыми правильными, а предсказания порой не сбывались, люди не слишком унывали. Люди, обдумывая и обсуждая советы и прорицания Джамхуха, всегда уверялись, что ошибки Сына Олена бывали следствием его излишнего благородства.

Например, если он, рассчитывая поступки подлеца, предсказывал его дальнейшие подлости, то они нередко оказывались подлеем, чем думал Джамхух. А если он предсказывал поведение доброго человека, то и доброта этого человека, увы, оказывалась никакой зарубки, которую сделал Джамхух.

Постепенно люди, приходящие за советом или предсказанием Джамхуха, стали подправлять его слова.

— Если Сын Олена,— говорили они,— предсказывает, какую подлость учинит подлец, подбавь от себя немного подлости и попадешь в самую точку.

— Если Сын Олена,— говорили другие,— предсказывает доброе дело добряка, убавь от себя добродетели и попадешь в самую точку.

Однако скоро выяснилось, что от этого прибавления и убавления предсказания Джамхуха стали еще реже сбываться. Дело в том, что люди, прибавляя подлости подлецу и убавляя доброту добряка, очень уж усердствовали, и получалась полная неразбериха.

— Этот Джамхух — Сын Олена совсем нас запутал,— злились самые глупые.— Уж лучше бы он нам ничего не предсказывал.

— Нет,— говорили более благородные,— лучше будем делать так, как он говорит, ничего не прибавляя и не убавляя.

И люди в большинстве своем стали придерживаться советов и предсказаний Сына Олена, чувствуя, что к его советам и предсказаниям не мешало бы немного прибавить огорчения или убавить от них надежды. Однако, боясь запутаться, не решались.

— Ох, и разорит меня этот Джамхух,— бывало, говорил какой-нибудь скупердай, получив от него



хозяйственный совет. Все же он поступал так, как велел Джамхух, боясь, что иначе будет еще хуже.

До двадцати лет, несмотря на всякие мелкие горчения, вызванные хронической глупостью многих людей, Джамхух жил счастливо. Он был хороший собой, силен, ловок, имел легкую оленью походку и был мудр, как сто мудрецов, собранных в одном месте и согласных друг с другом. Но так как сто мудрецов, собранных в одно место, начинают спорить и отрицать друг друга, Джамхух был мудрее, чем сто мудрецов.

Порой, когда Джамхух слишком уставал от человеческой глупости и жестокости, он уходил в лес, разыскивал там маму-олениху и садился рядом с ней, припав к ее груди и обняв ее за шею.

— Мама,— говорил Джамхух,— я так устал от них. Люди мешают любить себя.

Если он не находил маму-олениху, он находил других оленей и спрашивал у них о том, как живет мать-олениха и как она себя чувствует. Другие олени ему рассказывали, что мать-олениха жива-здрава, и Джамхух, утешенный, возвращался в Чегем.

К этому времени чегемцы в благодарность за мудрость Джамхуха отказались от охоты на оленей и олени очень близко подходили к селу. Так что Джамхух, отправляясь в лес, если не встречал маму-олениху, все равно встречал какого-нибудь олена и передавал ему весточку для нее.

Отец Джамхуха, старый Беслан, не мог нагордиться своим сыном, и закатные дни его старости были озарены тихим счастьем. Но всему приходит срок, и пришел срок жизни старому Беслану.

Он стал умирать. Чегемцы вызвали лекаря из Диоскурии, и тот, важно осмотрев старика, сказал, что у него слишком сгустилась кровь и ему надо отворить жилы.

— Глупец,— вздохнул старый Беслан,— зачем мне отворять жилы? Я же умираю не от болезни, а от старости. Разве от старости есть лекарство?

— Ну, знаете! — оскорбился лекарь из Диоскурии, в свое время отворявший жилы константинопольским купцам и гордившийся этим.— Тогда зачем вы меня позвали?

— Для людей,— объяснили чегемцы, дежурившие у постели больного.— Люди скажут, что Джамхух загордился и даже лекаря не вызвал к умирающему отцу. Лучше волоки в Диоскурию причитающихся тебе трех баранов и там отворяй им жилы.

— Ну, знаете! — повторил лекарь, однако, сев на ослика, поволок на веревке в Диоскурию трех зарубленных баранов.

Перед самой смертью старый Беслан велел всем выйти из комнаты и, оставшись один на один с Джамхухом, сказал:

— Сын мой, я тебе должен открыть одну тайну, потому что покидаю этот мир, как и положено вся-

кому отжившему человеку. Я хочу убечь тебя, сын мой, от страшной опасности. В нашем доме есть комната, закрытая на три замка. Я никогда ее не открывал, и ты, зная, что я не хочу тебе о ней говорить, никогда не спрашивал. Теперь пришло время рассказать о тайне закрытой комнаты. Множество лет тому назад, на мою беду, в дом ко мне пришел бродячий художник и стал умирать от лихорадки. И он мне сказал перед смертью: «Я нарисовал портрет самой красивой девушки, которая когда-либо жила на свете. Это заколдованная, вечно юная красавица Гунда, сестра знаменитых семи братьев-великанов. Они живут на самом западном краю Абхазии, недалеко от села Пшада. Я прошу тебя, сохрани этот портрет и никому никогда не показывай его, потому что каждый, кто увидит портрет, влюбится в красавицу и попытается жениться на ней. А свирепые братья-великаны каждому жениху обещают отдать свою сестру только в том случае, если он выполнит все испытания по сноровке ума и тела, которые они придумали. А если жених не справится со всеми испытаниями, они его убивают. Такие у них условия. Черепа неудачливых женихов нахлобучены на колья изгороди вокруг двора великанов. Два неудачливых жениха погибли, пока я рисовал портрет юной красавицы. Я в нее не влюбился, потому что перенес влюбленность на портрет, который рисовал. Этот портрет должен оставаться в веках, чтобы люди видели, как красива может быть девушка и каким божественным мастером был я, художник Нахар. Клянись нашим Богом, Великим Весовщиком Нашей Совести, что ты навсегда сохранишь мой портрет, чтобы он дошел до потомков!» — сказал я ему. И художник умер. Я его предал земле со всеми полагающимися почестями. Потом, перебирая его бедные пожитки, нашел портрет, завернутый в леопардовую шкуру, и, не разворачивая шкуры, отнес его в комнату и запер дверь на три замка. С этого начались мои беды. Оказывается, все три мои сына, поочередно выкрадывая у меня ключи, проникали в запертую комнату, смотрели на портрет, влюблялись в красавицу и тайно уходили из дома попытать счастья. Троє моих сыновей в одну неделю были убиты братьями-великанами. Но я тогда об этом не знал, я думал, что они погибли на охоте. Пытаясь найти их следы, я ходил по всей Абхазии. В конце концов, расспрашивая людей, встречавшихся с ними, я понял, что все онишли в сторону дома братьев-великанов. Жена моя умерла от горя, оплакивая своих детей. Но вот на старости лет Великий Весовщик Нашей Совести склонился надо мной и послал мне тебя. Я молю тебя никогда не входить в комнату, где лежит портрет этой красавицы. После гибели сыновей я его развернул и снова завернул уже в три шкуры. Пусть он там лежит, пока не умрут великаны или пока не найдется джигит, который выполнит все их условия, и пока она наконец не выйдет замуж.

— Значит, отец, ты видел портрет? — спросил Джамхух. Ведь ему было двадцать лет и он уже мечтал о необыкновенной девушке.

— Да, — ответил старый Беслан.

— Ну, и как она? — не удержался Джамхух.

— Не знаю, сынок, — вздохнул старый охотник, — я не заметил ее красоты, потому что на ней была кровь моих сыновей.

Джамхух дал слово отцу никогда не входить в комнату с портретом красавицы, и старик умер. Джамхух помог ему унять последние судороги тела, мучающегося от необходимости расстаться с душой, как помогают роженице. И когда душа ушла из те-

ла, Джамхух прикрыл веками опустевшие глаза отца.

Джамхух похоронил старого Беслана со всеми почестями и стал жить один в своем доме. День и ночь он думал о портрете красавицы, но не смел открыть комнату, где он хранился.

Сердце Джамхуха разрывалось. Его жгло любопытство, но он не мог нарушить слово, данное отцу. Может быть, Джамхух и нарушил бы данное слово, но боялся, что если влюбится и его попытка жениться на красавице Гунде кончится неудачей, он не сможет справить годовщину смерти отца. Джамхух был благочестивый сын и хотел, чтобы мертвый отец получил все, что положено по абхазским обычаям.

Через год, спровив годовщину смерти отца, Джамхух открыл комнату, где лежал портрет. Запах затхлости и гнили от плохо обработанной кожи ударили ему в ноздри.

Портрет, завернутый в леопардовую шкуру, лежал на столе в пустой комнате. Джамхух развернул леопардовую шкуру и увидел, что под ней шкура дикой свиньи. Джамхух развернул шкуру дикой свиньи и увидел, что под ней шкура осла. Джамхух развернул шкуру осла и увидел портрет. Он повернулся к окну и, пронзенный нежной красотой золотоголовой девушки, потеряв сознание, упал.

Придя в себя, он еще долго рассматривал портрет девушки, продолжая сидеть на полу и потирая ушибленную голову. Боль в ушибленной голове смягчала впечатление от головокружительной красоты девушки.

Наконец, насмотревшись на портрет, он встал, бережно завернул его на этот раз только в леопардовую шкуру и положил его на стол. Удивляясь отцу и не понимая, зачем он завернул портрет в три шкуры, Джамхух вынес шкуры осла и дикой свиньи, запер комнату на три замка и бросил обе шкуры в огонь очага. Джамхух уже был влюблен.

«Какая же она в жизни? — думал он, глядя, как коробятся, словно корчатся в огне, шкуры дикой свиньи и осла. — Я умру, — думал Джамхух, — или освобожу ее от братьев-извергов, которые погубили столько невинных людей».

На следующий день рано утром Джамхух пошел в лес, чтобы встретиться с матерью-оленихой и рассказать ей, что он хочет жениться на красавице Гунде, которая живет на краю Абхазии, недалеко от села Пшада, вместе со свирепыми братьями-великанами.

Но маму-олениху в окрестностях Чегема он не нашел, зато встретил других оленей и передал им, чтобы они рассказали матери о его решении. Вернувшись домой, он надел свою лучшую черкеску с серебряным поясом и кинжалом и натянул на ноги мягкие чувяки. Он перекинул через плечо плотно скатанную бурку, увязанную ремнем. Через другое плечо перекинул хурджин, в котором лежали круг сыра, кусок вяленого мяса и дюжины чурчхелин. Попросив соседей, чтобы они присматривали за его скотом, он, никому ничего не говоря, двинулся в путь.

К полудню второго дня своего пути он вышел на тропу, которая проходила мимо пахоты. И тут вот что предстало его глазам. Остановив быков на борозде, пахарь, нагнувшись, ел землю большими ломтями, то и дело приговаривая:

— До чего же вкусная, черт подери, до чего жирная земля!

И хотя земля в самом деле была сочная и жирная, Джамхух, конечно, очень удивился такому необычному зрелищу. Джамхух постоял-постоял, гля-

дя на пахаря, уплетающего землю, а потом не удержался и окликнул его.

— Приятного тебе аппетита, пахарь! — крикнул Джамхух. — Хотя я впервые вижу, чтобы человек ел землю!

— Здравствуй, путник, — отвечал пахарь, сглатывая большой ком земли. — Дело в том, что та, на шее которой я хотел бы быть повешенным, если мне суждено быть повешенным, запаздывает с обедом. Вот я решил подкрепиться...

— О ком это ты говоришь? — не понял его Джамхух.

— Ну, конечно, о женушке своей, — пояснил пахарь, — о ком же еще!

— И много ты можешь земли съесть? — спросил Джамхух.

— Ну, как тебе сказать, путник, — ответил пахарь, утирая рот рукавом. — Я могу съесть примерно столько земли, сколько ее выбрасывают наверх, когда роют колодец глубиной в сто локтей. А если глубже — не могу. Ну, разве что через силу.

Джамхух внимательно оглядел пахаря. Это был плотный, упитанный, но не слишком толстый человек.

— Ничего себе, — сказал Джамхух, — хотя, с другой стороны, человек и так ест землю, потому что питается ее плодами, а потом земля ест человека, потому что питается его трупом. Но чтобы так прямо, я никогда такого не видел.

— Это все пустяки, — возразил пахарь. — Вот если бы ты увидел Джамхуха — Сына Олена, вот кому бы ты подивился. Он самый мудрый человек в Абхазии, а значит, считай, и во всем мире. Ни разу не слыша человеческой речи, он, услышав ее, выучил наш язык за пять дней! Слытано ли такое?!

— Я и есть Джамхух — Сын Олена, — сказал Джамхух, — и я в самом деле выучил абхазский язык, только не за пять дней, а за два, хотя это не имеет значения. Но я, признаюсь, и ломтя земли не смог бы съесть.

— Ты Джамхух — Сын Олена?! — воскликнул пахарь. — Тогда возьми меня с собой! Меня зовут Объедало, авось я тебе где-нибудь пригожусь!

Джамхух рассказал ему о цели своего путешествия и предупредил об опасностях, связанных с ним.

— Ничего, — сказал Объедало, — с тобой я готов идти на все!

— Ну что ж, Объедало, идем, — согласился Джамхух.

Объедало жил неподалеку и крикнул брату, чтобы тот пришел и допахал за него поле.

— У вас в семье все такие? — поинтересовался Джамхух.

— Нет, — сказал Объедало, — я один Объедало. Но я могу насытиться и как обычный человек — от цыпленка до барашка. А если, бывает, проголодашся, как сейчас, могу землицей подкрепиться. Со мной в дороге легко.

— Ну что ж, идем, — сказал Джамхух, и они пошли.

К полудню следующего дня они выбрались к водопаду и увидели странное зрелище. Под водопадом стоял человек. Он ловил ртом белопеннную струю, жадно пил ее, время от времени переводя дыхание, и повторял:

— Господи, до чего я изжаждался! Никак не могу напиться!

Долго следили Джамхух с Объедалом, как пьет воду этот человек, стоя на дне ручья, в который стекал водопад. Сейчас ручей до того обмелел, что было видно, как бьется в мелких заводях серебристая форель в золотых накрапинках.

— Да ты лопнешь, черт тебя подери! — наконец не выдержал Джамхух.

Тут пьющий водопад обернулся к ним и гордо сказал:

— Скорее дядя умрет от сотрясения мозга, чем я, Опивало, упьюсь этим хилым водопадиком... Рыб жалко, а то б еще пил...

— В первый раз вижу, чтобы человек столько воды пил, — проговорил Джамхух. — Я в самую жаркую погоду могу не больше трех кружек выпить.

— Это все ерунда, — сказал Опивало, выходя на берег, — недаром же меня зовут Опивалом. Вот если бы увидели Джамхуха — Сына Олена, вы бы подивились настоящему чуду! Он всем дает бесплатные советы и делает предсказания, которые сбываются даже раньше, чем он предсказал. Впервые шестилетним мальчиком, услышав человеческую речь — я, конечно, имею в виду абхазскую речь, — он выучил наш язык за пять дней! Вот это чудо!

— Я и есть Джамхух — Сын Олена, — сказал Джамхух. — В твоих словах немало правды, хотя есть и преувеличения. Ну, а насчет абхазского языка, то я его выучил не за пять дней, а за два, хотя это не имеет значения.

— Спасибо Великому Весовщику, — воскликнул Опивало, — что он меня надумил пить из этого водопада! Возьми меня с собой, Джамхух, авось я тебе пригожусь в пути.

— Ну что ж, Опивало, идем, — сказал Джамхух, — только знай...

И он ему рассказал о цели своего путешествия и о многих опасностях, связанных с ним.

— Ничего, — успокоил Опивало, — с тобой я готов на все! А если дело дойдет до выпивки, то скорее дядя, долбящий дерево, умрет от сотрясения мозга, чем эти великаны меня перепьют!

— Слушайте, а вы похожи друг на друга, — сказал Джамхух, оглядывая упитанную, но не слишком толстую фигуру Опивала.

Опивало и Объедало были в самом деле похожи друг на друга. Только у Объедала волосы были черные, как жирная земля, а у Опивала были волосы светло-золотистые, как вода на зорьке.

— Да-а, — сказал Опивало, ревниво взглянув на Объедало, — пусть становится под водопад, и тогда посмотрим, на что он способен.

— Да-а, — сказал Объедало, — пусть меня повесят на шее моей жены, если ты способен съесть хотя бы мысок, на котором мы стоим. Съешь, а потом запьешь водопадом.

Опивало очень удивился такому предложению, но тут Джамхух поведал ему о способностях Объедала, и они втроем пошли дальше.

Они пошли дальше по дороге, и Джамхух им рассказывал поучительные истории, чтобы они мудрели на ходу, а также делал попутные замечания, разглядывая окружающую природу.

Однажды Объедало сказал:

— Меня вот что удивляет, Сын Олена. Я как-то заметил орла, который — высоко! высоко! — летал в небе и вдруг камнем опустился на землю. Я думал, он сейчас схватит зайца или дикую индишку, а он сел на дохлого осла и стал его клевать. И я подивился: зачем было так высоко летать, чтобы потом сесть на дохлого осла?

— Чем выше летает птица, тем вернее она питается падалью, — сказал Джамхух. — Чем разумнее живое существо, тем воинчей его деръмо. Понятно я говорю, Объедало?

— Первая часть понятна, — проговорил Объедало, подумав, — а вторая часть не совсем.

— По-моему, ты намекаешь на человека, — сказал Опивало.

— Правильно,— заметил Джамхух.

— Но ведь у свиньи тоже очень нехороший запах помета,— сказал Объедало, ревнуя Опивало за то, что тот понял намек, а он не понял.

— К сожалению, ты прав,— согласился Джамхух,— это только доказывает, что у свиньи много сходства с дурным человеком или у человека много общего со свиньей.

— Но, Джамхух,— воскликнул добрый Объедало,— может, хотя бы в будущем человек отойдет от свиньи!

— Будем надеяться,— улыбнулся Джамхух,— отчасти в этом смысл нашей с вами жизни.

— Или свинья отойдет от человека,— пошутил Опивало.

— Я вижу, друзья,— сказал Джамхух,— наше путешествие идет вам впрок.

Когда они вечером, расстелив бурку, поужинали у костра, Джамхух решил познакомить своих спутников с поэзией. Оказалось, что ни Объедало, ни Опивало никогда не слышали настоящих стихов. Правда, они оба любили народные песни. Особенно много застольных песен знал Опивало.

— Нет,— сказал Джамхух,— я имею в виду совсем другое. Вот я вам прочту стихи древнеабхазского поэта, а вы догадайтесь, о чем они.— И он прочел им такие стихи:

— Скорпион

Влез на белый цветок

И умер от неожиданности.

Опивало посмотрел на Объедало и сделал вид, что он понимает, о чем эти стихи, но не хочет говорить. Объедало тоже посмотрел на Опивало и сделал такой же вид.

— Так что же?— спросил Джамхух.

— Я-то догадываюсь,— сказал Опивало, который был похитрее Объедала.— Но если я скажу, Объедало тут же станет уверять, что и он так думал.

— И не собираюсь,— обиделся Объедало,— подумаешь, умник-водохлеб! Считай, Джамхух, что я не знаю, о чём эта притча.

— Ну, а ты?— спросил Джамхух у Опивала.

— Я думаю,— произнес Опивало,— что скорпион влез на белый цветок, а цветок-то оказался ядовитым! Вот он и умер!

— Нет,— сказал Джамхух,— я вижу, вам пока нужно объяснить смысл поэзии. Вот что хотел сказать поэт. Скорпион сам черный, мысли у него черные, и дела у него черные: И он думал, что все на свете черное. И вдруг он увидел белый цветок и понял, что вся его жизнь неправильная, и он от этого умер.

— А-а-а,— протянул Опивало,— вот оно как! Здорово придумано!

— Но не сразу допрешь,— добавил Объедало, довольный, что Опивало тоже, оказывается, не понимал стихотворения, как и он.

— Ничего,— сказал Джамхух,— постепенно привыкнете.

С этим они улеглись у костра на расстеленной бурке и уснули.

На следующий день Джамхух и его друзья шли по цветущей весенней долине. Дикие груши и алычевые деревья под легким ветерком осыпали нежно-розовые лепестки. Каждое деревце алычи, опущенное цветами и брызгущее свежестью зеленью, напоминало Джамхуху о любимой девушке и о доблести подвига, наградой за который и будет прекрасная Гунда, сестра свирепых и хитрых братьев-великанов.

— Вот я вам все рассказываю да рассказываю,— спохватился Джамхух,— а теперь, друзья, расска-

жите вы что-нибудь из своей жизни. Например, удалось ли кому-нибудь из вас совершить подвиг? Мне, к сожалению, еще не удавалось.

— Да,— сказал Объедало, подумав,— был у меня в жизни подвиг.

— Конечно,— подтвердил Опивало,— если у меня что хорошо получается, так это подвиг.

— Хочу быть повешенным на шее моей любимой жены,— сказал Объедало,— если мой подвиг не лучше твоего.

— Скорее дятел, долбящий дерево, умрет от сотрясения мозга,— воскликнул Опивало,— чем твой подвиг окажется лучше моего!

— Не спорьте, друзья,— сказал Джамхух,— лучше расскажите каждый о своем подвиге. Ты начинай, Опивало!

Вот что рассказал Опивало. Оказывается, в одном абхазском селе было озеро, откуда люди брали питьевую воду. И в этом озере завелся дракон. И он почти каждый вечер хватал одну из женщин, которая приходила туда за водой или постирать. никто не мог убить дракона, потому что он прятался в глубине озера и, неожиданно поднырнув, хватал зазевавшуюся женщину.

Узнав о безобразиях дракона, Опивало сам пришел в это село и предложил свои услуги. Он велел всем мужчинам села с копьями и стрелами в руках стоять вокруг озера. А сам прилег у воды и стал пить, время от времени поглядывая, чтобы дракон не поднырнул к нему. Опивало пил озеро четыре дня и четыре ночи подряд и выпил почти всю воду, так что дракон к утру пятого дня заметался на мелководье. Тут мужчины, окружившие озеро, стали осыпать его стрелами и копьями. Дракону оставалось только одно — сдохнуть, что он и сделал.

Жители села в честь своего освобождения от дракона устроили пир и пригласили на него Опивало. Опивало поблагодарил их и сказал: «Садитесь за стол, друзья. Я подсьду к вам попозже. Раз я пил озеро четыре дня и четыре ночи, я должен, извините, что об этом говорю, но я должен шесть дней и шесть ночей избавляться от воды. А потом я подсьду к вам и догоню вас».

«Ладно,— ответили жители,— мы сядем за столы, а ты иди вон к тому ручью, потому что мы из него все равно воду не берем, он мутный. А потом приходи к нам. Небось, догонишь».

«Думаю, догоню»,— сказал Опивало и, найдя укромное место у ручья, принся, как говорят абхазы, сливать воду. Может, это выражение появилось у абхазов именно с того времени.

К несчастью, ни сам Опивало, ни жители села на радостях не учили, что он слишком много воды выпил. Как-никак целое озеро. К концу шестого дня ручей вздулся и смыв дом, стоявший над ним. Три козы, не успевшие удрать из загона, и сам хозяин дома были унесены потоком.

Хозяина пытались спасти, но это не удалось, потому что он был слишком пьян.

«Тут бы и пожить!— успел он крикнуть напоследок, уносимый разбушевавшейся, так сказать, стихией.

Оказывается, накануне прихода Опивала дракон сожрал жену этого человека. По такому серьезному поводу он стал пить, хотя было неясно — пьет он с горя или от радости. Пил он, не выходя из дома, поэтому о нем подзабыли и не пригласили на пиршество. И теперь, когда человека унес вздувшийся ручей, все гадали, что бы означали его последние слова, то ли: «Тут бы и пожить» — без дракона, то ли: «Тут бы и пожить» — без жены.

— Без дракона,— сказал Джамхух как человек,

еще не постигший затейливое многообразие радости семейной жизни.

— Неплохой подвиг,— согласился Объедало, выслушав Опивало,— но должен сказать: я был в этом селе. То, что ты назвал озером, правильней было бы назвать озерцом. К тому же у тебя погибли человек и три козы. Человек — это человек, а три козы — это неплохая закуска.

— Рассказывай про свой подвиг,— рассердился Опивало.— Может, ты съел полгоры, да людям от этого какая польза?

— А вот какая,— отвечал Объедало и рассказал о своем подвиге.

Оказывается, на их село напали лазы, перебили многих мужчин, а тех, кто не успел сбежать, связали и вместе со скотом перегнали в свое село. Там их, то есть людей, а не скот, поместили в крепостной тюрьме, собираясь их, то есть людей, а не скот, прорвать в рабство.

И тут Объедало совершил подвиг. Он вместе со своими односельчанами начал делать подкоп, чтобы вылезти из крепости. Но лазы тоже не дураки: они каждый день проверяли свою крепостную тюрьму, чтобы посмотреть, нет ли там откопанной земли. Но откопанной земли не было, ведь Объедало ее всю утрамбовывал в животе.

И это был труднейший подвиг, потому что земля из-под тюрьмы самая невкусная в мире. Все же Объедало давился, но ел. До этого он ел жирную землю пахоты, дущистую землю огородов, ел сладостную, слоистую, как халва, землю речных обрывов, но земля под тюрьмой была самая невкусная, самая мертвая в мире.

Однако Объедало старался и, сделав подкоп, сбежал из тюрьмы вместе со своими односельчанами.

— Всякая крепость — всегда тюрьма,— сказал Джамхух, выслушав Объедало.— Эту нехитрую мысль любил повторять один наш древнеабхазский поэт. И в самом деле, если побеждают те, кто осаждал крепость, они делают из нее тюрьму для тех, кто ее защищал. Если побеждают те, кто защищал крепость, они сажают в крепость тех, кто ее осаждал, как бы говоря: «Вы стремились в нее? Вот и посидите в ней».

Так, разговаривая о всякой всячине, они шли по дороге.

На следующий день они оказались на широком горном склоне, радующем глаза доброй мощью весеннего цветения. Кусты боярышника, густо усеянные белыми цветочками, издавали волнующий горько-миндальный запах и напоминали влюбленному Джамхуху стыдливых девушек.

И все округлости травянистых холмов, и все округлости цветущих кустов, и все округлости густолистенных деревьев напоминали Джамхуху о прадзинке встречи с возлюбленной Гундой.

И тут, на этом цветущем склоне горы, Джамхух и его товарищи увидели пастуха, пасшего множество длинноухих зайцев. Пастух был высоким, стройным молодым человеком. На его ноги у самых щиколоток были надеты небольшие жернова. Чуть какая заяц запрыгает в сторону, пастух его мигом нагоняет и поворачивает назад.

— Что за чудо! — удивился Джамхух, поздоровавшись с ним.— Впервые вижу человека, который пасет зайцев да еще так проворно бегает с жерновами на ногах.

— Да ерунда все это! — махнул рукой пастух.— Вот если бы вы увидели Джамхуха — Сына Олена...

— Я, я Джамхух,— сказал Джамхух,— только ни слова о моей мудрости...

— Ну от радости.— Так, значит, это ты делаешь предсказания, которые сбываются даже раньше, чем ты предсказал! Так это ты выучил наш язык всего за пять дней!

— Да, я,— сказал Джамхух,— только люди кое-что преувеличили, а кое-что преуменьшили. Так, например, я абхазский язык выучил в два дня, но дело не в этом...

— Великий Весовщик Нашей Совести! — воскликнул пастух.— Ты утолил мою мечту. Я увидел Сына Олена! Джамхух, возьми меня с собой. Я Скороход. Аvos где-нибудь понадобится тебе моя скорость!

— А как же твои зайцы? — спросил Джамхух.

— Ну,— сказал Скороход.— дальше этого хребта они не убегут. Когда надо будет, я сниму жернова и соберу их.

Тут Джамхух объяснил ему цель своего похода и связанные с ним опасности. Скороход слушал его и, предвкушая радость, прыгал на месте так, что искры сыпались из жерновов, задевающих друг друга.

И они двинулись дальше. На следующий день друзья вышли на альпийские луга, где травы были по пояс, а вершины гор на жарком, полуденном солнце сверкали свежим, аппетитным снегом, а крутые склоны прорезывали величавые водопады.

— Нет большего удовольствия,— сказал Опивало,— как в жару поустойчивей стать под ледниковым водопадом, чтобы струя не сбила тебя с ног, разинуть рот и часа два попить горной воды.

— А по-моему,— сказал Объедало,— нет большего удовольствия, как в жару подняться на снежную вершину и вылизать ее всю, пока под языком не зашершавятся ее каменистые склоны.

— Сын Олена,— начал Скороход,— я обычно пасу своих зайцев в горах и, сколько ни любуюсь альпийскими лугами и снежными вершинами, никак не могу налюбоваться. Горы — самое красивое место на земле, или мне так кажется, потому что я очень чувствительный?

— Думаю, вот в чем дело,— сказал Джамхух.— Горы — это место, самое приближенное к небу. Земле хочется, чтобы первым делом бросалась в глаза ее лучшая часть. Опять же, когда бог посыпает на землю своего ангела, лучше если он приземлится в самом красивом месте, а потом уже постепенно привыкает к некоторым некрасивостям земной жизни.

— Точно,— сказал Объедало,— вот так и люди в деревне всегда встречают гостя хлебом-солью, хотя не всегда они добры и гостеприимны.

Они шли по горной тропе, а вокруг на склонах дымились пастушеские шалаша, паслись табуны кошней, стада овец, коз и коров.

В одном месте тропинка проходила мимо пастушеского шалаша, где пастух, стоя на коленях возле открытого очага, раздувал огонь.

— Обратите внимание,— сказал Джамхух,— на этого пастуха. Какое у него красивое лицо! Всегда, когда человек раздувает огонь, у него красивое лицо.

— Точно! — воскликнул Объедало.— Я это тоже часто замечал. Когда та, на шее которой я хотел бы быть повешенным, если мне суждено быть повешенным, раздувает огонь, она мне кажется очень красивой женщиной. А когда она меня ругает, она мне кажется ужасной уродкой. И тогда я не хочу быть повешенным на ее шее и вообще не хочу быть повешенным...



— До чего же мне надоело слышать о твоей жене,— перебил его Опивало.— Чтоб вас обоих, тебя и твою жену, повесили на одной перекладине.

— Нет,— сказал Объедало,— так я не согласен. Если нам обоим суждено быть повешенными, я хотел бы, чтобы сначала меня повесили на ее шее, а потом ее, голубку, на моей шее. Вот как я хотел бы!

— Да кто у тебя, дубина, будет спрашивать твоего согласия? — горячился Опивало.— Если царь велит вас повесить, то вас и повесят на одной перекладине!

— Так я не согласен,— возразил Объедало,— только на моих условиях я согласен быть повешенным.

— Джамхух, он сведет меня с ума! — воскликнул Опивало.— Да кто у тебя будет спрашивать, болван, если сам царь велит!

— Остаюсь при своем мнении,— сказал Объедало, подумав,— и при той, на шее которой...

— Джамхух,— взмолился Опивало,— я больше не могу!

— Друзья, не ссорьтесь,— сказал Джамхух,— лучше продолжим беседу о раздувающем огонь. У раздувающего огонь всегда красивое лицо, потому что раздувание огня — угодное богу дело. Душа человека тоже огонь, который нам надлежит раздувать.

— На душу Опивала,— вдруг сказал Объедало,— лилось столько воды и вина, что она у него давно погасла.

— Вот это дурень! — хлопнул в ладоши Опивало.— Он думает, что, когда вода и вино проходят через горло, они задеваются душа. Конечно, душа человека находится там, где горло переходит в тепло, но она не имеет выхода к пищеводу, хотя расположена близко. Это видно хотя бы из того, что, если душа от гнева раскалена, стоит напиться холодной воды — и ты успокаиваешься. Но прямо пищевод с душой не связан. Иначе б ты, землеед, давно похоронил свою душу в съеденной земле.

Пока они так говорили, пастух раздул огонь, пододвинул полешки и оглянулся на путников. Он привстал, поздоровался с ними и пригласил их в шалаш.

— Нет, сказал Джамхух,— нам останавливаться некогда. Мы в пути. Но не кажется ли тебе, что пора спуститься в село и принести соли-лизунца своим овцам и коровам?

— Правда,— согласился пастух,— давно пора, да все некогда было. Завтра собираюсь. Подождите немного. Я подымусь к своему стаду и через полчаса буду здесь с овцей. Зарежу ее и угощу вас молодым мясом, которое мы запьем кислым молоком из бурдюка.



— Спасибо,— сказал Джамхух,— но мы спешим по делу.

— Да и за полчаса баранчика сюда не пригонишь,— пошутил Скороход, подмигивая друзьям.

— Да и баранчика мы впятером не одолеем,— подхватил шутку Объедало.

— Да и свежий бурдюк с кислым молоком не стоит открывать,— добавил Опивало.— Мы его до конца не выпьем, а оно тогда забродит.

— Не беда,— сказал простодушный пастух,— забродит, собакам сольем. Доброго вам пути, раз вы спешите.

— До свидания,— попрощались друзья и двинулись дальше.

— Постойте! — вдруг окликнул их пастух.

Друзья оглянулись. Лицо пастуха выражало растерянность и удивление.

— Путник,— обратился он к Джамхуху,— как это ты узнал, что у меня кончились запасы лизунца? Ведь ты и в шалаш ко мне не заходил!

— Очень просто,— сказал Джамхух,— я видел, как две твои коровы и несколько овец лизали белые камни.

— Точно!— ударил пастух ладонью себя в лоб.— Ты мудр, почти как Джамхух — Сын Олена.

— А он и есть...— начал было Объедало, но тут Джамхух незаметно толкнул его, и Объедало замолчал.

— Что «он есть»? — спросил пастух.

— Он и есть то, что он есть,— сказал Опивало.

— А-а-а,— закивал головой пастух и стал насаживать вяленое мясо на вертел.

Объедало тайком облизнулся, и друзья пошли дальше.

Вечером Джамхух со своими спутниками развел костер на живописной лесной лужайке, они поужинали, чем бог послал, и, сидя у костра, разговаривали о всякой всячине.

— Друзья мои,— сказал Джамхух,— не скрою от вас, что я волнуюсь перед встречей с прекрасной Гундой. Я чувствую, что великанов я, пожалуй, одолею, но я ничего не знаю о семейной жизни людей. Я знаю, как мама-олениха жила со своим оленем, но к своему отцу я попал, когда тот уже был вдовцом. Расскажите мне о ваших женах. Какие у них нравы, как с ними надо обращаться. Начнем с тебя, Скороход.

Скороход в это время, сняв жернова со своих ног, смазывал в них отверстия бараньим жиром, чтобы они не слишком терли ноги.

— С меня, Джамхух,— сказал Скороход,— как начнешься, так и кончишь, потому что я ужасно чувствительный и от этого ужасно влюбчивый. А оттого, что я влюбчивый, я никак не могу жениться. Только я хочу жениться на полюбившейся мне девушке, вернее, только она захочет меня женить на себе,

как мне начинает нравиться другая девушка и я даю стрекача от прежней. Однажды даже пришлось снять жернова—до того крепко вцепилась в меня одна из них, чуть не догнала. Так что, Сын Олена, мне и рассказать нечего о семейной жизни.

— Легкий ты человек! — сказал Джамхух.

— Оттого-то и хожу в жерновах,— не совсем впопад ответил ему Скороход, продолжая смазывать бараным жиром отверстия своих жерновов.

— Лучше я расскажу о той...— охотно начал Объедало, но тут его перебил Опивало.

— Сын Олена! — взмолился он.— Если Объедало скажет сейчас о той, на шее которой он хотел бы повешенным, я уйду от вас или огрою его головешкой! Выбирайте одно из двух!

— Ладно,— сказал Сын Олена,— он обещает нам не говорить так.

— А он уже все сказал,— примирительно вставил Объедало.— Ну так вот,— продолжал он после небольшой остановки,— моя жена, то есть та... Ну, которая моя жена, очень хорошая женщина. Мы с ней живем уже десять лет и нажили пятерых детей, по которым я уже скучаю... Не говоря о той, на шее которой...

— Джамхух, он опять! — вскричал Опивало.

— ...висят бусы,— настаивал Объедало, очень довольный, что перехитрил Опивало,— которым, значит, бусам, я сейчас завидую. Мы живем дружно, мирно, она все умеет делать по хозяйству. Иногда, если она завозится в огороде или с детьми... Ну да, копуша она у меня... Так вот, если она завозится и не успеет приготовить ужин, то кричит мне: «Объедало, я тебе не успела ужин приготовить! Возьми в кухне соли и перцу и накопай себе за домом свежей земли». Я иду на выгон, окапываю большой цельный кусок дерна, густо солю его, густо перчу и съедаю. А в это время дети мои кружатся вокруг меня, хохочут и кричат: «Папа-землеед! Папа-землеед!» А в остальном у меня все, как у людей. Одним словом, я очень доволен той...

— Опять начинаешь? — вздрогнул Опивало.

— Я очень доволен той,— твердо продолжал Объедало,— на шее которой...

— Сын Олена! — закричал Опивало.

— ...на шее которой бусы... сердоликовые,— закончил Объедало, обрадованный тем, что сумел подразнить Опивало.

— Спасибо, Объедало,— сказал Джамхух,— мне очень понравилась твоя семейная жизнь. А теперь ты, Опивало, расскажи о своей.

— Хорошо,— согласился Опивало, и кадык у него так и заходил от воспоминаний о семейной жизни.— Я, конечно, человек пьющий, что следует из самого моего имени. То есть я пью, следя за своим именем. Скорее дятел...

— Джамхух, умоляю, останови его! — вскричал Объедало.— Если он сейчас начнет про дятла, который умрет от сотрясения мозга, я так его трахну вот этой головешкой по голове, что он сам умрет от сотрясения мозга! А перед смертью у него столько искр посыпается из глаз, что они затмят звездное небо, не говоря об искрах, которые посыпаются из головешки.

При этих словах Объедала все посмотрели на головешку, потом на голову Опивала, а потом на небо, как бы стараясь представить, может ли из глаз Опивала и из головешки высыпаться столько искр, чтобы они затмили звездное небо. Пожалуй, может, решили все, в том числе и сам Опивало.

— Успокойся, Объедало,— сказал Джамхух,— будем надеяться, что Опивало, как и его знаменитый дятел, обойдется без сотрясения мозга.

— Ну так вот,— снова начал Опивало,— можно было бы сказать, дятел...

— Джамхух, он опять за свое! — закричал Объедало.

— Можно было бы сказать, дятел,— упрямо продолжал Опивало,— от стукотни спятил, если бы на меня, великого Опивало, нашли Перепивало! Но стук-дятел пока еще не спятил! У меня семейная жизнь тоже неплохая. Детей у меня всего трое, тут Объедало меня обскакал. А почему? А потому что я, Опивало, великий тамада и меня все наше село приглашает в гости, чтобы я перепивал чужаков. Что я и делаю. А пиршства, как у нас водится, затягиваются далеко за полночь, и у меня редко остается время на семейную жизнь, за что меня жена, конечно, ругает. Она мне говорит, что я целую ночь пью, а целый день дрыхну.

— Выходит, ты дармоед?! — завопил Объедало.— Кто же смотрит за твоим полем и за твоим скотом?

— Соседи,— неохотно признался Опивало и добавил: — По-моему, лучше быть дармоедом, как я, чем землеедом, как ты.

— Нет,— вскричал Объедало,— дармоедом быть намного хуже! Правда, Джамхух?

— Конечно,— согласился Джамхух,— дармоедом быть очень плохо.

— Да-а? — язвительно сказал Опивало.— А засухи?

— Что засухи? — изумился Объедало.

— Кто в засухи,— спросил Опивало,— выпивает полурюья, а потом ходит по всем полям нашей деревни и спрыскивает их, при этом, учите, ртом?

— Это совсем другое дело,— сказал Джамхух,— это просто народный герой.

— Да,— скромно согласился Опивало,— народ так и говорит обо мне... иногда. А жена ругает за то, что я так много вина пью. Но в остальном мы живем хорошо. Иногда в солнечный день я напиваюсь чистой родниковой воды, прихожу к своим детям и выбрызгиваю эту воду прямо в небо. Разумеется, ртом. Если не с первого раза, так со второго или третьего получается великолепная радуга, и детки кружатся вокруг меня и визжат от восторга. И я говорю своим деткам, показывая на радугу: «Рады дуге?» «Рады радуге! Рады радуге! — кричат мои детки.— Папа, еще раз рыгни и радугни!» И я, конечно, радугаю, пока хватает воды. Вот так и живем мы с женой и детьми.

— Хорошо живете,— порадовался за друзей Джамхух,— я бы мечтал о такой жизни!

— Да ты будешь жить еще лучше,— вскричали друзья Джамхуха,— ты ведь самый мудрый человек Абхазии!

— Право, не знаю,— сказал Джамхух,— я так волнуюсь перед встречей с золотоволосой Гундой. Ведь я грохнулся на пол только от взгляда на ее портрет! Что же будет, когда я ее увижу живой?

Друзья успокоили Джамхуха и легли спать перед догорающим костром. Джамхух долго лежал, глядя на огромное звездное небо и чувствуя в груди сладостную грусть.

На следующий день они отправились дальше и долго шли сквозь буковый лес. Вдруг на небольшой прогалине увидели они человека, который лежал, приложив ухо к земле и внимательно прислушиваясь к чему-то.

— Ты чего? — спросил Опивало.

Но человек только замахал рукой, чтобы ему не мешали. Друзья некоторое время следили за ним, а потом человек встал, отряхнул одежду и проговорил, улыбаясь:

— Огласили наказание.

— Какое наказание? — удивились друзья.

— Потеха, — снова блаженно улыбаясь, сказал человек. — Два муравья поспорили в муравейнике. Один сказал, что эту дохлую однокрылую осу притащил в муравейник он. Другой сказал, что он. Первый говорит: «Как же ты, если у нее оторвалось крыло, когда я ее тащил?» Второй говорит: «Нет, у нее оторвалось крыло, именно когда я ее тащил». Тогда первый говорит: «Хорошо, назови место, где у нее оторвалось крыло». Второй говорит: «Места не помню, но помню, что у нее оторвалось крыло, когда именно я ее тащил». Тогда первый говорит: «Зато я хорошо помню место, где оторвалось у нее крыло». Муравьинный вождь послал гонца на это место, и тот в самом деле притащил осиное крыло. Ученые муравьи приладили крыло к дохлой осе и признали, что это крыло от этой осы. Второй муравей был посрамлен и признал, что присвоил чужую добычу. Муравьинный вождь в наказание за присвоение чужого труда присудил лгунишку к тяжелым работам по расчленению и переноске в муравейник трех трупов майских жуков. Вот какие дела случаются в муравейнике.

— Надо же, — удивился Джамхух, — я в двух шагах не могу различить шепот людей, а ты слышишь спор муравьев под землей.

— На то меня и зовут Слухачом, — сказал Слухач. — Но что я! Вот если бы вы знали...

— Знаем, знаем, — перебил его Джамхух.

— Что знаете? — спросил Слухач.

— Знаем, что ты хочешь сказать о мудрости Джамхуха — Сына Олены, — сказал Объедало.

— Как ты догадался?! — поразился Слухач и вдруг, внимательно взглядываясь в Объедало, воскликнул: — Разрази меня молния, если ты сам и не есть Джамхух — Сын Олены! Кто бы еще мог угадать мои мысли!

Услышав эти слова, Объедало покраснел и опустил голову.

— Как же, Сын Олены, — с большим ехидством заметил Опивало, — прямо от травы его не оторвешь... Носом в землю дышит... Вот Джамхух — Сын Олены, рядом стоит!

— Путники, это правда?! Путники, вы меня не разыгрываете?! — вскричал Слухач.

— Да, я Джамхух — Сын Олены, — сказал Джамхух.

— Ты Джамхух — Сын Олены! — воскликнул Слухач. — Уж не слышался ли я?! Но было бы странно, если бы именно я, Слухач, слышался! Так это ты?! Тот самый?! Наш язык за пять дней?! Предсказания! Даже раньше, чем предсказано!?

— Да нет, — сказал Джамхух, — кое-что преувеличено, а кое-что преуменьшено. Так, например, абхазский язык я выучил не за пять дней, а за два, хотя это не имеет значения.

— Возьми меня с собой! — взмолился Слухач. — Уж я не пропущу ни одного твоего мудрого слова.

Джамхух объяснил ему цель своего путешествия и связанные с ним опасности, а Слухач радостно кивал головой, показывая свою готовность идти за ним и одновременно затыкая уши особыми пробками-глушилками.

— Без глушилок я бы умер от грохота, — объяснил он друзьям свои действия.

Джамхух взял с собой Слухача, и они пошли дальше.

— Джамхух, — сказал Слухач по дороге, — я столько наслушался о твоей мудрости, что уши мои умирают от голода, предвкушая лакомства твоей мудрости.

— Слухи о моей мудрости преувеличены, — сказал

Джамхух, — но кое-что я рассказать могу. Слушайте притчу. Один человек имел в доме буханку хлеба. К нему пришел другой человек и сказал: «Дай мне этот хлеб, у меня дети умирают от голода». И владелец хлеба отдал свой хлеб этому человеку, потому что пожалел его голодных детей, хотя у него самого в этот день дети остались без хлеба. Но на самом деле человек, попросивший хлеб, никаких детей не имел, он обманом взял у него этот хлеб. И другой человек имел буханку хлеба. Но в его дом ночью пришел вор и тихонько забрал этот хлеб. И третий человек имел буханку хлеба, но к нему пришел человек и, убив его, забрал буханку хлеба. И вот теперь я у вас спрашиваю: кто из трех, взявших чужой хлеб, хуже всех?

— Конечно, тот, кто убил, Джамхух! — хором воскликнули друзья. — Нам даже удивительно, что ты у нас это спрашиваешь!

— Нет, — сказал Джамхух, — это ошибка. Хуже всех, сказавший, что у него дети умирают с голода, тот, что обманом захватил чужой хлеб. Он не постыдился нагадить в душу человека и растоптать доверие человека!

— Но, Джамхух, — возразил Слухач, — изгадить душу человека — это все же не то, что убить человека!

— Истинно говорю вам, стократ хуже, чем убить, — ответил Джамхух. — Человек, способный изгадить душу человека, еще более способен убить человека, чем тот убийца. Просто пока ему не надо убивать, пока ему достаточно обмануть! И вор и убийца, хотя и были разбойниками, все же учили свой разбой, потому что в них оставалась капля стыда! Один воровал, а другой убивал, чтобы не иметь дела с душой владельца хлеба. Этот же не постыдился обмануть душу!

— Правильно говорит Джамхух! — воскликнул Объедало. — Вот я чувствую, что правильно, а почему — объяснить не могу!

— Значит, врать хуже, чем убивать? — грустно спросил Скороход, потому что, будучи человеком ужасно чувствительным, иногда кое-что привирал, особенно девушкам.

— Не врать, но обманывать, — сказал Джамхух, — это разные вещи.

— Значит, врать можно? — осторожно, чтобы не вспугнуть надежду, произнес Скороход.

— Нет, — сказал Джамхух, — врать нельзя, но в редких случаях человек имеет право на ложь.

— Только в редких? — спросил Скороход. — А нельзя ли участвовать в редкие случаи?

— Нельзя, — сказал Джамхух, — вот вам притча об оправданной лжи. Один мудрец ехал через лес на своем мule. В лесу его схватил разбойник и привязал к дереву, чтобы, мучая его, выведать, где он держит свои деньги. А к седлу мула были приторочены бурдюк с вином и жареная баранья ляжка — дорожная снедь мудреца. «Куда спешить, — решил разбойник, — сначала выпью и закусу, а потом начну пытать мудреца, чтобы узнать, где он прячет свои деньги». Разбойник выпил бурдюк вина, закусывая его бараньей ляжкой, и опьянел. Опьянев, он забросил в кусты ежевики свою секиру и заснул... Часа через три он проснулся трезвый и стал спрашивать мудреца: куда, мол, я дел свою секиру? Мудрец, привязанный к дереву, отвечал: «Не знаю! — хотя, конечно, видел, куда он забросил свою секиру. Они долго спорили. И тут, на счастье мудреца, добрые люди проезжали поблизости и, услышав их спор, схватили разбойника и связали его. А мудреца развязали. Мудрец рассказал им обо всем случившемся и достал секиру разбойника из зарослей ежевики.

вики. Добрые люди увезли связанного разбойника в Диоскурию, чтобы там его посадить в крепость, а он при этом кричал всю дорогу: «Нет правды на земле! Мудрец меня обманул!» Но мудрец в своей беззащитности имел право на этот обман. Вот в каких случаях ложь оправдана.

— Джамхух просто чудо! — воскликнул Слухач и аккуратно заткнул уши своими глушилками в знак того, что он наелся мудрости своими ушами и не хочет переедать.

Друзья шли, шли, шли и вскоре увидели живописное село, расположенное над живописной рекой Гумиста. У входа в село их встретили взъяренные старцы.

Путники поздоровались со старцами, а старцы поздоровались с путниками.

— Говорят, в нашу сторону идет Джамхух — Сын Олена,— обратился к ним один из старцев,— вы его, слушаем, не встречали по дороге?

— Я есть Джамхух,— сказал Джамхух.— Чем вы взъярены, старцы?

— Великий Весовщик Нашей Совести прислал тебя к нам,— ответил один из старцев,— у нас несчастье. Старейшему старейшине нашего села муха влетела в ухо. А он у нас и без того глухой на одно ухо. Так она, разрази ее молния, ухитрилась влететь в здоровое ухо. Если бы в глухое влетела, мы бы не беспокоились, он бы все равно ее не слышал. Так она, мерзкая, жужжит у него в здоровом ухе целую неделю и мучает его. И умирать не умирает и вылететь не хочет. Замучился наш старейшина, а как ее выманить — не знаем. Вот какое у нас горе, Сын Олена!

— Не беда,— сказал Джамхух, улыбаясь старцам,— такое дело не стоит вашего волнения. Поймайте паучка, привяжите к его лапке конский волос и впустите ее в ухо. Паучок поймает мууху, и вы обоих вытащите оттуда.

— Спасибо, Сынок Олена! — обрадовались старцы.— Мы сейчас же велим сделать, как ты сказал.

Джамхуха и его друзей привели в дом одного из старцев, накрыли стол, и, когда они там пили и закусывали, прибежал человек с благой вестью.

— С первой же попытки паучок достал мууху! — крикнул он ко всеобщей радости.

— Пусть он пробками, как я, затыкает уши,— сказал Слухач,— тогда ни одна мууха не влетит.

— Пробками, конечно, можно,— отвечали старцы,— да ведь он и так глух на одно ухо, куда же он будет годиться с пробками...

— А я с пробками все хорошо слышу,— совершенно неизвестно зачем похвастался Слухач.

И друзья, уложив в хурджины дорожные припасы, двинулись дальше.

В тот вечер они устроили привал над шумной горной речушкой и долго сидели у костра, искры которого время от времени взвивались в небо, словно стараясь стать звездами.

— Джамхух,— сказал Скороход, лежа на спине и глядя в звездное небо,— ты же знаешь, до чего я чувствительный человек. Ученые из Диоскурии говорят, что через тысячи или сотни тысяч лет на земле не будет людей. Они вымрут. И мне ужасно тоскливо бывает от этой мысли. Неужели наступит такое время, думаю я, что солнце все так же будет вставать на небе, весна будет все так же приходить на землю, ливни все так же будут шуметь в листве, а на земле не будет ни одного человека. Объясни ты мне ради Великого Весовщика: правду говорят ученые из Диоскурии или они ошибаются?

— Ты интересный вопрос задал, Скороход,— ответил ему Джамхух, придвигая головешки к середине

костра, отчего новый рой искр, пыхнув, ринулся в небо.— Я об этом, конечно, думал. Но ты не слушай рассказы ученых-словоблудов. Спорить с ними бесполезно: резцы им заменяют зубы мудрости. Эти себялюбцы, зная, что они умрут, успокаивают себя мыслью, что жизнь все равно рано или поздно кончится на земле. Но жизнь человека на земле вечна, и я вам сейчас это докажу. Только прежде ответьте мне на такой вопрос: верите ли вы в бессмертие души?

— Какой же абхаз не верит в бессмертие души?! — воскликнул Объедало.

— Правильно,— сказал Джамхух,— душа наша бессмертна. Теперь подумайте, для чего Великий Весовщик создал нашу бессмертную душу?

— Должно же от человека что-то оставаться,— произнес Опивало, поглядывая на водопад, бледной полосой струящийся с горы.— Человек жил, жил, жил... Случалось, пивал и не только воду — и вдруг он умирает, и от него ничего не остается. Обидно как-то, Сын Олена, честно скажу тебе, ох, как обидно!

— В общем, правильно,— сказал Джамхух,— но Великий Весовщик ничего случайно не сотворяет. Он придумал нашу бессмертную душу для нашей земной жизни. Для чего? Для того, чтобы человек ужался от мысли, что его загрязненная душа будет вечно смерть в вечности, как горящий навоз.

— Да убережет нас от такой судьбы Великий Весовщик! — испугался Объедало.

— Итак,— продолжал Джамхух,— Великий Весовщик Нашей Совести создал нашу бессмертную душу для того, чтобы живые люди все время думали об этом и чтобы их души в наиболее чистом виде попадали в вечность. Но если душа бессмертна для пользы земной жизни, разве не ясно, что и земная жизнь бессмертна? Разве наш бог, Великий Весовщик Нашей Совести, мог бы сотворить такую бесмысленность, при которой людей на земле уже не будет, а их бессмертная душа, созданная именно для поддержания земной жизни, продолжает пребывать в бесмысленном бессмертии?

— О, как мудро придумал все Великий Весовщик! — воскликнул Скороход, вскакивая с бурки и радостно хлопая в ладоши.— И как ясно все объяснил Джамхух! Теперь я спокоен за людей, люди будут вечно жить на земле!

— Счастье — это мед мудрости пить ушами,— сказал Слухач,— и этот мед ежедневно вливается в мои уши из уст Сына Олена.

Сказав эти слова, он заткнул уши глушилками в знак того, что насытился сладостью мудрости и не хочет пресыщаться. Хотя Слухач все прекрасно слышал и с пробками в ушах, речи Джамхуха он всегда слушал с открытыми ушами. «Мудрость,— любил говорить он,— надо слушать в непрощенном виде».

— Друзья, не надо меня хвалить,— сказал Джамхух наставительно,— а то вы меня можете испортить... Я ведь тоже человек.

Тут они улеглись спать у костра, а Джамхух долго лежал с открытыми глазами, думая о своей золотоволосой Гунде. Чувствуя теплую костра, обнимая глазами звездное небо, он всей душой ощущал, что ничего так не согревает человека во вселенском холода, как добрый костер человеческой дружбы.

Поэтому он с нежностью прислушивался к дыханию своих друзей.

По дыханию каждого из них можно было понять, как они живут, когда бодрствуют.

Слухач спал тихо, словно и во сне прислушиваясь к чему-то.



Объедало мощно и ровно храпел, так что вместе с его дыханием покачивалась простиравшаяся над ним ветка каштана.

Опивало издавал горлом такой звук, словно из кувшина в кувшин переливали вино и никак не могли до конца перелить.

На следующий день друзья долго шли каштановым лесом, а к полудню оказались на огромной зеленой лесной поляне, которую прорезал щебечущий на камнях ручей.

Только они дошли до ручья, как увидели, что на встречу им идет человек могучего сложения и несет на плечах дом. Правда, небольшой, но все же дом с верандой, с крыльцом, с курятником, приколоченным к боковой стене, и с дюжиной куриных гнезд, подвешенных вокруг дома, в которых сидели курицы, кудахтаясь извещающие, что им мешают нестись.

На вершине крыши сидел золотистый петух и, громко клокоча, укорял кур за их слишком шумное поведение. К довершению всех этих странностей на веранде дома стояла женщина и, держась руками за перила, пыталась заглянуть под дом, чтобы высмотреть того, кто егонес. Судя по словам, которые она стараласьбросить до него, это была жена человека, несущего дом.

— Осторожней, дубина! — кричала она. — Кур-р распугаешь, балбес! Мягче ступай! Кур-рам трудно нестись!

— Вот это сила! — сказал Джамхух, когда несущий дом, перейдя ручей, поравнялся с ними. — Такого чуда я никогда не видел.

Несущий дом после таких слов Джамхуха остановился, как бы прислушиваясь, не замолкнет ли жена, ругавшая его, и, убедившись, что не замолкнет, обратился к Джамхуху:

— Да, меня в самом деле зовут Силачом. Но разве это чудо! Вот если бы вы встретили Сына Олена, вы бы подивились настоящему чуду!

— Что стал как дерево, дурень! — продолжала ругаться его жена. — Бродяг не видел, что ли! Видишь, колодник с колодками на ногах! Небось, беглые разбойники.

— Я Джамхух — Сын Олена, — сказал Джамхух.

— Ты Джамхух — Сын Олена?! — воскликнул Силач и теперь в самом деле не очень осторожно грохнул дом на свайные подпорки и вышел из-под него, потирая затекшую шею. — Дай же я тебя расцелую, Джамхух! — Силач крепко обнимал Джамхуха. — Ну и молодчага ты! Ну и мудрец!

— Доверчивый дуралей! — кричала в это время его жена. — Пусть покажет царскую грамоту, что он Сын Олена! Джамхух небось только с князьями да

с царскими визирами якшается! Станет он бродить с этими голодранцами да колодниками! Кур-р раскрадут они, кур-р!

— Ошибаешься, женщина,— сказал Джамхух,— я всегда со своим народом, а не с князьями да визирами.

— Вижу, с каким ты народом, вижу! — закричала женщина, показывая рукой на ни в чем не повинного Скорохода. Она по глупости приняла жернова на его ногах за каторжные колодки.

Но тут петух, громко кукарекнув, слетел с крыши, а за ним из курятника и из гнезд повылетели остальные куры, а за ними с радостными криками, топоча босыми ногами, выскочили из дома четверо малышей и окружили Джамхуха и его товарищей. Жена Силача тоже слетела с крыльца и, громко воя, помчалась за своими курами.

— Не кажется ли тебе, Джамхух,— сказал Объедало,— что все это плохое предзнаменование для твоей женитьбы?

— Не кажется,— отвечал Джамхух, с нежностью глядя на маленьких босоногих крепышей, окруживших Скорохода и теребивших его со всех сторон.

— Дяденька! — кричали они.— Ты что, мельница, что ли? Почему у тебя жернова на ногах?

— Нет,— отвечал Скороход,— я Скороход!

— Он Скороход! — восторженно закричали дети— Дяденька Скороход, поскороходь, а мы посмотрим.

— Ладно,— сказал Скороход и, осторожно отцепившись от детей, несколькими прыжками догнал разлетевшихся по поляне кур, согнал их в стаю и пригнал к дому.

— Дяденька Скороход,— завизжали дети,— теперь поскороходь без жерновов!

— Нет,— взорвал Скороход,— без жерновов я делаюсь слишком легким, боюсь улететь!

— Ничего,— шумели дети, стараясь вытащить ноги Скорохода из жерновов,— наш папа тебя поймает!

А в это время Силач, разговаривая с Джамхухом, узнал, куда он идет, и попросился идти с ним.

— А как же жена? — спросил Джамхух.

— Да пропади она пропадом со своими курами,— отвечал Силач.— Надоело таскать ее вместе с домом из села в село. Ни с кем из соседей ужиться не может. Пусть пока поживет среди леса, а я за это время отдохну от ее ругани.

Тут к дому подошла жена Силача, бегавшая за курами.

Узнав, что муж уходит с Джамхухом, она неожиданно легко согласилась с этим.

— Ладно, ступай,— сказала она,— только пусть этот колодник здесь остается. Оказывается, он хорошо кур склоняет.

— Ну, нет,— возмутился Скороход,— если вы меня с ней оставите, я скину жернова и через полчаса окажусь возле своих зайцев.

— Слушай, Объедало,— вдруг сказал Опивало,— съел бы ты ее вместе с ее курами, и дело с концом! Освободил бы Силача от этой ведьмы!

— Что я, людоед, что ли? — обиделся Объедало и, помрачнев, отвернулся от Опивала.

— Вот Объедало шуток не понимает! — громко засмеялся Опивало.

— Такими вещами не шутят,— сказал Объедало, взглянув на Опивало, и снова отвернулся.

— Зато вот такими шутят! — вскликнул Опивало и, припав к ручью, за несколько минут выпил около пяти амфор воды.

После этого он распрямился, приподнял голову и — фырк из себя длинную струю воды, которая, описав дугу на высоте хорошего дерева, превратилась в радугу, медленно тающую и осыпающуюся водяной пылью на землю.

Дети Силача завизжали от восторга, запрыгали на месте и закричали:

— Дяденька, еще раз рыгни и радуги!

— Рады дуге? — улыбаясь, спросил Опивало.

— Рады радуге! — хором отвечали дети, прыгая на месте от нетерпения.

— Кур-р распугаете! — не унималась жена Силача, а в это время Опивало выфонтанил в небо несколько радут.

— Эх, была не была! — крикнул Скороход, снимая с ног жернова.— Прыгаю через радугу! А ты лови меня, Силач!

Он поставил Силача по одну сторону радуги, разогнался с другой и под радостный визг детей прыгнул через радугу.

Несколько раз прыгнув через радугу, Скороход надел свои жернова.

И тут Объедало, наконец забыв про свою обиду, тоже решил позабавить детей.

— Внимание,— сказал он,— сейчас я буду есть пироги с травяной начинкой!

С этими словами он вытащил нож из чехла, вышедшего у него на пояс, вырезал на поляне два больших куска дерна, сложил их внутрь травой и стал есть, на радость детям Силача.

— Пирог с травяной начинкой! — хотели дети, окружая Объедало, который ел свой пирог, делая вид, что шутливо преувеличивает аппетит, а на самом деле с истинным удовольствием.

— Ребенок — чудо! — сказал Джамхух, глядя на сияющих от радости детей Силача.— Чудо ребенка в том, что он уже человек, но еще чистый.

— Сладчайший мед мудрости выпили мои уши! — вскликнул Слухач, услыхав слова Джамхуха.

— Неужели только я один не могу чуда сотворить! — сказал Силач, разводя руками.

— Сила, если она служит добру,— сказал Джамхух,— это самое великое чудо! Ты сейчас совершишь его. Есть у вас в запасе яйца?

— Конечно,— сказал Силач.

— Вынеси,— попросил Джамхух.

Силач поднялся в дом и, не слушая криков жены, вынес из дому корзину с яйцами.

— Сейчас вы увидите чудо! — сказал Джамхух и, обращаясь к Силачу, добавил:— Подбрасывай яйца как можно ближе к солнцу. Только осторожно, си-зу подбрасывай!

Силач начал вынимать из корзины яйца и осторожным, но сильным движением стал забрасывать их высоко в небо, и они, просверкнув на солнце, таяли в бездонной синеве.

Минут пятнадцать яйца не возвращались — так высоко их забросил Силач,— и в наступившей тишине только раздавалось завывание жены Силача и удивленное кудахтанье кур, которые тоже видели, что яйца заброшены в небо, и сейчас, выворачивая шеи, они то и дело поглядывали вверх.

И вдруг — чудо!

Золотой дождь цыплят, взмахивающих слабыми крылышками и трепещущих в воздухе, посыпался на поляну.

И тут не только дети, но и все друзья Джамхуха завизжали от восторга! Да что друзья Джамхуха, даже куры радостно кудахтали и побежали к цыплятам и вскоре, разобравшись между собой, какие из них вылупились из их собственных яиц, раз-

делились и стали учить своих щебечущих детей искать корм в траве.

И только жена Силача была недовольна.

— Неправильное чудо! Неправильное чудо! — кричала она.— Яиц было сто, а цыплят прилетело только девяносто!

Оказывается, пока цыплята приземлялись на поляну, она успела их пересчитать.

— Значит, десять яиц были тухлыми,— сказал Джамхух.— Никакое чудо не заставит вылупиться цыпленка из тухлого яйца.

— Никакое чудо не заставит вылупиться цыпленка из тухлого яйца! — восторженно повторял Слухач слова Джамхуха, одновременно затыкая уши глушилками.— Такого шербета мудрости уши мои никогда не пили!

Слухач все время следил за Джамхухом, чтобы прежде чем он раскроет рот успеть вытащить из ушей пробки, потому что обычные речи ему приходилось приглушать, а мудрость он хотел слышать только в непроцеженном виде.

Друзья собрались в путь. Силач, слегка тряхнув дом, подставил под сваи камни, чтобы дом стоял поустойчивей.

— Папа, чего-нибудь вкусного принеси! — кричали на прощание дети Силача.

Часа через два, когда они углубились в лес, Опивало подмигнул Слухачу.

— А ну, послушай, что, интересно, говорит жена Силача?

— Это мы можем.— Слухач вытащил из ушей глушилки, слегка повел головой, ища нужный источник звука. Найдя, замер.— «Кур распугаете! Цыплят передушите!» — сказал он.— Вот что она кричит.

— Послушай, Слухач,— вдруг застенчиво попросил Объедало,— узнай, о чем сейчас говорит та, наше которой я хотел бы быть повешенным, если мне суждено быть повешенным.

— Начинается! — раздраженно сказал Опивало.

Слухач недоуменно посмотрел на Объедало.

— Ты бы у меня еще спросил,— процедил он,— о чем спорят торговки рыбами на константинопольском базаре! Я знаменитый Слухач, я могу расслышать человеческую речь за двадцать тысяч шагов, но ведь есть всему предел.

Объедало покраснел от своей неловкости.

— Прости, Слухач,— сказал он,— просто я соскучился по той...

— Заткнись! — перебил его Опивало.— Знаем, по ком ты скучаешь! Сами семейные, но блюдем абхазские обычай — о своих чувствах к жене молчим.

— Друзья мои, не спорьте,— сказал Джамхух,— лучше я вам сейчас расскажу притчу о трех карманщиках.

— Это другое дело! — воскликнул Слухач, поспешно вытаскивая пробки из ушей.

— На диоскурийском базаре,— начал Джамхух,— где бывает очень много народа, особенно когда показывает фокусы индусский факир или когда торговец сцепится с покупателем, в толпе так и шныряют карманщики. Всех карманщиков я разделяю на три вида. Для ясности понимания я буду говорить о них как о трех карманщиках, которые залезли в мой карман и чью воровскую руку я поймал в своем кармане. Первый карманщик, пойманный с рукой, сунутой в мой карман, говорит: «Джамхух, клянусь Великим Весовщиком, больше никогда не буду лезть в карманы! Не зови стражника! Ты можешь пожалеть его и не позвать стражника, но он, конечно, нарушит клятву и снова полезет в чужой карман. Второй карманщик, пой-

манный с рукой, сунутой в твой карман, бледнеет от гнева и говорит: «Сегодня ты меня опозорил, Джамхух, но завтра я тебя опозорю!» И если у него будет возможность, он тебя опозорит и отомстит. Такие бывают гордые карманщики. Но есть еще один вид карманщика, самый зловредный. Когда ты ловишь его за руку, сунутую в твой карман, он кричит: «Как тебе не стыдно, Джамхух! Неужели ты не понимаешь, что я случайно залез в твой карман!» «Как же можно случайно полезть в чужой карман?» — спрашиваешь ты его. «Очень просто, Джамхух,— убеждает он тебя,— мы стояли, стиснутые толпой, я хотел полезть к себе в карман и случайно попал в твой». Тогда я, продолжая скимать его руку, сунутую в мой карман, говорю ему: «Хорошо, ты случайно полез в мой карман. Но почему ты взял оттуда три серебряные монеты, которые ты сейчас стискиваешь в своем кулаке? Значит, у тебя в кармане тоже были три серебряные монеты и ты их можешь показать?» Тут он на миг задумывается и говорит: «Нет у меня в кармане трех серебряных монет. Но именно поэтому, приняв твой карман за свой, я очень удивился, что там лежат монеты, и думаю: дай-ка я посмотрю, что это за монеты оказались в моем кармане! — И тут он вдруг начинает кричать на весь базар: — Люди города, послушайте, что говорит Джамхух! Он говорит, что я, как вор, полез к нему в карман! Люди города, подойдите и послушайте, что говорит Джамхух!» И тут ты уже не выдерживаешь и думаешь: наверное, он в самом деле случайно полез к тебе в карман. Не может быть, чтобы он злонамеренно полез к тебе в карман и сам же звал свидетелей. И тебе становится стыдно, и ты стараешься скорее от него избавиться, и уходишь, а он еще кричит тебе вслед: «Что, бежи, Джамхух? Стыдно стало доброго человека чернить! То-то же!» Вот так еще бывает на свете в нашем благословенном краю. Все карманщики плохи, но этого, последнего, истинно говорю вам, бойтесь больше всех остальных! Он вас и ограбит и опозорит на весь мир!

— До чего противный,— сказал Силач,— я бы его прихлопнул, как комара!

(Окончание следует).



ЮРИЙ КАМИНСКИЙ

☆☆☆

19 августа Гарсиа Лорка
был выведен
из одиночной камеры...

Есть описание расстрела:
Виснэр.
Дорога.
Грузовик.
Еще едва-едва серело.
Сквозь тьму пробился
горлиц крик.
У ямы смуглый фалангист
Потеет,
отгребая камни.
И Лорка
Теплыми руками
Татарника сжимает лист...
Рассветный луч,
вдоль туч скользя,
Вдруг по глазам ударил остро.
...Похоронить поэта просто.

Да вот убить его
нельзя.

Двое

Вот она некрасива,
а уж он-то
совсем никудышный,
аглядят друг на друга
и друг другом
никак не надышатся.
Не слышны их слова,
но просты и естественны жесты,
некрасивые взръз,
как прекрасны они,
когда вместе.
И казалось, что парк,
неухоженность лип и сирени
оживили, озвучили
ломкие звуки свирели.
Даже воздух
и тот был дыханьем влюбленных пронизан.
Все казалось иным,
все красивее было, чем в жизни.
На стареющий парк

знаки осени бегло ложатся,
отзвук снега
как будто в редеющих ветках

ВОЗНИК.

Они встали,
они начинают прощаться,
и мне страшно при мысли:
а как же мы будем без них!

☆☆☆

Степная

далняя провинция.
Весь на ладони городок.
Он пахнет медом и корицей,
Как будто праздничный пирог.

Вдоль узких уочек фруктовых
И покосившихся оград
Не замолкает шум торговок —
Вино, арбузы, виноград.

И эта щедрость разноцветья
И просторечья мотыльки
Уймут любую боль на свете,
Сотрут следы любой тоски.

А это детское участие
Чужих людей в судьбе иной
Здесь убедит легко, что счастье
Не обойдет нас стороной.

☆☆☆

Время годы просеет
Под ветрами широт.
И печаль и веселье
В дне одном соберет.

Не заметим, как вскоре
Время, рядом несясь,
Наши радость и горе
Уместит в этот час.

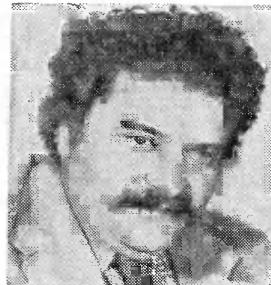
Ночью долгой и снежной
Возле лампы и книг
Жизнь,
Что мнилась безбрежной,
Вдруг сожмет
В этот миг.

У Северного моря

Услышал — оробел
И замер возле, ели:
Не я ли это пел?
Не для меня ли пели?

Остужен здесь песок
Серебряною пеной.
И ломкий голосок
Чуть слышен из вселенной.

г. Кировоград.



ДАВИД АСТРАХАН

Ночные мотыльки

Вот уж много, много лет
По ночам из тьмы кромешной
Мотыльки летят на свет
С легкомысленностью спешной.
И, увидев за окном
Свет от лампочки дотошный,
Шутят весело с огнем,
Позабыв про осторожность.

Через форточный проем,
На траву пыльцу роняя,
Мотыльки влетают в дом,
Прежний облик сохраняя
Потому, что столько лет —
Вот какая незадача —
Заключенный в стены свет —
Только видимость удачи.

А они летят, летят,
Обжигая в лете крылья.
А они открыть хотят
То, что раньше не открыли.
И, коснувшись потолка,
Грезят втайне облаками.
Как непросто мотылькам
Жить на свете мотыльками!

☆☆☆

Друзей моих письма
По строчке, по слову
Приносят надежду,
Что встретимся снова.

Хоть за пустырем,
В переулке знакомом,
Давно уже нет
Двухэтажного дома.

Но есть наша молодость,
Есть наше детство
И Пушкинский сквер,
Что всегда по соседству.

Так просто, пожалуй,
И не разобраться,
Откуда возникло
Великое братство

Мальчишес с Тверской,
С Трубной площади, с Бронной...
Дай бог, не придет
Ни одной похоронной.

И мы соберемся,
Как некогда, вместе,
Немного другие.
Но все-таки, если

Кого-то не будет
(Случится такое),
Никто не займет
Его место пустое.

Подросшие липы
Качнутся печально,
И площадь затихнет
В минуте молчания.

В тот край не берут
Ни обид, ни напутствий.
Друзья не уходят,
А в нас остаются.

☆☆☆

В век НТР, теперь уже не новый,
В век электроники и звездных скоростей
Простая задушевность просит слова
Еще категоричней и острей.

Но поутру, себя втолкнув в трамваи,
В автобусы, в попутные авто,
О ней мы, к сожалению, забываем,
Не забывая шляпу и пальто.

И, в сутолоке примостившись ловко
И с тщательностью оплатив проезд,
Надеемся мы все-таки на локти
При деже обетованных мест.

Нам некогда. Рассчитан на минуты
Оторванный листок календаря.
И тщетно серебристый столбик ртути
Пытается подвинуться с нуля.

Но все равно, предъявленная снова,
До точки замерзания дойдя,
Простая задушевность просит слова,
Проталинки под снегом находя.

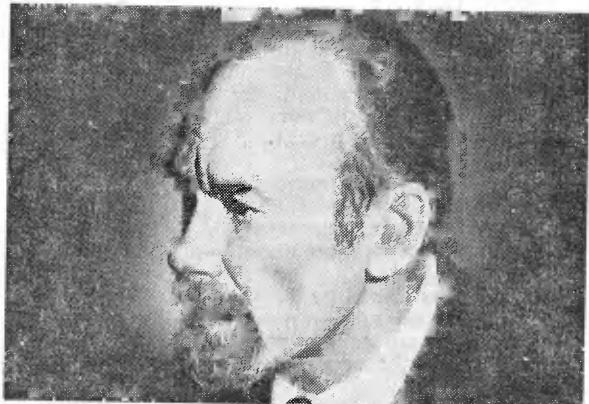
☆☆☆

Пути-дороги сходятся,
Похожие и разные,
Как часто нам приходится
Чужие свадьбы праздновать!

И кажется, что надолго
Увозят поезда
Любовь, которой надо бы
Остаться навсегда.

За ожиданьем кроется
Мелодия печальная.
Когда-нибудь да тронется
Лед долгого молчания,

Когда-нибудь да сложится
Из половинок дом,
И будет, как положено,
Наличник над окном.

СЕРГЕЙ
БАРУЗДИН

БЕСКРЫЛЫЙ СЕРАФИМ

РАССКАЗ

Рисунок
А. Сальникова

П

ризнаюсь, люблю цирк и стараюсь не пропустить ни одной программы ни в Москве, ни в любом другом городе, куда часто заносит меня судьба.

На этот раз я попал в цирк в Калуге. Представление было там себе, среднее, без особых открытий и находок, хотя на уровне, но все равно я смотрел с удовольствием: ведь в цирке в отличие от многих других искусств практически исключена халтура — каждый, даже самый простой номер требует огромного неподдельного труда.

Но вот кто потряс меня, так это клоун. Он не был похож ни на Карапандаша, ни на Олега Попова, ни на Юрия Никулина — моих давних и постоянных любимцев, он мне казался и чем-то универсальнее и в чем-то совершеннее.

Не молодой, явно за пятьдесят, он выходил на манеж совсем без грима. Единственными, так сказать, атрибутами его циркового снаряжения были только парик и борода под доктора Айболита. Но он был неуловимо ловок, удивительно гибко, по-хорошему остроумен, ни одного дешевого, затасканного жеста. Он не допускал ни одной лобовой шутки, и все, что делал — острил, ходил по канату, играл на разных инструментах, имитировал гордого зазнайку-петуха, собирающегося вокруг себя простодушное куриное семейство, пародировал Утесова и Шульженко, Кристалинскую и Лещенко, — было без преувеличения блестательно. Звали его Коко.

Вернувшись к себе в гостиницу, я все никак не мог расстаться с Коко и чем больше о нем думал, тем чаще ловил себя на мысли, что я когда-то встречал этого человека, даже знал его. Я узнавал его чуть сутуловатую, худощавую фигуру, мне казались знакомыми черты лица его, заключенные в нелепый парик и бородку доктора Айболита, я уже слышал этот голос — глуховатый, спокойный, с еле заметной, приятной картишкой.

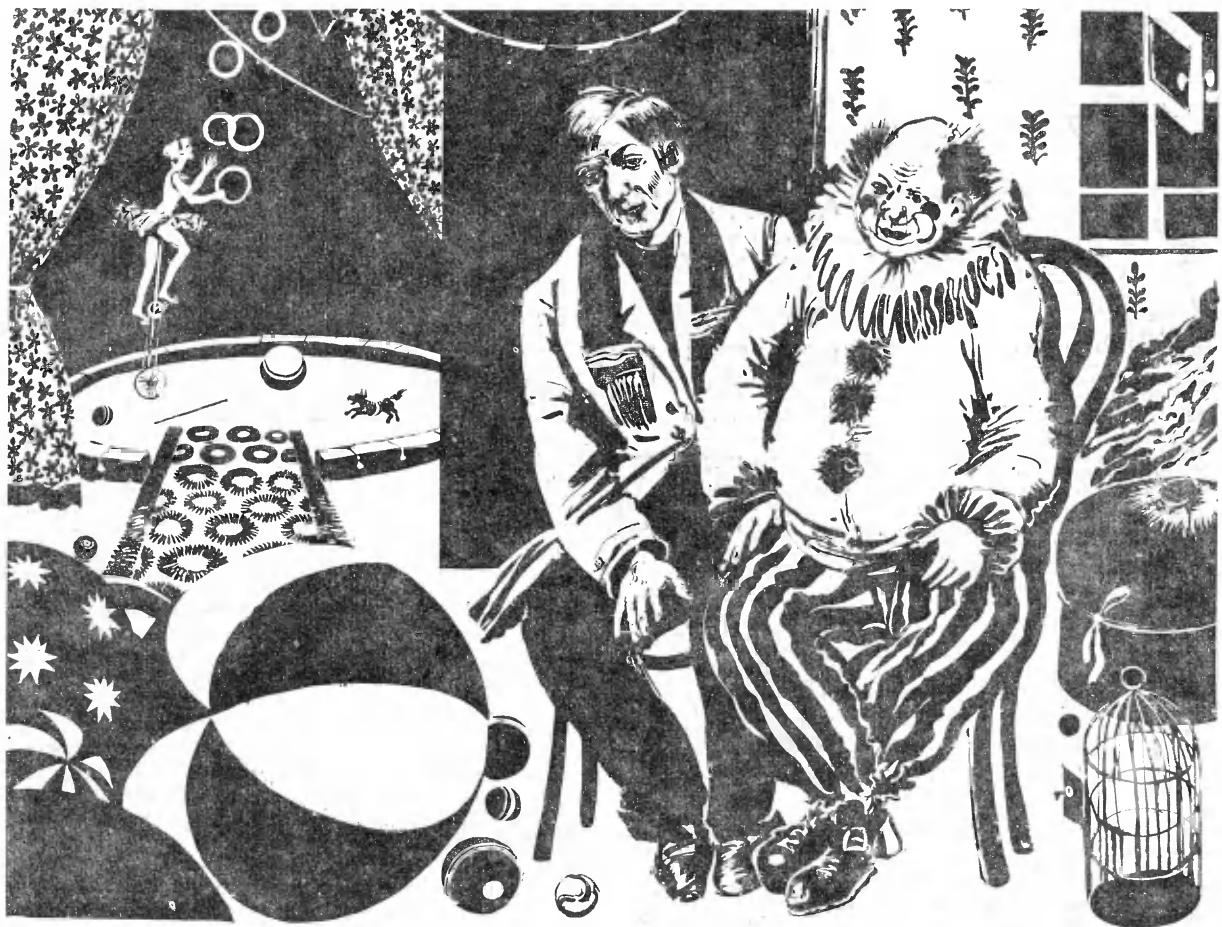
Но где, когда встречал я этого Коко?

Я долго и мучительно перебирал в памяти все послевоенные годы, но ни за что не мог зацепиться. Стал вспоминать время войны, но с цирком тогда ничего не было связано, и уже под самое утро я, совершенно измочаленный, тяжело уснул. Спал я час-полтора, не больше.

Проснулся, конечно, с мыслью о Коко и решил: вечером пойду в цирк снова.

И пошел. Все повторялось — парад-аппе, эквилибристы на проволоке, дрессированные собачки, прыгуны на батуте, космический полет, гимнастический этюд, дагестанские канатоходцы и опять Коко. Он делал все то же, что и вчера, но его выходы не были простым повторением вчерашнего, у них было и другое настроение, и другое дыхание, и другие, более разнообразные краски, и другие повороты, они пополнились новыми изящными шутками и репризами. Все знакомые трюки он выполнял свежо и легко.

А я смотрел теперь на него и был уже не в цирке, а возвращался памятью в войну, конечно, в нее, в нашу седьмую роту третьего батальона сто четвертого стрелкового полка. Правда, сто четвертым это мы уже потом стали, когда вырвались из немецкого котла под Смоленском. В этом, вновь сформированном, а точнее, наспех собранном из остатков разных



частей полку я и познакомился с Серафимом Еськовым, Бескрылым Серафимом, как мы прозвали его. Звали мы его еще Нелюдимом и Молчуном.

— Ну, разговорился, как Бескрайний Серафим!

— Ну, развел, как Еськов, тары-бары!

И верно, Еськов был не только немногословен, а вообще почти все время молчал. Вроде бы достоинство свое сохранял. Службу нес сверхисправно. Из карабина стрелял не хуже, чем из снайперской винтовки. Ног в походе никогда не натирал, по крайней мере если это и случалось, что маловероятно, то жалоб никто не слышал. И за всю войну — а были мы и под Ельней, и под Москвой, и на Дону, и под Сталинградом, и под Берлином, и под Прагой, где война у нас кончилась не девятого мая, как у всех, а четырнадцатого, поскольку мы добивали в Судетах армию Шернера, — не был ни разу ранен. Не только солдаты, а и командиры взирали на Еськова, как на чудо, и, может быть, за это еще больше уважали его.

Коко поразительно напоминал мне Еськова. А вдруг это и есть он?

Бог ты мой, неужели такое может случиться?

После представления я, совершенно потрясенный и обескураженный, вернулся в гостиницу. И снова не мог до утра заснуть. А утром направился в цирк и спросил, где можно найти Коко.

— Он на репетиции, на манеже, пройдите, — сказали мне.

Я пробрался на манеж, и теперь у меня не оста-

валось никаких сомнений — это он, наш Еськов. Коко работал здесь без парика и бородки, он, конечно, постарел и изрядно полысел, но все равно передо мной был Серафим Еськов.

— Еськов, Серафим, — тихо, каким-то не своим, как из глубины колодца, голосом позвал я его.

Мы обнялись и долго, прижавшись друг к другу, стояли. Еськов лишь несколько раз повторил:

— А цирк — это такая удивительная штука! Выходжу каждый раз на арену и заново рождаюсь...

Вечером после представления Еськов пришел ко мне в гостиницу: Мы сидели до полуночи, пили отвратительно теплый коньяк и все больше молчали. Я, к моей радости, узнавал прежнего Еськова. Даже когда вспоминали войну, Серафим говорил в основном жестами.

И лишь только речь заходила о цирке, он на моих глазах перерождался. Он со знанием дела, запальчиво и увлеченно рассказывал о тех или иных номерах, как водится, знал все о всех артистах, бравил администраций, искренне, с радостью хвалил своих талантливых коллег... И еще сказал:

— Про тебя не спрашиваю. Ты на виду. Книжки твои читаю, у меня их немало собралось...

Я сидел рядом с Серафимом Еськовым, старым фронтовым товарищем, и думал о нелепых каверзах судьбы: вот тебе и Бескрайний Серафим. И еще думал о том, что судьба к нему оказалась пророчески милостивой — она сохранила его для искусства.



АРКАДИЙ АДАМОВ

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ

Вто время когда Лосев беседовал с Витькой Коротковым, капитан Филипенко успел допросить обоих участников драки — Володьку-Дачника и Гошку по кличке Горшок. Многое времени у Филипенко эти допросы не потребовали. Происшествие было самым заурядным: как пишут в протоколах, «взаимная драка». Оба были известными пьяницами, дрались, можно сказать, как дышали, то есть всегда и по любому поводу. Поэтому арестовать их сейчас, допустим, на пятнадцать суток бесполезно: все равно эти пятнадцать суток они должны подметать дворы, расчищать стройплощадки. Так пусть лучше убирают свой собственный парк, ибо воспитательная сторона наказания в данном случае роли не играет — тут ни о каком испуге перед подобным наказанием, о стыде или раскаянии и речи быть не может. А между тем характер преступления ничего другого не предусматривает, кроме этих суток, да и «светлые» личности самих преступников не омрачены ведь до сих пор ни одной судимостью.

Словом, Филипенко, громовым голосом отчитав каждого, при этом, впрочем, не сумев их испугать или пристыдить, выгнал обоих на волю, предварительно выяснив, правда, официальные сведения о каждом, что, пожалуй, единственно несколько озадачило обоих пропойц, потому что местная милиция давно уже махнула на них рукой.

Между тем, надо сказать, эти парни очевидно и довольно существенно отличались друг от друга.

Володька-Дачник был человек совершенно пропащий. Куда бы его ни принимали на работу, он честно предупреждал: «Я, граждане, человек пьющий, потому через три месяца вы меня выгонять будете. А теперь глядите, как знаете. Только лечить меня не надо, лечить я возражаю». И в самом деле, больше трех месяцев он нигде не задерживался. Был он, между прочим, человеком чрезвычайно честным. В жизни ничего чужого не брал, его можно было поставить хоть золото охранять. Не угядит, это да. Ну, а взять — ничего не возьмет. Теперь он уже и выпить много не мог, стакан водки валил его замертво, а от ста граммов Володька лез драться с кем попало. Двести же граммов водки в день, как известно, любая зарплата обеспечит, даже с некоторой закуской; никаких других потребностей у Володьки решительно не было. Кличка Дачник прицепилась к нему тоже не случайно. Зимой Володька кочевал по запертym дачам в одном из подмосковных поселков. Его туда зазывали сами владельцы дач: одним своим присутствием Володька как бы уже дачу охранял, ибо не только иголки не брал, но, прежде чем принять свои двести граммов, пунктуально выключал в доме все, что там выключалось и гасилось, кормил собаку — всякий сезон новую, которая, однако, преданно кочевала с ним по всем дачам поселка, — и после этого со спокойной совестью проваливался в небытие где-нибудь у входа, в передней, возле той самой накормленной им собаки, которая благодарно стерегла его всю ночь, а заодно и охраняла дачу.

ПОВЕСТЬ

Х
Х

С Володькой каждый год возобновлялись контракты на следующий сезон, так как в этом дачном поселке действительно на протяжении всей зимы не происходило никаких неприятностей и все это мистически приписывалось почти незримому присутствию Володьки-Дачника. А с наступлением весны Володька начинал свою «трудовую» деятельность в городе, то в одном парке, то в другом, устойчиво занимал там самую низшую административную ступеньку, честно предупреждая начальство о своем пороке и нигде больше трех месяцев не задерживаясь.

Что же касается Гошки по кличке Горшок — глубоко, кстати, его оскорблявшей — то он был прямой противоположностью Володьке. Он тщательно следил за своей внешностью. Это, при его запросах и осведомленности в модах, требовало немало средств, которые он, однако, неведомым образом добывал. Гошка был смелый и деятельен, а кроме того, хвастлив и коварен. Но поначалу этот стройный, гибкий парень с простодушным лицом и голубыми глазами, с белозубой улыбкой и копной выующихся русых волос неизменно вызывал у всех симпатию. Это он умел, когда находил для себя выгодным. В остальное время выражение лица у него было сонно-брзгливое или, в особых случаях, настороженно-жадное и злобное, при этом милые его черты вдруг неуловимо сдвигались, образуя совершенно другое, отталкивающее лицо.

Если Володька-Дачник дрался всегда по той единственной причине, что выпил не свои двести, а всего лишь сто граммов, то у Гошки были причины куда более разнообразные. То его обходили в дележке или оплате услуг, то мешали заработать, перехватывали выгодное дельце или поручение, а то уводили какую-нибудь девчонку, которая ему приглянулась. Кроме того, Гошка любил рассказывать о своих бесчисленных похождениях с самыми бесстыдными подробностями, ну а девушки в большинстве своем были такие, о которых у многих из присутствовавших имелось свое собственное мнение. Словом, поводов для драки у Гошки было сколько угодно.

Был повод и для последней драки с Володькой-Дачником: тот рассказал в теплой компании в присутствии самого Гошки кое-что лишнее о нем, преодолев первый свой стограммовый рубеж. И тут уж драка была неизбежна. Обо всем этом капитану Филипенко узнать, естественно, не удалось, да он и неставил перед собой столь тонкую задачу.

Выгнав обоих участников драки, Филипенко зашел к дежурному, потом его перехватил один из сотрудников, потом кто-то еще, и до своего кабинета он добрался, когда Лосев уже закончил допрашивать Витьку и сам собирался отправиться на поиски «замнача», как коротко обозначалась всюду должность Филипенко.

— Ну, как дела? — бодро осведомился замнач, заходя в свой кабинет и усаживаясь возле стола на место посетителя. — Дожал ты его?

— Не вошел пока в доверие, так точнее. — Лосев откинулся на спинку кресла и выпянул под столом свои длинющие ноги. — Но сдается мне, сказать он чего-то не хочет. Вернее, я знаю, чего он не хочет сказать: почему следили за Шухминым. А это очень интересно, докопаться до этого надо. И докопаюсь... Ну, ладно. Что там у тебя?

— Да ничего. Выгнал обоих.

— Кто такие?

— Местные. Один Володька, кличка Дачник. Другой Гошка, кличка Горшок.

— Горшок? — встрепенулся Лосев.

— Да. А что?

— Это вроде тот самый, который вместе с Витькой за Шухминым шел. Ты давно его выгнал?

— Полчаса назад.

— Эх! Где же он сейчас может быть?

— Да где хочешь. Он в проходной не отмечается.

— А где живет?

— Это известно. Я записал. В Сокольниках.

— И нигде не работает?

— Числится за аттракционами, которые у нас тут на набережной. В качестве рабочего по посадке в эти люльки, видел?

— А сейчас его где искать, там?

— Что ты! Сейчас он уже небось освобождение отмечает. — Филипенко усмехнулся. — Его сейчас с собакой не найдешь.

— Ну, хоть как он выглядит, на всякий случай опиши.

Филипенко как мог описал щеголеватую Гошкину внешность, отметив при этом недобрый, вороватый взгляд его прищуренных небесно-голубых глаз.

— Вот что, Василий, — задумчиво произнес Лосев, глядя в окно. — Пришла мне тут в голову одна идея. Сегодня вечером я...

И Лосев коротко изложил свой план.

Филипенко, выслушав, покачал головой.

— В войну это называлось «вызывать огонь на себя» — так, что ли?

— Именно. И тем демаскировать противника. Вот такая идея.

— Опасно все же. Ведь ты небось захочешь один идти?

— Иначе нельзя.

— А группа прикрытия?

— Исключается, сам понимаешь.

— Так-то оно так, а все же?

— Ни в коем случае. Лучше тогда заранее отаться.

— М-да... Начальству доложить?

Лосев усмехнулся:

— Зачем начальство по мелочам беспокоить?

— А, может, оно еще какой путь подскажет.

— Нет другого. Этот — единственно оптимальный. И вообще, Вася, не накручивай.

— Да я не накручиваю, — вздохнул Филипенко. — Мне легче самому пойти.

— Ты жди меня здесь. Может, кого и приволоку. Договорились?

— Ладно, договорились.

— Тогда я двинул. Вечером жди. Ах, да! — уже поднявшись с кресла, спохватился Лосев. — Дай-ка я предварительно Шухмину позвоню.

Он взялся за телефон. Но Шухмина на месте, конечно, не оказалось.

— Ладно, — сказал Виталий, вешая трубку. — В течение дня отыщу. Надо с ним все уточнить, прежде чем самому соваться.

Лосев решил ехать на работу, оттуда розыск Шухмина вести легче. Но уже по дороге, на перроне станции метро, он передумал. Ему вдруг пришла в голову новая мысль. Ведь дела с Витькой Коротковым далеко еще не закончены. И не потому только, что не все удалось у него узнать, не во всем он признался, но и сам Витька заинтересовал Лосева, его жизнь, его судьба.

Вот ведь эта чертова работа, когда мало раскрыть преступление, мало даже его предупредить, не допустить, а надо еще думать о тех, кто на это преступление готов был пойти или уже пошел. Ведь на тяжком переломе, на аресте, на суде, не кончается жизнь у этих парней, далеко не кончается.

Так и с этим Витькой. Ну, осудят его. Но через два, три года, пусть даже через пять лет, он, как и другие ему подобные, все равно снова вернется домой. Домой! Каким он вернется? И когда закладывать в нем что-то новое, хорошее, когда начинать? После суда? В колонии? Нет, нет. Виталий уже успел в этом убедиться. Самые мучительные, самые ужасные часы такой «новичок», как Витька, переживает сразу после ареста. Арест для него страшный удар. Человек силой вырывается из привычной жизни. Причиняя неслыханную боль, рвутся его связи с той жизнью, рушится все вокруг него, и среди этих обломков, в пыли, в дыму, мечется, задыхаясь, он один, совсем один за глухой, высокой стеной, и в почти обезумевшем его мозгу возникают в этот момент самые отчаянные, самые безрассудные мысли. Только потом — Виталий знал — начнется медленная адаптация, приспособление к небывалым, тяжким условиям. Сначала появится тупое равнодушие, полное безразличие к своей судьбе, оно сменится новой активностью. Какой именно? Это во многом зависит от того, как человек пережил первые часы и дни после ареста, что запало в этот момент в его возбужденный, охваченный паникой мозг. А запасти может всякое. Это зависит и от Виталия. Но чтобы для человека что-то сделать, надо прежде всего узнать и его и о нем.

Вот о чем думал Лосев на шумном, суетном перроне метро, когда подошел поезд и раздвинулись дверцы голубых вагонов. А что если заехать домой к Витьке прямо сейчас? Лосев мельком взглянул на часы. Время есть. Ну, мать, возможно, на работе. Так просто: посмотреть на двор, на дом, зайти в квартиру, поговорить с кем-то, оглядеться, посмотреть на сестренку хотя бы.

Виталий знал, как много говорит о человеке его жилье, если, конечно, умеешь смотреть. И о достатке, и о профессии, и о вкусах, привычках, интересах, и о характере даже, о друзьях. Словом, можно даже ни с кем не говорить, просто смотреть, внимательно только. Виталий, если он так смотрел, то иной раз узнавал о человеке больше, чем тот сам о себе потом рассказывал. Впрочем, Виталию никакой осмотр никогда не мог заменить встречи с людьми. А вот Игорю Откаленко осмотр порой заменял людей, а главное, он доверял глазам больше, чем ушам. «Люди обманут», — говорил он. — Вещи, следы, улики — никогда». А Виталию необходимы были разговоры с людьми, споры, признания, мнения. Случалось, конечно, что его обманывали, но удача было больше, удачи перекрывали потери. Вот на такую удачную встречу он рассчитывал и сейчас.

И потому подземный маршрут Лосева решительно изменился и в конце концов привел его на станцию метро «Сокольники». Дальше следовало ехать в троллейбус, который вскоре и довез Виталия до нужной улицы.

Обширный двор, куда Лосев зашел, был полон суеты, звонких детских голосов, автомобильного рокота и гудков; в самой середине двора располагалась детская площадка, полная ребятишек, а весь первый этаж высоченного нового дома занимал магазин, своими тылами выходивший во двор. Проход вдоль магазина был загроможден горами изломанных и целых ящиков, а рядом, на асфальтовом проезде, ревели и урчали неуклюжие фургоны, наезжают, пытаясь, разворачиваясь или покорно стоя с распахнутыми дверцами.

По другую сторону детской площадки, за жидкой стеной зеленого кустарника, виднелся еще один дом, всего в три этажа, совсем старенький, обветшалый. Прячущие лепные украшения кое-где

сохранились на фасаде вместе с какими-то несуразными балкончиками и плоскими полуколоннами по второму и третьему этажу. Это уродливое порождение упадочных лет начала века обозначалось как «строительство № 2», которое и необходимо было Лосеву.

Подъезд в доме был один, полутемный, прохладный, гулкий. Широкая лестница вела наверх, по сторонам выщербленных ступеней даже сохранились бронзовые крепления для ковровой дорожки.

На втором этаже, сверившись с номерами квартир, Лосев убедился, что вон та, дальняя, ему и нужна. Судя по спискам жильцов на каждой из дверей, квартиры в доме были коммунальные, на несколько семей, и к Коротковым, например, требовалось звонить три раза.

Высокую громоздкую дверь, обшитую по краям войлоком, открыли сразу, не успел еще прозвенеть третий звонок. На пороге Виталий увидел черноглазую девчушку в зеленом платьице, руки и щеки у нее были вымазаны чем-то клейким. Она с удивлением задрала вверх голову, чтобы рассмотреть Лосева.

— Я таких длинных еще не видела.

— Я длинный, а ты Лялька, верно? — улыбнулся Виталий.

— Верно. Это у тебя такая кличка, Длинный?

«Какой образованный ребенок», — с беспокойством подумал Лосев.

— А разве у всех должна быть кличка? — спросил он.

— Не, — покрутила головой девочка. — Это только у Витькиных ребят.

— А мама дома?

— Не. Она в магазин пошла. А ты к ней?

— К ней.

— В очередь ста-ановись! — весело и заученно закричала девочка и звонко рассмеялась.

— А за кем? — поддержал шутку Виталий.

— За дядей Севой, вот за кем!

— Ладно. Я маму дождуся, можно?

— Пойдем, — охотно согласилась девочка и добавила озабоченно, явно подражая кому-то из взрослых: — Соседей никого нет, слава богу, зараз этих.

— Почему же «зараз»? — удивился Виталий, входя в просторную переднюю и прикрывая за собой дверь.

— Дядя Сева их так называет.

— А Витя?

— Не. Он дядю Севу так называет. — Она понизила голос и погрозила Виталию пальчиком. — Только ты не говори это никому. А то дядя Сева драться будет.

«Веселенькая тут ситуация», — подумал Виталий. — И девчушка в курсе всех дел».

Девочка между тем провела его в комнату возле самой входной двери. Комната оказалась большой, с одним широким окном. Громоздкий платяной шкаф делил ее пополам, и обе эти половинки отгораживала от остальной комнаты темная глухая занавеска, получались как бы общая столовая и две спальни.

— Ты где спишь? — спросил Виталий, подсаживаясь к столу.

— А вот здесь, около стола, — ответила девочка и, забравшись на стул, взялась за банку с джемом — вероятно, этим джемом она и перепачкалась.

— А мама разрешила сладкое сейчас есть? — укоризненно спросил Виталий.

— Ха! — усмехнулась Лялька, точно так, как утром усмехался Витька. — А это ее? Вот так. Усек?

Она повторяла и Витькины словечки.

— Что же мне надо усечь? — улыбнулся Виталий.

— А то. Это Витька мне купил. Хочешь, угощу?

— Нет, спасибо.

Девочка, потянувшись за ложкой, спросила, считая, видимо, нужным развлечь гостя:

— Ты кошек боишься?

— Нет.

— Я тоже. Но у Ритки такой кот, испугаешься. Глаза горят, сам черный, и одно ухо рваное. Интересно, он мальчик или девочка?

Виталий между тем незаметно оглядывал комнату. Длинная занавеска была сейчас отдернута, чтобы дневной свет проник на обе половины комнаты. Было ясно, что в одной спаленке, на широком, небрежно застланном байковым одеялом матраце спала мать со своим — очевидно, временным — мужем, а за шкафом — Витька, там на четырех ножках стоял узкий матрац, тоже прикрытый одеялом. На стенке шкафа — дверцами он был повернут к спальне матери, — висел на плечиках Витькин синий, на верное, выходной костюм, а рядом кнопками прикреплены в ряд три разной величины фотографии. Виталий приглядился: на самой большой была снята футбольная команда после матча, один ряд игроков сидел на корточках, второй стоял, а перед ними на земле красовался блестящий кубок. Лица ребят сияли.

— Где тут Витька, ты знаешь? — спросил Виталий, кивнув на фотографию.

— Пустяки дело, — важно объявила Лялька, облизав ложку, и сползла со стула.

Виталий вслед за ней подошел к фотографиям.

На совсем маленькой, «паспортной» фотографии, которую он не мог разглядеть издали, была снята девушка. Фотографию Витька почему-то обвел широкой черной рамкой, тушью прямо по стенке шкафа. «Умерла эта девушка, что ли?» — с недоумением подумал Виталий.

— Вот он, Витька. Гляди, — сказала Лялька, приподнимаясь на цыпочки и тыча перепачканным пальцем в фотографию.

И Лосев сразу узнал Витьку среди стоящих во втором ряду футболистов, хотя вообще-то узнать было непросто: таким счастливым выглядел здесь Витька, так беззаботно, так заразительно он смеялся, обняв за плечи двух товарищей рядом.

Снимки были прикреплены кнопками только сверху, и Виталий, приподняв нижний край фотографии, прочел на обороте: «Виктору Короткову. Футбольная команда второй лиги «Сокол» с кубком городского совета общества. Успехов тебе, Витя. От тренера В. П. Соколова. Сентябрь 1978 года». Виталий постарался слово в слово запомнить эту надпись. Если понадобится, он разыщет и это общество и тренера. Тот, конечно, помнит Короткова, ведь прошло не так много времени с тех пор, как команда завоевала кубок.

— А кто эта девушка, знаешь? — Виталий показал на маленькую фотографию в траурной рамке.

— Пустяки дело. Это Катя.

— Она что, умерла?

— Во даешь, — засмеялась Лялька. — Просто Витька на ней крест поставил.

— Поскорились?

Лялька в ответ беззаботно пропела:

— Я не знаю, я не знаю, но что хочешь отгадаю. Траля-ля, траля-ля... — Девочка начала кружиться вокруг стола, хлопая в ладоши. Потом спросила: — А ты можешь меня поймать?

— Нет, — серьезно ответил Виталий. — Я свалю шкаф, стол, стулья, сломаю ногу, а ты убежишь.

Лялька расхохоталась.

Виталий приподнял край маленькой фотографии, но надписи там не оказалось. Третий снимок был сделан, очевидно, в парке, на открытой площадке возле ограды огромного атракциона, фантастические конструкции которого отрубались верхним срезом карточки. Витька с папиросой в зубах стоял, прислонясь спиной к ограде из металлической сетки, а возле него шутовски изогнулся еще один парень. И Витька и парень были явно выпивши; глядя в объектив, они глупо и нагло ухмылялись. Рядом с фотографией счастливых футболистов эта выглядела как пародия на веселье. Оба парня производили неприятное впечатление, хотя одеты были весьма щеголевато, особенно второй, с копной выющиеся светлых волос. На нем были джинсы, в кожаных нашлепках джинсы и явно заморская майка с полосатым отложным воротником и косыми звездами на животе. Виталий приподнял и эту фотографию. На обороте было написано: «Гоша и я у печатного станка. Сзади Борода, сволочь». Виталий снова посмотрел на фотографию и в самом деле заметил среди людей за оградой невысокого бородатого человека в темном костюме, с портфелем, который сердито оглянулся на снимавшихся парней.

В этот момент в передней стукнула входная дверь, потом в комнату вошла женщина в пестром платье, в руке она держала тяжелую сумку. Виталий сразу обратил внимание, как привлекательно и молодо она выглядит, как легки и порывисты ее движения, какая у этой женщины тонкая, прямо-таки девичья фигура. Совсем светлые, крашеные волосы распущены по плечам, пухлые губы подкрашены, а карие горячие глаза смотрят вызывающе на незнакомого долговязого парня, неведомо как оказавшегося здесь.

— А вам чего тут надо? — спросила она, ставя сумку на стул.

— Он тебя ждет, ждет, ждет, — лукаво сообщила Лялька.

— Марш в коридор, живо, — скомандовала мать.

— Рано еще в коридор, — дерзко ответила Лялька, обеими руками хватая банку с джемом. — Может, он штрафовать тебя пришел.

— Ах ты дрянь, — обозлилась женщина, и лицо ее сразу подурнело. — Ах ты горе мое! Пошла вон, пока не поддала! Вот ты у меня сейчас...

Лялька, прижав к себе банку, стремглав метнулась к двери.

Женщина устало вздохнула, губы у нее дрожали.

— Здравствуйте, Вера Игнатьевна, — сказал Лосев насколько мог участливо. — Трудно вам с девочкой, я гляжу. Извините, может, я не вовремя пришел.

— А! Ко мне всегда не вовремя, если сама не зову, — женщина быстро и внимательно взглянула на него исподлобья. — Вас что-то не помню, хоть и видный мужчина, — насмешливо добавила она. Твердой походкой прошла в свою спаленку и стала перед зеркалом, вделанным в створку шкафа, оглаживая туго обтянутое платьем тело и поправляя волосы — так, чтобы Виталий мог вполне полюбоваться ею.

— Вы меня помнить не можете, — сказал Виталий. — Встречаться нам до сих пор не приходилось. А к вам я насчет Виктора.

— Взрослый он, сам за себя отвечает, — равнодушно отрезала Вера Игнатьевна, продолжая внимательно разглядывать себя в зеркало и разглаживая, одергивая платье на животе и бедрах.

— Плохо с ним, — сказал Виталий. — Помочь ему надо.

— Сам и виноват, раз так. Я, что могла, все для него сделалась. Без отца растила. Пора и для себя пожить. А то скоро и не взглянет никто, как считаете?

Она игриво наклонила голову и посмотрела на Виталия.

— А вы с дядей Севой ему передачи носить будете? — не сдержавшись, сердито спросил Виталий.

— А-а, вот вы откуда заходите, понятно! — Она гневно обернулась к нему, упершись руками в бедра. — В мою жизнь собираетесь влезть, да? Соседи дорогие, небось, настучали? Знаю, знаю, у вас тут каждый второй стукач! А вот не выйдет!

— Да не про вас речь, — возразил Лосев. — Я пришел...

— Знаю, зачем пришли! Витья только для подхода, потом на Ляльку, эту заразу, свернете, мол, плохо воспитываю подрастающее поколение, — с издевкой произнесла она. — И все на меня сведете. Мать плохая, жена никакая! Зато любовница я какая, не знаешь? И не узнаешь, не подбирайся лучше. Ишь, гладенький какой нашелся!

— Подождите, Вера Игнатьевна, — попробовал успокоить ее Лосев. — Я вам сейчас все объясню. Нам посоветоваться с вами надо, как...

— Все вы сначала советуетесь, а потом под подол! Знаю! Ученая!

— Ладно, — усмехнулся Лосев. — Тогда я сначала вам представлюсь. А то вы сразу так на меня напали, что мы и познакомиться не успели.

Но женщина задобрить себя не дала.

— А мне и знакомиться с тобой не надо. Сдался ты мне! Я таких кобелей...

— Я к вам, Вера Игнатьевна, из милиции.

— Ха, напугал. А там что, не мужики? Знаешь, за мной какие оттуда бегали?..

Виталию стало ясно, что он ничего не добьется. Это был разговор глухих, каждый вел свою тему.

— До свидания, Вера Игнатьевна, — сказал Лосев. — К сожалению, разговора у нас пока не получилось. Перенесем его на другой раз.

В коридоре Виталий увидел Ляльку и возле нее какую-то женщину, видимо, соседку, которая вытирала полотенцем лицо и руки девочки. Посмотрев на Лосева, женщина сердито сказала:

— Хоть бы ребенка постеснялись. Калечите ведь девочку.

— Ага, калечат, — охотно подтвердила Лялька. — Гулять идти можно, тетя Маруся?

Виталий не нашелся что сказать и поспешил на лестницу.

Огромный, залитый солнцем двор продолжал жить своей шумной, суетной жизнью. «Сейчас сюда выйдет гулять Лялька...» И всю дорогу к себе в отдел Лосев продолжал думать об этой девчушке.

Виталий приехал к себе в отдел уже в конце рабочего дня. К счастью, Шухмин оказался на месте, иначе пришлось бы откладывать задуманное.

Петр сразу понял замысел Лосева и с обычным своим энтузиазмом включился в разработку плана предстоящей операции. Прежде всего от него требовалось вспомнить в мельчайших подробностях весь путь их с Ниной в тот вечер по парку.

— Значит, так, — начал Шухмин, сам получая удовольствие от этих воспоминаний. — Вошли мы через центральный вход. Там сразу громадный такой фонтан, знаешь? «Вечерка» еще о нем писала, что...

— Знаю, знаю, — нетерпеливо перебил его Лосев. — Дальше.

— Мы, значит, его обошли... и двинулись направо по аллее. Она прямо на набережную ведет. Там еще аттракционы заграничные стоят. Ты увидишь. Четыре штуки. Громадные такие, яркие.

— Да знаю я эти аттракционы. Вы что, катались на них?

— Нет, что ты! Там очередь несусветная. Я даже

подсчитал. Больше часа стоять и три с половиной минуты крутиться. Нет расчета. Нина сказала...

— И вы ушли?

— Ну, да. И пошли по боковой аллее, мимо концертной площадки. Ограда такая решетчатая, деревянная. И раковина для оркестра. Представляешь?

— Приблизительно.

— Найдешь. Там молодежный джаз играет и девочка поет, хрепло, правда, очень. Так, дальше мы шли... — Петр мучительно сморщил лоб, потер его, и вдруг взгляд его оживился. — Погоди, — объявил он. — Сейчас мы все уточним.

Петр схватил телефонную трубку, без заминки набрал номер и попросил:

— Будьте добры, Обручеву Нину... Ниночка? Это я. Серьезное дело... Нет, честное слово. Надо вспомнить каждый шаг нашей исторической прогулки по парку. Помнишь?.. Вот и я тоже, — расплылся в улыбке Петр. — Так вот, после аттракционов мы по боковой аллее пошли, там еще джаз играл, помнишь?.. Ну, вот. А дальше мимо чего мы шли?.. А-а, верно! Тир! Забыл совсем, — он многозначительно посмотрел на Виталия и поднял палец. — А потом?

Постепенно в их памяти всплыла маленькая читальня, возле которой на столиках играли в шахматы, потом длинная-длинная грядка красных цветов, аллея, где был расположен лекторий, куда Петр заставил Нину, чтобы удостовериться в слежке. В конце концов они вспомнили человека с красной повязкой, у которого спросили, как пройти к пункту милиции.

— Ладно, хватит, — объявил Виталий. — Кончай этот роман по телефону. Все ясно.

Петр поспешил проститься с девушкой и, положив трубку, недовольно заметил:

— Мог бы не так громко. Что значит «роман по телефону»?

— Ну, извини, — улыбнулся Виталий. — И ответь на последний вопрос: в какой момент ты ощутил слежку, помнишь или нет?

Шухмин задумчиво поскреб затылок и посмотрел в потолок.

— Где-то между тиром и кафе, — наконец решил он.

— Ну, все, — кивнул Виталий. — Мне пора. Будь здоров.

— Это уж ты будь здоров, — озабоченно ответил Шухмин.

В парк Виталий приехал приблизительно в то же время, как накануне Петя Шухмин со своей девушкой.

Пройдя через центральный вход, Виталий замедлил шаг, прогуливаясь, обогнул огромный переливчатый купол фонтана и двинулся по аллее в сторону набережной. При этом он лениво поглядывал по сторонам и даже что-то беззмятежно наслышивал сквозь зубы. Но уже через минуту ему пришла в голову мысль, что он ведет себя неправильно, притворяясь гуляющим без дела, совсем безобидным человеком. А вдруг ему поверят? Правда, Шухмин даже не притворялся, он в самом деле был в тот вечер таким отдыхающим человеком, и все-таки за ним пошли. Возможно, за ним пошли случайно или он мог в какой-то момент вести себя не так уж обычно. Как Витьяка сказал? «Торчал где не надо и лупил зенки»? Но Виталий этого момента не знает. Да и сам Шухмин его не заметил. Значит, Виталию сейчас надо вести себя все время необычно, чтобы на него обратили внимание.

Итак, Лосев постепенно из лениво прогуливающегося человека превратился в настороженно-любопытного и весьма, очевидно, настырного типа, кото-



рый на ходу ко всему подозрительно приглядывался и что-то вынюхивал, при этом неуклюже стараясь всего этого не показывать.

Таким манером он прошел всю аллею, и на этом пути никто за ним не увязался. Виталий вышел на набережную, где на обширной площадке расположились четыре причудливых заграничных аттракциона, около них толпился народ. Среди аттракционов Виталий сразу узнал тот, возле которого фотографировался Витька с приятелем и который он назвал в подписи к фотографии «печатным станком» — почему, интересно знать?

Теперь следовало немного потолкаться среди публики, точь-в-точь, как это сделали Шухмин и его девушка. Виталий вспомнил, что Петр даже сумел за это время усечь, сколько минут кружится один из аттракционов, прикинуть, сколько человек одновременно пропускают, сколько стоит в очереди и, следовательно, сколько времени придется простоять. Что ж, Виталий тоже мог проделать про себя все эти расчеты. Даже более откровенно, более деловито, чем Петр. Можно и пометочки сделать. По крайней мере это будет хоть каким-то занятием.

Виталий с самым серьезным и сосредоточенным видом стал прикидывать, то и дело поглядывая на часы, ход работы аттракциона. Когда это занятие было окончено, выяснилось, что оно заняло всего около десяти минут. Виталий сделал вслед за тем какие-то непонятные пометки в записной книжке. При этом Виталий не забывал все время подозрительно и как бы тайком оглядываться и, наконец, медленно двинулся к одной из аллей, ведущей

судя по указателям, к тибу и концертной площадке.

И вот тут-то, в самом начале этой аллеи, Виталий вдруг ощутил за собой слежку. Он не мог бы объяснить это чувство, ведь никто и никогда за ним не следил. Сам он порой за кем-то наблюдал и всегда удивлялся, если тот человек неожиданно начинал проявлять беспокойство, хотя явно не замечал своего преследователя. И вот теперь Виталий на самом себе испытал эту необъяснимую тревогу, это ощущение неведомой опасности, которое подчас охватывает человека в такой ситуации. Откуда она только берется?

Виталий выбрал момент и оглянулся. Было еще достаточно светло, и он почти сразу выделил в толпе гуляющих двух незнакомых парней, отметил их напускное равнодушие, их неумелую маскировку. Один из парней ему показался знакомым, хотя Виталий твердо знал, что нигде не встречал его. Это был привычный уже случай. Значит, приметы парня проходили по какому-то делу, возможно, он был объявлен в розыск. Словом, надо покопаться в памяти, и все всплынет непременно, так уже бывало.

Но это потом, сейчас следовало решать другую задачу. Итак, слежка за Шухмином началась здесь, около аттракционов. Выходит, они оба здесь «горчали где не надо и лупили зенки», как выражался Витька Коротков? Очень важное открытие. Интересно, эти два парня, если их прихватить, скажут больше, чем Витька? Но пока их прихватывать нет причины, они имеют право идти куда хотят и смотреть на кого хотят. Что, интересно, они надеются увидеть, следя за Виталием? Может быть, то-

же в конце концов окликнут, велят больше не приходить в парк и, если он откажется, полезут в драку, как это было с Шухминым? Не-ет, они полезли в драку не из-за этого, Виталий сейчас ясно это понял. Ведь Шухмин собрался идти в милицию! Те парни узнали об этом от человека с красной повязкой и сразу окликнули Петра.

Но главное все же остается пока неясным. Потому слегка начинается возле аттракционов?

Размышляя, Виталий брел по парку, неотступно ощущая за спиной своих преследователей.

Начинало темнеть. В аллеях и павильонах, на концертных и танцевальных площадках вспыхивали огни. Заметно прибавилось людей вокруг. Душный вечер снова опускался на город. Но здесь, в парке, все же чувствовалась прохлада от бесчисленных фонтанов, небольших прудов, от реки.

Виталий неторопливо двигался в толпе гуляющих, соображая, как заставить парней, идущих за ним, раскрыться.

Постепенно у него складывался план дальнейших действий. Он пойдет не к выходу, как сделал Шухмин, и уж, конечно, не будет искать милицию, а не спеша направится вглубь, туда, где кончается парк, где вечером никого уже нет. Вот там эти парни осмеленют, они, пожалуй, попытаются его «прижать» и раскроются, неизбежно раскроются. И тогда никакой драки не будет. Зачем? Все обойдется мирно, к взаимному удовольствию, уже иронично подумал Виталий. И потом этот знакомый чем-то парень... Очень полезно познакомиться с ним поближе. Словом, все как будто выстраивалось неплохо.

Неожиданно откуда-то сбоку Виталий услышал радостный возглас:

— Виталий!.. Лосев!.. Стой, чертюка!

Вздрогнув, Виталий огляделся. Сквозь сплошной поток гуляющих к нему пробирался какой-то человек, резкие тени падали на его лицо, и Виталий его узнал, когда человек оказался уже совсем рядом и схватил Лосева за плечи.

— Славка! — ответно обрадовался Виталий.

Это был его давний друг по части, Слава Васнеццов, с которым Виталий ни разу после демобилизации не виделся. А ведь служили вместе не только в одной части, но и в одном взводе, а сначала и в одном отделении даже. Первый прыжок с парашютом выполняли вместе. Славка был рядом во всех походах, операциях, на всех учениях. Что только не связывало их в те годы, замечательные два года, оставшиеся в памяти, кажется, на всю жизнь как особые, неповторимые, лихие и совсем юные годы. И Виталий на секунду забыл обо всем, глядя на друга, вдруг вынырнувшего перед ним невесть откуда.

— Слушай, ты же в Омске живешь? — спросил Виталий. — Каким тебя ветром сюда к нам задул, скажи на милость?

— Длинная история, — махнул рукой Славка, и круглое, веснушчатое, вечно улыбающееся лицо его вдруг помрачнело. — Идем посидим, расскажу.

Вот тут-то Виталий и опомнился. Ах, как славно, но как некстати встретился ему старый друг! Он накинулся на Славке и тихо, опасливо осматриваясь по сторонам и как-то криво усмехнувшись, спросил:

— Ты, между прочим, знаешь, где я служу?

— Слышишь, представь себе.

Славкино лицо из мрачного стало вдруг напряженным, он сразу ухватил странность лосевского поведения.

— Так вот, представь себе, — все с той же нарочитой, даже неприязненной настороженностью продолжал Виталий. — Сейчас за мной, например, следят два лба, и мне обязательно надо узнать, зачем они

это делают. — Он оглядел своего старого друга и удовлетворено констатировал: — Вроде жирком ты не заплыл. Кое-что еще помнишь?

— А то, — с гордостью ответил Славка. — Я так понимаю, что расшифровываться перед ними ты, однако, не хочешь?

— Угадал.

— Может, мне исчезнуть? — И Славка подмигнул.

— Пожалуй. Хотя... — И тут хитрюша Славкина улыбка навела Виталия на новую мысль. — Раз уж так, давай дадим спектакль.

— Давай, — зартно согласился Славка.

Он уже загорелся, он стал и вовсе прежним, каким помнил его Виталий, каким Славка был на опасной «летней тропе» во главе своего лихого отделения. «Дьяволы» там служили, «голубые дьяволы», поскольку падали они с неба.

Виталий коротко изложил свой план.

— Утверждаю, — кивнул Славка.

И они сразу же поссорились, здоровово поссорились, громко, зло, так, что на них даже стали оглядываться. И, продолжая ссориться, они двинулись в глубь парка, туда, где начинались рощи, полянки, овраги и узкие тропинки, еле различимые в слабом свете редких фонарей. Сюда мало кто отваживался забираться с наступлением вечера.

За темной стеной высокого кустарника, когда вокруг уже никого не было, Славка вдруг коротким и резким ударом, на который он был когда-то великим мастером, свалил Виталия на землю. «Знать бы с утра, другой бы костном надел», — с досадой подумал Лосев, кубарем катясь по траве. Удар был нанесен, конечно, вполсильы, иначе Виталий бы уже о костюме не думал. А Славка между тем одним прыжком оказался верхом на противнике и, привычно заломив ему руку, прорычал:

— Будешь, гад, возвращать? Или...

Но тут из-за кустов к ним метнулись две тени.

— А ну, стой! — схватил Славку за руку один из подбежавших парней. — Кто такой, пусть сперва скажет.

— А ты сам-то кто? — задирстро спросил Славка.

— Не суй морду, — отрезал парень, — без морды уйдешь. Ну? — обратился он к Лосеву.

— Эй, парень, — насмешливо сказал Славка. — Сейчас нас трое на одного, а может стать два на два, улавливавшая арифметику?

И в тот же миг, скатившись на бок, он ловко ударили ногой стоявшего сзади него парня. Тот, взвыв от боли, отскочил назад и, оступившись, повалился в кусты.

— Не надо, деточка, баловаться ножом, — укоризненно произнес Славка и снова прижал Лосева к земле. — Ну, гаврик, — обратился он к первому парню. — Будем все делать вместе или как?

— Ну ты даешь, — восхитился тот. — Давай вместе.

— У тебя к нему чего? — Славка ткнул кулаком Лосева в спину.

— Надо знать, кто он такой.

— Это я тебе скажу. Он мне сотнягу третий месяц не отдает. Ждет, когда я его головке отдам. Она давно по нему плачет.

— Так мы его, гада, сейчас...

— Не тронь! — заорал Славка. — Его карманы мои, понял?

— Пойдем, Горшок, — плачущим голосом произнес второй парень, выбирайся на четвереньках из кустов. — Ну их к...

— Эй, — прохрипел Виталий, приподняв голову. — Стой. Хрен с ним, отдам сотнягу. Но так. Вместе проплем. Чтоб не вся ему досталась.

— Ну, ну... — для вида воспротивился Славка.

— Ха! Во, дело! — обрадовался Горшок.— На троих, так? — Он уже забыл о своем приятеле.— Давай приходи на набережную, к первому аттракциону, через час. Лады?

— А, давай,— бесшабашно махнул рукой Славка.— Хоть выпьем.

— Тогда общий привет.

И две тени исчезли за кустами.

Глава IV

В ОДНОМ ЮЖНОМ ГОРОДЕ

Откаленко прилетел туда в середине дня. В аэропорту его уже ждали.

Капитан Туркевич, с которым он говорил еще из Москвы, оказался спокойным, даже меланхоличным человеком лет тридцати пяти, совсем незаметным, буквально ни одной чертой не запоминающимся.

Впрочем, все это сейчас было неважно. Главным было то, что из всей троицы, названной, а вернее, упомянутой администратором гостиницы во Внукове, удалось отыскать только одного, некоего Ткачука Олега Романовича, который предложил администрации купить золотые часы «Павел Буре», и он же, судя по всему, сочинил ту наглую записку в московской квартире.

В сопровождении молчаливого капитана Туркевича Откаленко направился сначала в гостиницу, где ему был забронирован скромный номер, и оставил там свой видавший виды чемоданчик, а потом двинулся в городок представиться начальству.

Начальник городка полковник Шадури принял Игоря с обычным грузинским радушием и обещал, как он выразился, «любую помочь в любой момент». Но кроме этих общих слов, он, внимательнейшим образом выслушав Игоря, уяснив все его проблемы, дал несколько конкретных советов, прямо с ходу, по вдохновению, так сказать, заразившись сложностью, запутанностью и важностью дела, которое привело Откаленко в этот город.

— Я, дорогой, тоже из розыска вышел, учти,— бодро сказал полковник.— Видишь, какая седая голова? Это я там поседел, в моем любимом розске. Ты тоже скоро поседеешь, не бойся...— Он жизнерадостно расхохотался.

В городе стояла небывалая жара. Впрочем, мучительна была лишь адаптация к непривычным условиям. Откаленко справился с этой задачей часа за три, наверное. Во всяком случае, когда он, выпив два или три стакана ароматнейшего чая, простился, наконец, с полковником Шадури и вышел на улицу, то решил, что жить в таких адских условиях все-таки можно и даже потихоньку работать, как делают все вокруг.

Между прочим, из городка Игорь вышел, уже имея не только адрес Ткачука, но и узнав место его работы — комбинат бытового обслуживания. Таким образом, за оставшееся до наступления вечера время можно было попробовать реализовать один из советов полковника Шадури.

Педантичный капитан Туркевич объяснил Игорю дорогу на комбинат.

Прежде в этом городе Откаленко никогда не бывал. Суетливый, криклиwyй и веселый, как все юж-

ные города, белый, он словно выгорел под жгучими лучами солнца. Стоило только удастся от центра — песок скрипел под ногами, тонкими струйками ссыпался из щелей небольших стареньких глинобитных домиков.

Город был южный, но не курортный. Скорее некий перевалочный узел на пути к бесчисленным морским и горным курортам. И потому здесь не было такого количества кафе, ресторанов, кинотеатров, магазинов, мастерских, какое требуется, чтобы обслужить не только своих жителей, но еще большее количество приезжих, как только наступает курортный сезон.

Комбинат, к которому подошел Откаленко, размещался в небольшом стандартном двухэтажном здании. На первом этаже находились сапожная мастерская, слесарная, тут же были парикмахерская и приемный пункт прачечной и химчистки. А на втором этаже помещались ателье: верхней одежды, головных уборов, белья. Словом, комбинат, судя по всему, предлагал максимум бытовых услуг.

Но вот в какой из мастерских трудится Олег Романович Ткачук, пока неизвестно. Это прежде всего и надо установить.

Игорь с минуту задумчиво стоял перед входом в комбинат, пока на улицу не вышел какой-то худющий, загорелый парень в голубой майке, в серых парусиновых, невероятно мятых брюках и, остановившись, достал пачку дешевых сигарет. Игорь подошел, тоже достав сигарету, и попросил прикурить. Затянувшись, Игорь небрежно спросил:

— Олег на работе, не знаешь?

— Селезнев-то?

— Да нет, Ткачук.

— А-а. Стучит. Чего ему еще делать? — оскалился парень, обнажая редкие мелкие зубы и мощные розовые десны.— Не знаем только, на кого стучит.

— Выходит, на подозрении он у вас? — словно бы насторожившись, спросил Игорь.

— А у тебя, значит, нет? Тогда чего нюхаешь?

— Ну, острые тут ребята,— подумал Откаленко.— Смотри, пожалуйста.

— Мало еще его знаю. В Москве только сошлились и сразу разбежались.

— Да, в Москве он был, сказал, тетка померла.

— Эх,— мечтательно вздохнул Игорь.— У меня раз тоже тетка померла. Четыре дня гулял, будь здоров как. Теперь вот думаю, кого бы еще так похоронить.

Парень небрежно оглядел Игоря.

— Махно и не то придумает, если стоящее дело подвернется.

Игорь в ответ пожал плечами.

— Стоящее дело приносит доход, а куда его тут толкнешь?

— А тебе что нужно — купить или толкнуть?

Игорь до обидного снисходительно посмотрел на парня:

— Ты откуда свалился, малыш?

Но тот лишь широко улыбнулся.

— Ты лучше спасибо скажи, что Леха-Попа встретил, то есть меня. Это тебе судьба подарок преподнесла, понял?

«А ведь он, пожалуй, прав»,— подумал Откаленко.

— Понял,— кивнул он.— И чтобы ты, Леха, убедился, что я понял, пойдем посидим. Где у вас тут можно?

Через несколько минут они уже сидели в каком-то третьяразрядном кафе, темноватом, грязном, прокуренном, среди таких пьяных и бандитских рож, что обычный посетитель и минуты бы тут не

выдержан. Кафе между тем называлось «Одуванчик».

Игорь сообщил новому знакомому, что приехал из Москвы, где случайно встретился с Олегом в гостинице аэропорта. Ох, и здорово же они там набрались в подходящей компании.

— А Махно сюда кое-чего притаранил,— пьяно ухмыльнулся Леха.— Желаешь взглянуть? Можем устроить.

— Стоящее?

— Говорят, на ценителя. Но хрустов готовь много.

— Слушай, Поп, и наматывай. Кое-чего, может, я у Махно и возьму. Но главное не в том. Мне тут скоро кое-чего подкинуть должны, чего я сам толкнуть желаю. А Махно мне гавкал, что есть тут кому. Так это или зря гавкал?

Леха задумчиво поскреб затылок.

— Так-то оно так. Кому толкнуть, найдется.

— Ну, и все пока,— мягко сказал Откаленко.— Пойдем, Леха. Продолжение завтра.

Он поманил официантку.

Через минуту они с Лехой, под руку и чуть раскачиваясь, вышли из кафе.

— Я тебя провожу, Лешенька,— заботливо сказал Откаленко.— Но ты до завтра не забудешь своего друга Игоря, для краткости — Черного, а?

— Н-не з-забуду...— помотал головой Леха, чуть не падая на Игоря.

С большим трудом вырвав из Лехи адрес, Откаленко поймал такси и благополучно доставил нового приятеля до места назначения.

Возвратившись в городской и разыскав капитана Туркевича, он, отдуваясь, сказал:

— Подход к Ткачуку, я полагаю, наметился. Вы знаете этого Леху?

— Кто его не знает? В общем-то мелочь. Но с Ткачуком он действительно связан.

— Если Ткачук совершил ту кражу в Москве, то был он не один,— пояснил Откаленко.— И не москвичи с ним были, а тоже приезжие. Скорей всего, из вашего же города.

— Итак, первое — это соучастники? — уточнил Туркевич.

— Да. У нас тут есть кое-какие предположения, но пока... в тумане все.

— Имена знаете?

— Заморин Семен Михайлович и Кикоев Илья Георгиевич.

Туркевич записал оба имени и сказал:

— Значит, завтра у вас будет справка на Леху-Попа и Ткачука и первые данные о Заморине и Кикоеве. А пока отдыхайте.

Утром Откаленко проснулся от нестерпимо жгучих солнечных лучей, бивших прямо ему в глаза, проснулся совсем рано, взглянул на часы, удовлетворенно повернулся на другой бок, закрыл глаза и... уснуть не смог. Напрасно он ворочался с бока на бок, бил кулаком тощую подушку, удобнее приложив ее под голову, и натягивал до ушей тонкое одеяло — сон пропал окончательно. А потом неожиданно зазвонил телефон. На проводе была Москва.

— Я боялась, что ты убежишь,— чуть смущенно сообщила Лена.— И поскольку ты обязан докладывать только руководству, то я решила сама.. Как ты там?

Игорь, еще не пришедший в себя, в одних трусах, переступая босыми ногами по прохладному с полу, пробурчал в трубку:

— Все в порядке. Молодец, что позвонила.

Тут он вдруг подумал, что Виталий был бы, наверное, поразговорчивей со своей Светкой, и рассердился на себя. Лена, каким-то образом уловив его состояние, озабоченно спросила:

— Ты не в духе?

— Просто еще не проснулся.

Нет, Игорь никак не мог найти нужных слов. Да что там этот разговор, он вообще почему-то не мог себя заставить объясниться наконец с Леной. И она ждала, преданно любила его — это он видел,— ни словом, ни намеком не торопя его. Иногда Игорю даже казалось, что она боится этого объяснения, хотя Лена вроде бы ничего в жизни не боялась. И ведь Игорь тоже любил ее. Виталий называл его состояние мудро и длинно: остаточная психологическая травма от аналогичного поступка. Эту формулу он, конечно, подхватил у кого-то из своих учеников медицинских родичей.

— И устроился нормально? — спросила Лена.

— Ага. Ты... не беспокойся. Вчера, правда, выпить пришлось.

— С корабля на бал?

— Ну, да.

— А кто была царица бала?

— Цариц мы давно посыдали.

— А без них балов не бывает.— И Лена добавила: — Медведь ты, Откаленко. Ладно. Не забывай в вихре всяких там...

— Не забуду, будь спокойна,— почему-то с угрозой пообещал Игорь, крайне недовольный самим собой, и поспешно добавил: — Целую.

Ах, как муторно было у него на душе в тот момент, как он сам себя не понимал! И все гнал от себя, гнал мысли о будущем, все обещал себе подумать на досуге о том, как ему жить дальше. Потом, потом, сейчас обступают его со всех сторон совсем другие дела, которые отложить невозможно. Это ведь его работа, люди, судьбы которых он должен решить раньше, чем свою, — собственная в конце концов подождет.

Наскоро позавтракав в гостиничном буфете, Игорь направился в городской.

Туркевич уже ждал его в своем кабинетике. Он ведь был начальником отделения уголовного розыска. И Игорь, вспомнив колоритную фигуру полковника Шадури, тоже вышедшего из розыска, невольно подивился, каких разных людей вбирает в себя эта служба.

Слабо улыбнувшись бледными губами, Туркевич спросил:

— Плохо спали?

— Заметно?

— Если приглядеться. Душ не желаете? А то в гостинице он не работает. Пять минут — и вы как огурчик. Очень советую.

И тут Игорь понял, что именно душ ему сейчас и нужен. До чего же додгадлив оказался капитан.

Когда они снова уселись за стол, Игорь благодарно сказал, приглаживая ладонью короткие мокрые волосы:

— Вы правы, совсем другое дело.

А Туркевич уже достал из сейфа тонкую служебную папку и деловито спросил:

— Начнем?

— Начнем,— согласился Откаленко.— Сначала одно организационное предложение. Дайте телефон для связи и адрес для экстренных встреч. Так, знаете, на всякий пожарный случай.

— Правильно,— одобрил Туркевич.— Пишите и оставьте на столе.

— Само собой.

Туркевич продиктовал два телефона и, подумав,

адрес. Листок остался на столе, и в течение всего последующего разговора Игорь то и дело поглядывал на него.

— Вот что мы пока установили,— сообщил Туркевич, раскрывая свою папку.— Первое. Ткачук Олег Романович, кличка Махно. Не умен, агрессивен, хвастлив, любит приврать. Обширные связи в уголовной среде. Не организатор, не лидер, как говорят. Исполнитель. Авторитетом не пользуется. Из города раньше не исчезал. Работает в мастерской быткомбината, это вы знаете. Ну, Леху, то есть Алексея Сербина по кличке Поп, я вам уже характеризовал. Судимость одна, хулиганство. Это, повторю, мелочь среди них.

— Насчет Ткачука,— сказал Игорь.— Заморин и Кикоев в его друзьях числятся?

— Такие у нас вообще по учету не проходят.

— Вот тебе раз. А по адресному столу?

— Сегодня все уточним. Это только первые данные.

Откаленко вздохнул и посмотрел на часы.

— Пора собираться к дружку моему Лешеньке.

— Дорогу найдете?

— Найду,— заверил Игорь и отодвинул от себя квадратик бумаги с номерами телефонов и адресом.— Все. Отпечаталось.

Игорь вышел на улицу.

Шел он неторопливо, с любопытством поглядывая по сторонам, как и положено приезжему человеку.

Солнце между тем, добравшись до зенита, принялось за свое пожарное дело, и жгучие его лучи, к этому часу раскалившись до предела, затопили город. Казалось, сейчас начнут дымиться дома, заборы, деревья, таким нестерпимым жаром обдавало изнывающих, потных людей. Надо отдать справедливость, буквально на каждом шагу в этом городе были расставлены тележки с газированной водой и всякими соками в тонких длинных сифонах, бочки с квасом, а на площадях и перекрестках виднелись окруженные людьми палатки с фруктами, соками и водой.

Когда Откаленко оказался наконец на нужной улице, то сразу увидел вдали на скамейке Леху, который сидел под еле заметной тенью молодых деревьев. В старенькой, растрянутой на груди майке, в парусиновых, немыслимо мятых брюках и разбитых тапочках на босу ногу, Леха безмятежно покуривал, жмурясь от солнечных лучей, падавших на него сквозь редкую крону деревьев.

Игорь вяло дополз до скамейки и уселся возле Лехи. Тот оживился, видно было, что Игоря он ждал с нетерпением и, возможно, даже опасался, что новый знакомый обманет его и не придет.

— Ну,— сказал Игорь лениво.— Надумал чего?

— Ясное дело,— с готовностью отозвался Леха и, понизив голос, сообщил:— А тебя...— Леха вдруг загадочно умолк, и Игорю стоило усилий продолжать спокойно жмуриться на солнце и не посмотреть в сторону своего собеседника.— ...тебя Махно вспомнил,— закончил Леха, торжествуя.

— Чего ж ему не вспомнить, раз я его помню,— пожал плечами Откаленко.

Все же ему стало не по себе. Интересно было знать, чего там Ткачук мог вспомнить.

— Выходит, знает он, что я прискакал? — усмехнувшись, спросил Откаленко.

— Ага. Знает. Махно тут, у меня сидит. Пойдешь? — И он кивнул на свою калитку.

— А товар?

— При нем.

— Пойдем, чего ж,— согласился Откаленко.

— А комиссия будет?

— Будет, будет. Все тебе, Лешенька, будет, чего на роду написано.

Они поднялись со скамейки. Калитка отворилась с душераздирающим визгом, чертя нижним краем по песку.

В глубине двора виднелся небольшой домик.

Дверь оказалась незапертой. Леха толкнул ее и провел Откаленко по темноватому коридорчику, куда выходило две двери. Открыл одну из них, Леха кивком пригласил Откаленко за собой.

Маленькая душная комната была залита солнцем. И в первый момент Игорь, невольно жмурясь, даже не заметил худощавого парня, развалившегося в старинном кресле с диковинной резьбой и потертыми рваными подлокотниками, невесть как оказавшемся в этой убогой, пыльной комнатенке.

Парень оглядел Игоря и небрежно спросил Леху:

— Этот, что ли?

— Ага. Этот,— охотно подтвердил Леха.

— Ну,— обратился парень к Откаленко,— чего ты тут, гад, нюхаешь?

Впрочем, в голосе его не было злости.

— Что ж, Олежек,— насмешливо спросил Откаленко,— знакомых не признаешь?

— Не-а,— покрутил головой Ткачук.

— Та-ак,— протянул Откаленко, без приглашения садясь на стул прямо на середине комнаты.— Значит, как пить, так знакомый, а как дела делать, так все, ваших нет?

— Ну, допустим. Дальше что? — с нахальной усмешкой ответил Ткачук.

— А дальше я тебе сейчас погляжу харю и уйду,— ответил Откаленко, закуривая.— И чтобы другой раз ты мне, шкура, на дороге не попадался, понял? Я то думал, с тобой дела вести можно, думал, деловые вы мужики. А в этом городе, я гляжу, одни шавки по дворам тявкают.

— Но-но,— строго сказал Ткачук.— Ты не очень. Тут и укусить могут.

— Это ты, что ли? — усмехнулся Игорь.

Он не спеша встал, приблизился к насторожившемуся Ткачуку и вдруг, нагнувшись, резким движением рванул ножку кресла, в котором сидел Ткачук. Тот кубарем вывалился на пол, а кресло, с наполовину оторванной ножкой, упало. Игорь мгновенно прижал Ткачука коленом к полу и вывернул ему за спину руку. Тот взвыл от боли.

— Отпусти, гад!.. Убью!.. Леха!..

Но Леха, оцепенев от неожиданности, словно прилип к стене, испуганно хлопая глазами, и только все время спрашивал ссылающимся тенорком:

— Ты чего делаешь?.. Ты чего делаешь?..

— Ладно уж, вставай,— сказал Откаленко брезгливо.

Он снова уселся на свой стул посреди комнаты. Ткачук с трудом поднялся на дрожащие ноги и, прихрамывая, отыскал себе другой стул.

— Ну, будет разговор? — спросил Игорь.

— Иди ты...— выругался Ткачук.— И из города лучше тикай, понял?

— Ты мне не указывай. Я, между прочим, к тебе приехал. Сам же звал. И этот... как его?.. Семен, что ли?.. Я-то подумал, деловые вы...

— Сам больно деловой. Чего кидаешься-то?

— А что делать, если ты ухом крутишь? Забыл Черного, да? Зато я вас не забыл, всех троих. Спасибо скажи. Где другие-то?

— Тебе зачем?

— Знаю, зачем. Повидать надо. С тобой, явижу, только водку пить.

— Но-но. Хрусты есть?

— И хрустя есть, и кое-чего еще найдется,— кивнул Откаленко.— А у тебя что в обмен на хрустя водится?

Разговор приобретал вполне спокойный характер, словно и не было короткой злобной стычки. Однако Игорь прекрасно понимал, что именно благодаря ей и началась мирная беседа. За семь лет работы в розыске он успел изучить эту поганую породу людышек. Он не имел никакого желания копаться в их гнилой психике и выискивать всякие причины, как это склонен был делать его друг Лосев. «У меня всех жалеть нервов не хватает,— говорил он.— Я только тех жалею, кого эти гады обидели, а их самих пусть вон Лосев жалеет, я же их душить буду, пусть лучше не попадаются».

— Что у меня в обмен водится? — переспросил Ткачук, осторожно шевеля большой рукой.

Он не очень бодро встал, прошел в угол комнаты к старенькому потрепавшемуся комоду, с усилием выдвинул один из разваливающихся его ящиков, после чего повернулся к Игорю, держа в руке темную деревянную коробочку.

— Гляди,— с показной небрежностью Ткачук протянул коробочку.

В коробочке Игорь увидел часы, большие старинные карманные часы в золотом или позолоченном корпусе — это Игорь даже не успел определить. Первое, что бросилось ему в глаза, было название фирмы на желтоватом циферблате с золочеными римскими цифрами и изящными ажурными стрелками. На циферблате значилось: «Мозер». Вот тебе и «Павел Буре»! Игоря охватила досада. Опять не то, опять пустой выстрел в темноте. Что померещилось этому чертову администратору во Внукове? Часы, конечно, старые и дорогие. Корпус, видимо, все-таки золотой. Кроме того, часы эти скорее всего тоже с какой-то кражи, которую кто-нибудь старается сейчас раскрыть. Вот как раз для такого случая в Москве и действовала одна из ЭВМ министерства, куда закладываются все сведения подобного рода, и завтра же товарищи из уголовного розыска где-нибудь в Вологде или Хабаровске узнают, что «них» часы обнаружены и ниточка от распутываемого ими дела неожиданно появилась в далеком южном городке, по такому-то адресу. Да, товарищи будут радоваться, а вот ему, Откаленко, радоваться нечему. У него новый «прокол», надо быстрее возвращаться в Москву, пока там окончательно все не «остыло» с этой проклятой кражей у Потехина.

Эти досадливые, тоскливые мысли не помешали, однако, Игорю внимательно рассмотреть злосчастные часы.

— Ну, чего молчишь-то? — спросил Ткачук.— Берешь?

— На хрена они мне,— махнул рукой Откаленко.— Не заказано. Я думал, камешки или вообще чего подороже. А это сам толкай. Ты вот что...— Он даже немного оживился.— Найди мне покупателя, по-найл? Хороший барыга у вас тут съется?

— Чего привез-то? — с нескрываемым интересом спросил Ткачук.

— Что надо, то и привез,— с ударением, много-значительно произнес Игорь и добавил: — Вернее, привезут. Если покупателя същу.

Закон оперативной работы требовал не только квалифицированного, достоверного «ввода» — это как будто Игорю пока удалось, и у Ткачука подозрения не возникло,— но сейчас необходим был такой же квалифицированный «вывод» из преступной группы, чтобы не сжечь мосты за собой, чтобы в случае необходимости снова появиться и быть

принятым или чтобы от твоего имени приняли другого, кого ты пошлешь. Такая необходимость могла возникнуть, если эти золотые старинные часы связаны с какой-нибудь кражей. И Игорь, на ходу конструируя новую версию по своему выходу из игры, сказал, кивнув на часы:

— А на это я тебе богатого покупателя найду, если желаешь. Сколько запросишь, отвалит. У нас в Москве такие суслики водятся, что за нужную сущь душу заложат и мать зарежут. Знаешь, коллекции всякие?

— Кто их не знает! — хохотнул довольный Ткачук.— Довелось там у вас тряхнуть.

Он забрал у Игоря коробочку, сунул ее в карман и, морщась, опустился на стул.

— Вижу, парень ты, Махно, вроде подходящий,— сказал Игорь,— толк из тебя будет. Но чтоб ты знал, мне нужны вещички подороже, называются антиквариат. Слышал такое слово?

— Еще скажи,— обиделся Ткачук.— Да я вещицы такие держал, что тебе не снилось. Эх, знать бы...— вздохнул Ткачук.

Секунду подумав, он посмотрел на смирно сидевшего в стороне Леху, время от времени угдливо скалившего мелкие зубы. В глазах Лехи светилось нестерпимое любопытство и жадная настороженность. Как раз последнее Ткачуку, видимо, и не понравилось. Хмурясь, он сказал:

— Давай, Поп, глянь, не нюхает ли кто вокруг.

— Марс сразу загавкает, не боись.

— Я чего сказал! — прикрикнул Ткачук.

Леха неохотно поднялся.

Ткачук проводил его взглядом и, когда за Лехой закрылась дверь, произнес с сожалением:

— Были, понимаешь, у меня еще часики. Толкнул два дня назад всего. Старинной фирмы, желтяки, с тремя крышками. Фирма «Павел»...

— «Буре»?

— Во, точно. Продешевил я с ними, кажись.

— Вернуть можешь?

— А сколько ты, к примеру, за них дашь?

— Мои клиенты сколько хошь за них дадут. Но посмотреть надо.— И тут у Игоря мелькнула новая, сразу зажегшая его мысль. Когда человек весь «заряжен» на дело, которое делает, такие мысли приходят внезапно и словно сами собой.— А деятель тот солидный, кому ты их толкнул? — спросил Игорь как бы невзначай.

— Ого! Ему еще и не то толкают.

— Камушки? — с такой естественно-нетерпеливой жадностью спросил Игорь, что на секунду даже сам поразился силе своих придуманных чувств. Видно, сказалось в этот миг, прорвалось подлинное волнение, которым Игорь был охвачен, конечно, по другой причине.

И нетерпеливая эта жадность в его голосе не скрылась от Ткачука, окончательно его к Игорю расположила и вызвала доверие: так это было похоже на него самого.

— Не камушки, а старина,— пояснил он.— Деятель тот аж опупел, как увидел. На одни очки другие надел. Потеха, ей-богу.

— А что за старина-то?

— Ну, ящичек такой...

— Шкатулка?

— Во-во! Красота-а... Но и цена, я тебе скажу...

— Тоже из Москвы? — настороженно спросил Игорь, внезапно охваченный счастливым предчувствием и на какую-то секунду забывши.

— Почему «тоже»? — сразу встревожился Ткачук.

— Да часы-то из Москвы.

— А-а,— сразу успокаиваясь, кивнул Ткачук.— Ну, точно. Из Москвы.

— И на часы взглянуть бы не мешало,— заметил Игорь.— Может, и тут ты прогадал.

— Да шкатулка не моя,— махнул рукой Ткачук.— Директора вещь.

Это была явная кличка, и чутье сразу подсказало Игорю, что за неё надо зацепиться.

— А вот часики...— вздохнул снова Ткачук.— Как бы тебе их показать?..

— Думай сам.

— Непростое дело. Не пускает к себе Терентий чужих.

— Ты же не чужой.

— Да и не родственник. От Директора пришел. Вот с той шкатулкой. А заодно и свои часики ему tolknul.

— Ну, а Директор?..— осторожно произнес Откаленко.

— Нет его сейчас.

— Ясненько. Ну, думай, думай. Тебя на этих «Буре», кажись, здорово нагрели.

Откаленко чувствовал, что не все еще потеряно, раз часы «Буре» существуют. А кроме того, появилась редкая шкатулка. И у Потехина была украдена шкатулка. Нет, нет, не все потеряно. Надо тянуть ниточку дальше, рано еще возвращаться в Москву. Впереди замаячили фигуры покрупнее, чем этот Ткачук: не только приемщик краденого, но и некий Директор.

— Может, ты меня как покупателя приведешь?

— Не-а. Прогонит,— убежденно возразил Ткачук.

— А может, как кореша и продавца?

— Тоже прогонит. Да еще Директору на меня капнет.

— Пхе! Всяких мы Директоров давили.

— Только не этого. И всё.— Ткачук сурово прихлопнул кулаком по ладони.— Директора забудь и не гавкай. А вот с Терентием... Давай так,— подумав, предложил он.— Ты где якорь бросил?

— «Южная».

— Добро. Если получится, я за тобой вечером приду или к тебе приведу.

— Во сколько?

— Как стемнеет.

Спустя несколько минут Откаленко шел, изнывая от жары, по раскаленным плитам тротуара. По-прежнему было неясно, где ему сейчас важнее находиться: здесь или в Москве. Ведь причастность Ткачука к краже у Потехина еще под вопросом, а каждая минута, потерянная в этом городе, может стоить неудачи там, в Москве, где «остывают» последние следы той дерзкой кражи. И ответственность за это несет он, Откаленко, возглавляющий розыск. Но и бросить тут все на попуги тоже нельзя.

Игорь взглянул на часы. Следовало что-то перекусить и связаться с Туркевичем.

Кабина с телефоном-автоматом стояла возле входа в магазин. Игорь набрал запомнившийся ему номер.

Капитан Туркевич, к счастью, оказался на месте.

— Привет,— буркнул Игорь, разглядывая подошедшего в этот момент к кабине человека.— Свой говорит, узнаешь? Свидеться надо.

— Идите по известному вам адресу,— сказал Туркевич, видимо, нисколько не удивленный странным тоном своего собеседника.— Я буду там через... двадцать минут.

В это время человек, стоявший возле телефонной кабины, озабоченно взглянул на часы, махнул ру-

кой и отошел. Откаленко проводил его взглядом и уже совсем другим тоном сказал Туркевичу:

— Проверьте. Вышел на скupщика, некоего Терентия. Возможно, сегодня вечером состоится встреча. Ведет Ткачук. Кто такой этот Терентий?

— Выясню. До встречи,— коротко ответил Туркевич.

Игорь повесил трубку.

Через минуту он снова плелся по залитой жарким солнцем улице, пристраиваясь в каждой очереди за газированной водой.

Адрес, который дал Туркевич, Игорь помнил, это было где-то рядом с его гостиницей. Уличка оказалась оживленной, набитой всякими магазинами, мастерскими, конторами. И в этом шумном и плотном людском потоке, захлестывавшем даже мостовую, легко было затеряться и незаметно юркнуть в любой дом или двор. Игорь, не привлекая внимания окружающих, скользнул в тесный проходящий подъезд. Освоившись с царившим там полумраком, стал подниматься по узкой лестнице.

Дверь ему открыл Туркевич.

Они прошли по короткому коридорчику в небольшую, скромно обставленную комнату со знакомым Игорю казенным, нежилым духом. В квартире не было слышно ни звука.

— Обедали? — спросил Туркевич.

— Не успел.

— Ну, давайте хоть перекусим пока.

Туркевич достал из старенького потертого портфеля термос с чаем, хлеб, свертки с колбасой и желтым кубиком масла. Все это он расставил на пыльном столе, предварительно застелив его, однако, салфеткой, и предложил:

— Подсаживайтесь. Заодно все обсудим.— Разливая чай, Туркевич сообщил: — Терентия знаем. Но подходов к нему нет. Очень осторожен. Никто ни разу на него не показал. Хотя точно знаем, принимает краденое.

— Связи выявлены?

— Кое-какие.

— Махно?

— И он,— кивнул Туркевич.

— А Директор?

— Это посеребренее. Кличка встречается, человек — нет. Ни по одному нашему делу не проходил. Видимо, здесь, в городе, не действует.

— Гастролер?

— Скорей всего.

— Да, скорее всего,— задумчиво подтвердил Игорь.

Туркевич осторожно заметил:

— Через Терентия можно, я думаю, выйти на него.

— Сначала надо на самого Терентия выйти, а это, сами говорите, не просто.

— Точно.

— И времени требует,— вздохнул Игорь.— А у меня его, считайте, и вовсе нет.

— Все равно бросать нельзя,— решительно возразил Туркевич, и в голосе его прозвучали сильные, твердые, незнакомые Игорю нотки.— Раз такая удача подвала, что на Терентия вышли. Только тут каждый шаг надо продумать тщательно,— продолжал Туркевич.— Конкретная задача у вас какая?

— Увидеть часы и шкатулку.

— И если они с вашей кражи, то что дальше?

— Дальше через Ткачука постараться выйти на всю группу. Один он эту кражу не мог совершить. И еще корешок в Москве остался: кто-то им там дал подвод на ту квартиру.

— Ясно. Наша просьба: выявить хоть какие-то связи Терентия. И особо пощупать насчет Директора. Очень неясная фигура.

— Буду помнить. Как Заморин и Кикоев, установили их?

— Проживают. В прошлом судимые. Никаких новых материалов на них нет. Вроде бы «заявляли». Сейчас их в городе нет.

Этот неторопливый разговор со стороны мог показаться даже безмятежным, но они-то понимали, как с каждой минутой обстановка усложняется.

— Можно будет сделать важный вывод, если обе вещи с кражи,— сказал Игорь.— Преступники опытные, опасные и по мелочам не работают. Вот кража у Потехина — это для них. У нас таких крупных краж давно не было. И второе. Если шкатулка с той кражи, значит, Директор — или Заморин, или Кикоев.

— Возможно,— сдержанно заметил Туркевич.

— Да нет, скорей всего,— не согласился Откаленко и предложил:— Давайте уточним мою легенду. Я буду излагать, а вы под нее копайтесь. Она пока очень условная.

Иgorь стал проникаться симпатией к этому флегматичному, немногословному и вроде бы незаметному человеку, к его опыту, знанию дела и педантичной, дотошной точности. Теперь предстояло увидеть, какая у него фантазия. Ибо сейчас они начали складывать выдуманную биографию несуществующего человека, за которого должен был выдать себя Откаленко, биографию столь правдоподобную и подходящую к данному случаю, чтобы даже самый опытный человек, вроде, скажем, Терентия, не только поверил в нее, но и проникся доверием, почувствовал в Игоре «своего».

— Откуда у тебя вот этот шрамик на левом виске? — спросил Туркевич, весьма естественно перейдя на «ты».

— Пуля разок помиловала,— усмехнулся Игорь.

— Давно?

— Года два.

— Значит, два года назад ты...

И они придумывали, что такое произошло два года назад с вором и бандитом по кличке Черный и кто тому мог быть свидетелем.

Наконец Туркевич вздохнул и заявил, приподнявшись из-за стола:

— Обалдели мы с тобой уже. И кажется, все, что можно, придумали? Так?

— Пожалуй,— согласился Откаленко.

Первым ушел Откаленко. Как уходить из таких квартир, он знал.

Было уже около пяти, когда Игорь появился в гостинице. Он прошел к себе в номер и повалился на кровать. По его расчетам, гости, если и заявятся, то не раньше, как часа через три, когда начнет хоть немножко темнеть.

Игорь прикрыл глаза. Здорово, однако, он устал. Сейчас только это почувствовал. И, оказывается, болела голова. Лежать с закрытыми глазами было приятно.

Он задремал и уже не видел, как тускнели медные жаркие полосы на потолке и стенах, как серыми сумерками заполнялась комната.

Игорь спал, подложив ладони под щеку и поджав ноги. Спал он крепким мальчишеским сном, твердое лицо его расслабилось, беспомощно расплылось, изредка шевелились полные губы, и только морщинка, вдруг возникшая между черными прямыми бровями, указывала, что и во сне время от времени мелькала тень чего-то неприятного.

Внезапный стук разбудил Игоря. Он открыл гла-

за, приподнялся на локте и прислушался. Стук повторился уже настойчивей. Игорь вздохнул, крепко провел ладонью по лицу.

— Сейчас! — ворчливо крикнул он, направляясь к двери.

Шелкнул замок, дверь распахнулась.

На пороге стоял Ткачук.

— Дрых? — весело спросил он, входя и по-хозяйски оглядывая комнату. — А ну, давай на выход. Ждут нас. — И задумчиво добавил: — Как услышал Терентий, что ты из Москвы — все, и просить не пришло. Чудно.

Всю дорогу они шли молча.

Игорь размышлял. Внезапный интерес Терентия к его персоне ему не понравился. К чему бы это? Потому что Игорь из Москвы? Ну и что? А то, что в Москве побывали и эти трое и привезли вещи. С кражи. С большой кражи, как видно. Хотя Терентию скорей всего не известно, что они там натворили. Не любят «деловые мужики» говорить про такое сторонним людям. А скупщик — человек для них все-таки сбоку, не свой до конца. И вдруг по их следам приезжает человек из Москвы. Ясное дело, Терентий насторожился. Но и жадность. У них главное — это жадность. Ведь из Москвы мечты не приедут.

Свернув в еще одну узкую пустую уличку, а оттуда в большой, совсем темный, без единого фонаря двор, они чуть не на ощупь пробрались в глубь его, обогнув четырехэтажный стандартный дом, окна которого кое-где светились. В дальнем конце двора оказался еще один дом, двухэтажный, бревенчатый, второй этаж был опоясан галереей, куда выходили двери квартир или, может быть, отдельных комнат.

По скрипучей трухлявой лестнице они поднялись на второй этаж, вышли на галерею, и Ткачук деликатно постучал в одну из дверей. Ждать пришлось довольно долго, пока за дверью послышались шаги.

— Кто там? — спросил мужской голос, как показалось Игорю, молодой и энергичный.

— Свои, — ответил явно не специальным отзывом Ткачук. — Это я, Терентий Прокофьевич.

Звякнули замки, и дверь отворилась. В тесной передней стоял высокий мускулистый человек лет пятидесяти, седые волосы красиво лежали вокруг полного загорелого лица. На нем была зеленая рубашка с короткими рукавами и светлые вельветовые джинсы с широким кожаным ремнем. Расстегнутый ворот рубахи открывал крепкую, без морщин шею. Зоркие темные глаза под седыми бровями и твердая линия рта выдавали ум и характер. Имя совершенно не вязалось с внешностью этого человека, имя тянуло к какой-то кондовой старине.

— Заходите, ребята, — добродушно, даже по-простеци, точно давних знакомых, пригласил Терентий Прокофьевич и открыл другую дверь, уже в комнату. — Прошу.

Голос его звучал сильно и уверенно.

Комната оказалась большой, просторной, с деревянным, из досок потолком, как на даче, с большим, во всю стену дорогим ковром, с картинами на других стенах. Огромный, в полстены буфет с какими-то замысловатыми пристройками, башенками, выпуклыми дверцами, цветными стеклышками напоминал средневековый замок. Возле широкой низкой тахты стояли круглый, под красной бархатной скатертью стол и рядом два тяжелых старинных кресла.

— Присаживайтесь, молодые люди, — пригласил гостей Терентий Прокофьевич, указывая на кресла у стола. — Закуривайте.



Сам он забрался с ногами на тахту, придинувшись спиной к ковру и подложив для удобства большую цветную подушку. «Ай да Терентий,— с усмешкой подумал Игорь.— Прямо шах персидский». Эта нарочитая экзотичность обстановки и манер хозяина неожиданно помогли Игорю справиться с охватившей его было неуверенностью. Если этот тип так грубо играет, то почему не попробовать и ему, Игорю: лучше — неизвестно, а уж хуже он, во всяком случае, не сыграет.

Ткачук, не выдержав скрытого напряжения этой сцены, суетливо и угодливо сообщил:

— Вот это Черный, Терентий Прокофьевич, про которого я вам толковал. Из Москвы.

— Вижу,— кивнул тот и, обращаясь к Игорю, вежливо спросил:— С чем пожаловали?

Игорь, хмурясь, исподлобья огляделся, потом остановил взгляд на хозяине и процедил:

— Берешь вещь? Толкаешь вещь? Сразу говори. За делом пришел, не в гости.

Терентий Прокофьевич улыбнулся и просто ответил:

— И беру и толкаю.

— Тогда третий лишний,— заключил Игорь и обернулся к Ткачуку:— Слыши, Махно? Давай топай. За мной не пропадет. Завтра встретимся где сегодня.

Ткачук растерянно посмотрел на Терентия Прокофьевича. Тот кивнул в ответ.

Когда Ткачук ушел, Игорь сказал:

— Надо думать, вы от него,— он показал на дверь,— все обо мне знаете, что требуется. И можно, значит...

— Не все,— спокойно перебил его Терентий Прокофьевич.

— Чего ж еще?

— С кем вы в Москве познакомились?

— Ну, с Махно. Олегом представился,— усмехнулся Откаленко.

— А еще?

— А еще с двумя.

— Как познакомились?

— Значения не имеет. Имена-то вам чужие.

— Откуда знаете?

— Догадываюсь.

— А не милиция шепнула?

— Что, на мильтона похож? — снова усмехнулся Игорь, хотя неожиданный поворот разговора ему не понравился.

— Похож,— не сводя с него глаз, подтвердил Терентий Прокофьевич.

— Тогда зачем раскрываться насчет «беру» и «толкаю»?

— А милиция все равно знает,— пожал плечами Терентий Прокофьевич.— Доказать только не может. И никто этого не сможет, вот какой фокус.

— Та-ак,— протянул Игорь.— Ну, раз я к вам в доверие не вошел, то и делов у нас никаких не будет, я так понимаю?

— Не совсем. Любовь еще быть может. Доказывайте.

— Чего ж доказывать?

— А что вы не из конторы.

— Интересное кино. Как же мне доказывать? Первым толкнуть, что ли?

— Ну, хотя бы.

— Конечно, кое-чего я показать могу.

Из внутреннего кармана пиджака Игорь достал несколько цветных фотографий. Передавая их Терентию Прокофьевичу, он с легкой ironией сказал:

— Любоваться можете бесплатно.— Потом снова откинулся на спинку кресла и, задумчиво глядя в потолок, добавил: — Вообще-то пить надо с умом. Золотое правило. А у нас в Москве приезжим и вовсе пить не рекомендуется. Неровен час...

— Это вы про кого? — рассеянно спросил Терентий Прокофьевич, разглядывая фотографии.

— Да про Махно вот и... про Директора. Терентий Прокофьевич поднял голову.

— И с ним познакомились?

— Вроде бы познакомились...

— Что же в Москве случилось?

— Наследили сильно. Нельзя так у нас.

— Что ж они там натворили, паскудники, интересно знать? — насторожился Терентий Прокофьевич, не выпуская из рук фотографии.

— Хвалились под пьяную руку, что...

— Где пили? — резко оборвал его Терентий Прокофьевич, и глаза его под седыми бровями налились льдом, он уже не отрываясь смотрел на Откаленко.

— Точно сказать?

— Точно.

— В гостинице аэропорта Внуково. Неделю назад. Набухарились. Себя потеряли.

— Похоже, — зло произнес Терентий Прокофьевич. — Дальше что?

— А дальше, я и говорю, хвалились под пьяную руку, что, мол, хорошую квартиру взяли, богатейшую. Да получилось вроде не по их вине, что трупик нехороший там остали.

Игорь фантазировал сейчас по какому-то наитию, словно нащупывая впомыках мелькнувшую на миг щель.

— А вы, значит, поверили? — криво усмехнулся Терентий Прокофьевич, сложив фотографии и продолжая вертеть их в руке.

— Зачем? Мы проверочку сделали.

— Чего-что? — удивленно и подозрительно переспросил Терентий Прокофьевич.

— Пока те наш конькяк жрали, мы адресок-то из них вытянули, — хвастливо сказал Откаленко. — Ну, и утреckом туда намылились.

— Странно, — помолчав, произнес Терентий Прокофьевич. — Весьма странно. — Он испытующе посмотрел на Игоря.

— Чего странно-то?

— Что сунулись в такую горячую точку. Не побоялись ошпариться. Зачем совались-то?

— Был расчет. Больно уж много в той квартире осталось. Ну, мы и решили на звонок проверить, пусто там с утра или нет. А тут дочка.

— Выходит, плохо подумали?

— Мы-то что, позвонили и ушли. Вот вы не подумали, я гляжу, это да.

— Вы думаете, что говорите? — строго произнес Терентий Прокофьевич.

— А как же? Принимаете вещи с мокрого дела. Звона не боитесь.

— Это кто же вам на хвосте принес?

— Да хоть Махно. Он мне те рыжики еще в Москве совал. Фартовая вещь, не спорю. И по бросовой цене. Но я лично обошел их стороной, не запачкавшись. Мне свобода дороже. А вот вы, выходит, соблазнились. Да и Директор вас тут крупно подвел.

— И он?

— И он.

— Так, так. Что дальше?

— А дальше не мое это дело. Теперь от вас я и те шмотки принять могу.

— Почему же?

— Через ваши руки прошли, — усмехнулся Откаленко. — Они меня от того мокрого дела отделяют, от трупа того, что пахнет.

— Грубо, Черный. Грубо. Где воспитывались? — поморщился Терентий Прокофьевич.

— Там меня уже нет.

— И все равно грубо. Вы что, меня на испуг хотите взять? Дешевле отдаэм, думаете?

— Что я думаю, то при мне. А что вы думаете, меня не касается. Я желаю кое-что толкнуть, — Игорь кивнул на фотографии, — и кое-что купить. И на всем заработать чистенько.

— И на тех часиках от Махно думаете заработать?

— Ясное дело.

— А я, знаете, сколько с вас за них потяну?

— У нас есть психи, которые от меня их за любую цену примут. Вот только те ли это рыжики, что я в Москве у Махно видел?

Терентий Прокофьевич по-прежнему пристально, с интересом рассматривал Игоря. Помолчав, он чуть загадочно произнес:

— Показать можно. Только сначала хочу предупредить. У меня фотографий нет. У меня живой товар. И дела вести с вашим братом я умею. Поэтому шутки шутить не советую. Хоть вы молодой и красивый, мне вас жалко не будет.

— Еще через один трупик не боитесь переступить?

— Если вы не побоитесь им стать. Впрочем, не тяните меня на глупый разговор. Я только предупредил. Хотя от вас... М-да... от вас я таких шуток не жду. Именно таких.

— А каких ждете?

— Поглядим, поглядим. Может быть, вы вообще человек серьезный. Тогда и разговор у нас будет серьезный. А пока могу показать вам те часики. Это самое простое.

Он как-то по-земному соскользнул с тахты и подошел к огромному буфету. Сначала открыл одну дверцу, затем другую, пошарил там рукой и из какого-то совсем другого ящика вынул небольшую коробочку. После чего он вернулся на свою тахту, снова забрался на нее с ногами, скинув пушистые домашние туфли, и, устроившись там поудобнее, протянул наконец коробочку Игорю.

— Прошу, взгляните.

Игорь открыл коробочку и с большим трудом сдержал охватившее его волнение. В коробочке лежали золотые часы «Павел Буре», украшенные у гражданина Потекина. Да-да, те самые! Игорь мог поручиться. На это указывала хотя бы вон та щербинка на циферблате возле цифры «12» и еще две вмятинки на корпусе. Игорь взял часы в руки, открыл одну заднюю крышку, за ней вторую. Ну, конечно! Вот выцарапанный крест, вот еще одна вмятинка, вот другая.

Руки у Игоря слегка вспотели. Он осторожно сунул часы в коробочку и положил на стол.

— Сколько?

— Успеется. Узнали?

— Те самые.

— Точно?

Что-то в словах Терентия Прокофьевича показалось Игорю настораживающим. Он даже не мог бы это объяснить. Что-то в интонации, в быстром оценивающем взгляде, в плавном движении рук. Да, Игорь уловил неясный сигнал тревоги.

— А не желаете ли взглянуть еще на одну вещь? Отдам вместе с часами.

— Желаю.

— Превосходно.

Терентий Прокофьевич с прежней живостью со скользнул с тахты и снова подошел к буфету. Он открыл одну за другой две застекленные дверцы, одну выше, другую ниже, внутри буфета что-то щелкнуло, и сами собой распахнулись тяжелые темные дверцы у самого пола. Терентий Прокофьевич достал оттуда довольно большой картонный ящик, откинул верхние крышки и вытянул завернутый в цветную салфетку непонятный предмет. Как ни заинтригован был Игорь содержимым картонного ящика, он все же еще раз окинул взглядом странный буфет. Интересно было бы в нем порыться — какие еще он таит в себе сюрпризы?

Между тем Терентий Прокофьевич поставил сверток на стол перед Игорем и развернул салфетку. Игорь увидел шкатулку. Ту самую шкатулку!

— Это принес мне Директор,— любезно пояснил Терентий Прокофьевич.— Узнаете?

— Да... Хороша-а...— восхищенно и чуть поспешно произнес Игорь.

Терентий Прокофьевич усмехнулся.

— И все-таки ваше «да» я отношу к моему вопросу, а не к вашему восхищению,— сказал он.— Прошу учесть.

— Мне-то что. Относите, куда хотите.

И все-таки это неважно получилось у Игоря. Длинный трудный разговор он вроде бы провел неплохо. И вдруг один короткий неожиданный вопрос, один поспешный досадный ответ, и этот старый змей, кажется, уловил его, Игоря, промах. Конечно, уловил.

Игорь не подозревал, что уловил Терентий Прокофьевич гораздо раньше. Последний промах гостя был только окончательной точкой. И все это время Терентий Прокофьевич лихорадочно сообщал, как ему поступить. Уж он-то знал своих друзей как облупленных, особенно такого давнегого, как Директор, или просто Сенька когда-то. Он их всех хорошо знал и видел путь, какой они, и в частности Сенька, проходят. Опасный путь, который не прервали судимости и «отсидки». До поры этот их путь вполне устраивал Терентия. Все лучшее и самое дорогое плыло к нему за бесценок. Много чего плыло. Но теперь Директор стал звереть, его действительно потянуло на кровь. Он стал бояться. Вот в чем дело. Это Терентий ясно видел, этого он больше всего сейчас опасался. И друзей сбрал вокруг себя Директор соответствующих. Махно еще сопляк, а вот Арпан — тот зверее Сеньки. И то, что они натворили в Москве и в чем не признались Терентию и тем сильно его подвели, то вполне должно было когда-нибудь случиться. И этот вот человек появился тут не случайно. Он пришел по их следу. Так что же, отдать Сеньку? Или не отдавать? Жалко до смерти. Но избавляться надо. И спасать себя тоже надо. У Сеньки это последнее дело, если там труп. У Арпана тоже. А у него, у Терентия, какой интерес оказаться рядом в таком деле, хоть и на третьих ролях? У него-то все чисто, мало ли что на него думают. Доказать надо. Так, может, отдать? Может, хватит, наглотался? Ясно только, что с Сенькой надо немедленно завязать, оборвать. От Сеньки надо избавиться. Любой ценой. Любой!

Терентий Прокофьевич испытывающе посмотрел на Откаленко. Он сильно волновался. Слишком много сейчас ставил на карту.

— Вам-то что? — переспросил он.— Вам есть что. Делаем так, — и даже приподнялся на тахте.— Ди-

ректор здесь, в городе. Арпан с ним. Махно вы знаете. Две вещи с того дела — вот они.— Он кивнул на стол.— И хватай ваньку валять, Игорек.

— Как это понимать? — У Откаленко вдруг тонко заныло под ложечкой.

— А так. Я, Игорек, старый воробей, меня не то что на мякине, на самой хитрой сказке не проведешь. А ты рассказал мне не самую хитрую, учи. Так вот, две вещи. Одну, эти часики, ты завтра утром у Махно найдешь. Вторую найдешь у Директора.

— Тоже утром?

— Да. Адрес дам.

— А третий?

— Арпан? Он там же. И другие вещи с того дела тоже там.

— А вы сами, Терентий Прокофьевич, хотите сказать мне «прощай», так, что ли?

— Ты, я смотрю, догадлив.

— Ладно,— помедлив, согласился Игорь.— В котором часу эти вещицы там будут?

— Еще до утра.

— Ладно,— повторил Игорь.— Но учтите...

— Все учел,— нервно оборвал его Терентий Прокофьевич.— И объявляю: конец. Все, завязываю. Слово даю.

— Положим, слово ваше...

— Тоже учитываю. И тем более его буду держать. Из чувства самосохранения.

— Что ж, оно у вас развито, я вижу,— усмехнулся Игорь.— Давайте адрес. Если соврете, пеняйте на себя.

— Будьте спокойны. Прежде всего я люблю комфорт. Пишите.

Ранним утром на дальней уличке при выезде из города, в мирном, солнном, стандартном доме, в квартире на первом этаже тихо, быстро, без всякого шума и выстрелов группой во главе с Откаленко было взято два человека. Хотя неприятности легко могли и возникнуть: у одного из этих людей был обнаружен наган. Его владелец просто растерялся от неожиданности. Он, еще сонный, открыл дверь на робкий звонок Откаленко и был мгновенно сбит с ног. Игорь четко представлял себе, с кем имеет дело.

А в двенадцать часов на свидание с Ткачуком явился капитан Туркович, притом не один. Впрочем, и Махно не думал сопротивляться. Все произошло слишком неожиданно.

(Продолжение следует.)



ПАМЯТЬ

В залах Музея истории Ленинграда есть маленькая экспозиция, которая не отличается особой яркостью, но неизменно привлекает общее внимание.

Здесь документы, фотографии, странички из дневника, боевые награды девятнадцатилетней ленинградки Тани Росоповой. И еще — несколько фронтовых писем девушки. Все это — результат разысканий научного сотрудника музея З. Г. Пищевець.

Эти письма она писала родным на Кавказ, в Теберду с Ленинградского фронта, где ей пришлось воевать.

Таня ушла на фронт со второго курса юридического факультета Ленинградского университета. И сначала — по молодости лет — ее держали в штабе, работала машинисткой. А потом санитарка, санинструктор, курсант, командир пулеметного взвода. Почти каждый день передовала, и в короткие передышки между боями нелегкие походы в тыл, в блокадный город, в родной дом, куда Таня ходила, чтобы поддержать словом, а чаще — скромным солдатским пайком старых знакомых.

Читаешь письма — в них суровые приметы времени. Все живо видится, словно прокручиваются тог да отснятый фильм. И поразительна интенсивность писем. В них неиссякаемый оптимизм, зрелость мысли, простота и точность суждений. Все идет как надо!

А как было на душе, — всегда ли ровно, спокойно?

Только одна запись, сделанная Таней в дневнике. Запись для себя:

«Сегодня я потеряла навсегда своего любимого Павлика — больше его нет. Счастье, зачем ты меня оставил?.. Пока я дошла с передовой, его не стало, писать нет сил...»

А в письме родным того же дня — спокойный, сдержанний тон...

У девушки, взявшей на свои хрупкие плечи груз войны, достало нравственных сил, чтобы в страшную для себя минуту поддерживать в далеком тылу высокий дух и веру в успех.

Вот какое это было поколение, многие из которого не дожили, не долюбили, но помогли Родине выстоять и победить.

Таня из этого поколения.

ЕЙ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ...

23/I-43 г.

«Папочка, дорогой!

С тех пор как наши войска гонят немца с Кавказа, у меня снова надежда, что, может быть, дойдут наконец мои письма. С месяц тому назад я послала одно письмо, теперь пишу второе, тем более что уже освобождены наши места, а здесь у нас радость тоже великая, прорвана блокада Ленинграда, о чем вы, конечно, знаете.

Это письмо пишу вечером, на дежурстве, сидя с коптилкой. Но это еще не все. Сейчас мы на бивачном положении, живем предстоящими событиями — кругом слышны выстрелы и разрывы снарядов, беспрерывное жужжание моторов, а впереди неизвестность.

В голове одна мысль — скорее бы все это кончилось, чтобы, если суждено, увидеть всех вас и снова быть вместе...

Недавно 2 раза была у Петровых. Бабушка умерла 8 октября, о чем я писала в первом письме, от голода.

...Я, чём могла, им помогала, но теперь не знаю, будет возможность ездить или нет, сейчас у меня обстановка переменилась. Живем полной боевой жизнью, расширяем прорыв блокады, гоним поганого немца...

Я себя чувствую хорошо, особых перемен нет. Временами работаю машинисткой в штабе, но основное — санинструктор...

Пока все. Жду с нетерпением и беспокойством писем от вас. Где мама и Слава, уехали они во время? Целую крепко, крепко, мои милые, и жду от вас сообщений.

Любящая ваша Тайка».

«Здравствуйте, дорогие мои!

Вашу открытку с поздравлением получила, за что сердечно благодарю. 2-го была в бою. За эту операцию представлена к награде. Чувствую себя хорошо. Павлика не вижу уже 4 дня и не знаю, где он. Пишите чаще, целую крепко.

Таня».

20/V-43 г.

«Милая моя, редкая сестренка!

Получила я наконец от тебя дорогую весточку из ущелья. Знала бы ты, как я рада!

Мои вы дорогие! Сколько приходится страдать и переживать из-за этих проклятых извергов! Но час расплаты близок, и они получат по заслугам. Мстить за страдания Родины, за своих родных и близких мы готовы. Недаром я пошла и на курсы средних командиров. Мне в нашем полку всегда говорили, что мне только командовать, а я отвечала по-чапаевски: «Надо малость подучиться, тогда и в мировом масштабе можно...» Вот теперь и учусь, буду командиром пулеметного взвода. Тогда уж мы докажем фрицам силу русского огня. Правда, это им уже доказано и под Сталинградом, Ростовом, Москвой и под Ленинградом,шу а скоро им вообще некуда будет деваться.

Так вот, я учусь снова. Живу в городе, бываю иногда у Петровых, иногда кто-нибудь из них у меня. 18-го приехала из своего полка, куда ездила на 3 дня по делам. Встретили меня там, как родную, во всех подразделениях. Вспоминали прошлые бои и разведки, когда действовали вместе. Правда, многих нет уже, но те, кто остался, дороги, как родные, потому что с этими людьми было пережито много тяжелых минут и лишений. А знаешь, как говорит пословица, «Друзья возятся в беде», так и здесь, на фронте, люди сживаются и делаются родными и близкими, тем более те, кто вернулся из госпиталя, они были вынесены с поля боя мной или др. девушками, а такие вещи не забываются.

Да, ты спрашиваешь, что за должность санинструктор? Это, ну, как бы командир санитаров, которые выносят раненых. Он руководит на поле боя выносом раненых в укрытие, там их перевязывает, а потом отправляет дальше для оказания необходимой помощи. Санинструктор находится на передовой с бойцами, а если часть не в бою, то следит за санитарным состоянием своего подразделения. Вот, в общем, обязанности санинструктора. Я пробыла на этой должности 8 месяцев. За это время много, много раз была в разведках, была на прорыве блокады Ленинграда, за что меня наградили медалью «За отвагу». Представляли еще к ордену «Красная Звезда», да потом наградные материалы в связи со всякими переходами затерялись, да так все и пропало. Дело, конечно, не в этом. Главное, что свое дело я выполняла честно и лучшая награда для меня — это память у людей. Еще и сейчас в полку получаю многие письма из госпиталей, где бойцы и командиры спрашивают, где я, что со мной, беспокоятся, жива ли я. Многих из них я собственноручно вынесла, не говоря о риске и трудностях, многих перевязывала.

Когда я уезжала из полка 18/V опять на курсы,



На снимке: Таня незадолго до начала войны.
(Фото из архива
Музея истории Ленинграда).

то мне все дали наказ учиться и возвращаться скопа в свою часть, чтобы опять бить врага вместе.

Теперь ты спрашиваешь о Павлике. Это вовсе не таинственная личность, как ты пишешь, а человек, который, если бы был жив, был бы замечательным другом и вы тоже его любили бы. Мы с ним познакомились на фронте в 1942 году. Часто вместе бывали в разведках, вместе переносили лишения и трудности. О вас он знал по моим рассказам и письмам и видел на фото у Петровых. Тетки любили его, как и меня, так как он этого стоил. Мы с ним мечтали, когда кончится война, поедем к вам в гости, потом я буду кончать институт...

Да вот видишь, не сбылись эти мечты. В полку его все тоже любили очень как откровенного и отзывчивого человека. Он всегда помогал бойцам, делился с ними всем, что есть, и когда он был убит, то они приходили ко мне с желанием хоть чем-нибудь помочь мне в моем горе. Тогда в тяжелых условиях боевой обстановки они сделали гроб, вырыли могилу, сделали памятник. Знаешь, Валюша, чтобы все это понять, надо пережить, а переживать такие вещи очень, очень тяжело. Лучше их и не знать.

Я рада за тебя, что ты не теряешь даром времени и готовишься — правильно делаешь. Надо кончать десятилетку, не теряя ни одного года, а там видно будет. Придется ли мне дальше учиться, не знаю, но, во всяком случае, если буду жива, тебе и Славе эту возможность дам, так как без этого в жизни нельзя. А папе и маме надо беречь здоровье, ведь их возраст уже не молодой. Только ты (да и Славу учи) слушайся их, ведь нервы у них истрачены из-за переживаний и за нас и за вас.

Тоёе письмо я получила в полку, когда ездила, и читала вместе с Петровыми. И я и они нашли, что ты уже довольно развитая девочка, только вот не можем себе представить, как выглядишь, все кажется, что такая, как я оставила тебя, уезжая.



На снимке: Таня Роспопова — командир пулеметного взвода.
(Фото из архива Музея истории Ленинграда).

Ну пиши чаще и подробнее, как живете и о своих успехах. Жду письма и от Славуськи-плутишки. Что-то он забыл, даже не пишет ничего. Я тут заготовила ему целый костюм военный, да беда, что никак не доставить. Будьте здоровы, мои дорогие. Целую крепко, крепко.

Привет от Петровых.

Ваша Тайка».

11/VI-43 г.

«Папуля, родной мой!

Очевидно, письма идут или очень долго, или не доходят, так как от вас я абсолютно не получаю писем. Учусь я по-прежнему на курсах средних командиров... На этих курсах, пап, я уже писала, мы 6 месяцев. Окончим не раньше октября—ноября. Вижу Петровых, изредка бываю у них. Недавно была вторично у себя в части, побывала на передовой, в блокгаузах, обошла все знакомые дорожки. Надо сказать, что здесь, в городе, я очень скучаю не только оттого, что другая обстановка, но и оттого, что там без меня бывают разведки, ребята ведут

истребления, а меня там нет. Я, пап, приехала в часть, там, несмотря на усталость и даль, не усидев всех толком, помчалась за 16 км в блокгауз, где есть ребята, с которыми я бывала в бою. Между прочим, привезла оттуда чудесный букет ландышей, которых там очень много. Но и комаров тоже цепкие тучи, так что от них нет никакого спасения. Писем, как нарочно, нет ни от вас, ни от Нади, ни от Наташи. Правда, я получаю их из части, из госпиталей, но это все не то. А в основном жизнь идет спокойно. День проходит в занятиях, иногда слушаем лекции, смотрим кино или идем в театр. Но в это воскресенье, то есть 13-го, нас никого никогда не отпускают за то, что провинились. Как видишь, держат нас крепко, стремясь воспитать дисциплинированных командиров. Правда, мне сравнительно легко, так как я привыкла до некоторой степени контролировать свои поступки, а сравнивая себя с другими вообще, в отношении внутренней дисциплины думать не приходится, так как мы, несмотря на свободу нашего воспитания, все-таки усвоили это с детства. Тетя Оля и то говорит, что удивляется, что хотя мы и росли довольно самостоятельно, у нас выработались такие черты, которые не всем прививаются даже воспитанием. Но я, конечно, от этого не деру нос кверху, так как этим все же мы прежде всего обязаны вам с мамой, с меня достаточно сознания, что то, над чем надо другим работать, у меня есть... Ну, я, кажется, слишком расфилософствовалась. Вчера получили медали «За оборону Ленинграда», теперь у меня 2 — первая «За отвагу». Кстати, получили ли мои письма, причем одно с фотографией, и 3 перевода на суммы 300, 100, 250. Описывай, как живете, работаете, что делает мама и дети? Посадили ли огород? Да, еще вопрос: цела ли машинка и где она, а то я здесь тоже иногда работаю, чтобы совсем не забыть, а в будущем она может пригодиться. Пусть, если есть возможность, то Валя учится тоже. Пиши же, а то ты что-то совсем меня забыл! Пишет ли Надя? Привет от Петровых.

Целую крепко,
твоя Тайка».

8 марта 1944 года

«Дорогой мой папулька!

Давно я тебе не писала, а еще дольше не получала твоих писем. Сегодня наш женский праздник. Его я в этом году встречаю накануне боевых действий, в лесу, в шалаши у костра. Вот и сейчас сижу одна, все ушли на занятия — тренировка. Я утром провела занятия по политподготовке по приказу Сталина № 16 от 23 февраля. Придя, растопила снегу, я и старшина роты вымыли головы, да вот, пока есть время, хочу поделиться своими делами и с тобой, мой милый папка. Где-то недалеко бьют по немецким самолетам, которые кружатся в небе. А здесь покой. Так и пахнет весной! Солнце пргревает, лес кругом сосновый, смолистый, так и пахнет. Только бы любоваться да наслаждаться природой, а тут не до того, воевать надо. Письмо это я тебе пишу из моей новой части, куда я прибыла после 7 дней пути, 4 из них все пешком по 35—40 км в день. Часть эта носит название НОВГОРОДСКОЙ, освободила город Господин Великий Новгород. Я командир пулеметного взвода, кроме того, патрорт роты. Здесь, как и везде, для меня сразу нашлась работа, ну, да ничего не поделаешь, надо. Кроме этого, член бюро батальона. С наших курсов

сюда нас попало две, да и то случайно, так как когда взвод посыдали, то мы с этой девушкой были за Кингисеппом. Но это еще и лучше. Нас приняли хорошо, командование, кажется, неплохое, а все остальное зависит от нас. Покажем себя в боях, значит, присвоят и звания, а пока нас только величают мл. л-тами, так как погоны-то носим с проповедями. Сегодня у нас при медсанбате будет вечер для девушек части, куда приглашены и мы. Перед тем как начать писать, перечитывала все новости в газетах, так как, во-первых, много интересного, а во-вторых, надо быть готовой ответить на любой вопрос, интересующий бойцов.

Вот уже пришли с занятий, сейчас хлопоты по поводу бани, обеда и т. д. Посмотрел бы ты, как живем мы! Это еще хорошо, а то и просто в снегу спим, сидим, мокрые, замерзшие. Но война к чему не приучит, со всем свыкаешься.

Пока это и все мои новости и происшествия. Будет время, буду писать чаще, а пока ждут дела. Пиши по адресу: полевая почта 77800 С.

Всех крепко целую.

Твоя Тайка.

12/III-44 г.

«Здравствуйте, мои дорогие!

Хотелось бы написать очень, очень много, но нет ни времени, ни условий. Уже много дней в движении и днем и ночью, не встречая на своем пути ни одной деревни. Уже три дня, как я на эстонской

земле, близ Нарвы. Завтра идем в бой, а пока вот сейчас было совещание парторгов о задачах в бою. Сижу в палатке к-ра батальона и пользуюсь тем, что горит коптилка, пишу это письмо. Сейчас надо идти получать новые пулеметы, готовить их к бою, так как каждую минуту может быть приказ на выход. Сегодня после большого перерыва, то есть с прошлого года, снова была под артобстрелом.

Чувствую себя хорошо, настроение хорошее. Прощу только за меня не беспокоиться, буду жива, встретимся, а нет, значит, такова судьба.

Пока целую всех.

Ваша Тайка».

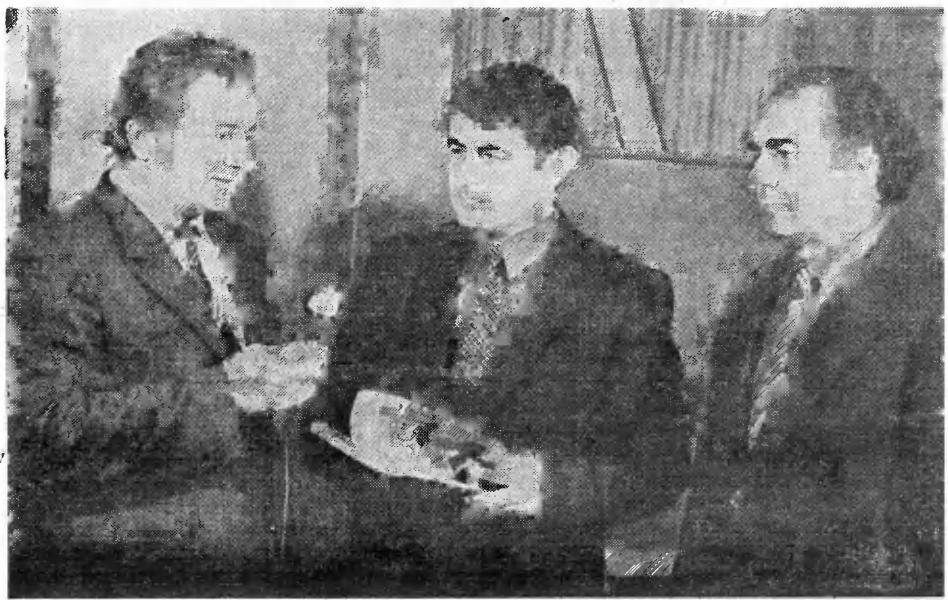
☆☆☆

Это — последнее Танино письмо. 17 марта 1944 года она погибла под Нарвой. Очевидцы рассказывали, как это было. Бой шел у местечка Синемяэ. Таня была легко ранена, но в тыл не пошла — осталась со своим взводом и подняла его в очередную атаку. Ее так и нашли — с гранатой в руках. Таня не успела бросить гранату, упала, сраженная осколком.

Посмертно она была награждена орденом Отечественной войны II степени.

Ее именем названа дружина школы в Синемяэ. Ежегодно в день гибели Тани здесь проходит традиционный сбор.

На эстонской земле свято чтут память ленинградской комсомолки Тани Ростоповой.



В десятом номере журнала за прошлый год в разделе «Память» были опубликованы фронтовые письма замечательного сына азербайджанского народа Наджафа Эминбейли, погибшего в 1943 году. Вскоре после публикации в ЦК ВЛКСМ состоялась встреча, на которой сын героя Заур Эминбейли передал секретарю ЦК комсомола Александру Колякину письма отца, его ком-

сомольский билет. Эти документы — новое пополнение Всесоюзного хранилища фронтовых писем.

На снимке: после передачи документов в хранилище (слева направо) — заведующий Центральным архивом ЦК ВЛКСМ Виктор Шмитков, журналист Ахмед Исаев, сын героя доктор технических наук Заур Эминбейли.



Раскроем книгу

СЕМЕН
ГЕЙЧЕНКО,
директор
Музея-
заповедника
А. С. Пушкина

Фото
П. Кривцова



У ЛУКОМОРЬЯ

Музей-заповеднику А. С. Пушкина в Михайловском в марте нынешнего года исполнилось 60 лет. Более половины этого времени заповедник находится под началом Семена Степановича Гейченко. Уже дважды издавалась книга его очерков об этих местах, которую он назвал «У Лукоморья». Семен Степанович продолжает работу над новым изданием книги, очерки из которой мы предлагаем нашему читателю.

«ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»

Михайловское — это не только памятник историко-литературный, это и своеобразный памятник природы. Его площадь — это не только те 750 гектаров, которые юридически закреплены за Музеем-заповедником А. С. Пушкина, но и огромная окрестная охранная зона. В нее входят бывшие поместья Ганибала и других помещиков — знакомых Пушкина: Январское, Батово, Воскресенское, Лысая Гора, Дериглазов и т. д. На этой территории находится все типичное для Псковицыны, для природы северо-западного края нашей Родины — озера, реки, болота, леса, овраги и поля, а в них все виды растений, птиц, зверей, свойственных географическим и климатическим условиям местности.

Заповедник — это парки разных стилей, это рощи разные-разные (березовые, дубовые, еловые, сосновые, ольховые). Это бор, местами труднопроходимый, как сказочный. В нем зоркий глаз встретит все, о чем Пушкин говорит в своих сказочных стихотворениях. В песне-сказке о медведихе Пушкин перечисляет живущих в его лесном царстве «зверей больших и зверишек малых»: тут и волк и бобр, белочка и лисица, горностай и байбак, заяц и еж.. И все это сегодня есть в Пушкинском заповедном царстве. Человек здесь встретит барсука, кабана, лисицу, белку, енота, зайца, горностая, норку, куницу, дикую козу, ондатру. Здесь часто пробегает волк. Проходом в глубь области пасутся лоси, не так давно молодой лосенок в течение нескольких месяцев содержался на конном дворе заповедника вместе с другими животными.

По берегам озер, реки и ручьев поиздаются коростели, дупеля, бекасы, дикие утки. Среди них есть такие, которые делают себе гнезда не на земле, а на деревьях. Здесь живут выдры, ондатры. Речкой бобр, которого пытался развести здесь сын поэта заядлый зверовод Григорий Александрович Пушкин,

не ужился, хотя в народе ходят назойливые слухи о том, что бобр здесь все же водится...

Исклучительно богато царство пернатых. В своих новеллах, посвященных птичьему царству Михайловского, я попытался об этом рассказать подробно. Здесь озера, река Сороть и мелкие речушки истари богаты рыбой — язем, щукой, линем, карасем, лещом, окунем, шелеспером, плотвой. Изредка попадается сом и налим. Когда-то рыбоводством здесь занимались Ганибалы. В усадьбах Михайловского и Петровского у них были даже свои «рыбы садки», в которых выращивались малыши разной рыбы. В 1951 году один из рыбаков деревни Дедовцы поймал щуку, в губу которой было вделано серебряное кольцо, на котором можно было рассмотреть следы ганибала родового знака, а не так давно был пойман сом полтораметровой длины.

А вот какие случаи были совсем недавно...

В один из прекрасных летних дней во время прохода экскурсий по дому-музею, как говорится, «при всем честном народе», в кабинет поэта влетел соловей, сел на оконную занавеску и запел. Пел долго, заливался. Весь народ застыл в сердечном умилении, некоторые заплакали, а соловей все пел и пел...

В другой раз чай-то большой пес забежал в домик няни, залез под печку и сладко-сладко уснул. Смотрительница музея не заметила этого, а посетители домика смотрели и думали, что это так и нужно, что это подобие пушкинского пса Руслана, о котором экскурсовод только что рассказала им в залыце дома Пушкина, где висит портрет этого пса. Иные посетители жалкому бездомному дворняге даже конфетки кидали... Лишь я сам все это видел, а вот леших, домовых и русалок до сих пор мне видеть не пришлось. Многие же экскурсанты меня клятвенно заверяют, что они видели!

БЕЛИЧЬЕ ГНЕЗДО

В осенние дни в Михайловском часто дуют сильные ветры. Они ломают стволы старых деревьев, вырывают их с корнем, причиняют другие беды паркам и рощам.

Как-то порушил такой ветер старую ганиболовскую липу, поломал, повалил ее на землю. Стали ее убирать. В ней оказалось два дупла: в одном — большой пчелиный улей с прекрасным медом, в другом — беличье гнездо. Белка очень хорошо подготовилась к зиме. Дупло было большое, теплое, с понтыкаными во все стеки паклей, беличьей шерстью и пухом. В одном уголке лежали сушеные грибы, в другом — орехи, в третьем — яблоки.

Отрезали мы кусок ствола с ульем и отправили его в амбар, где зимует пчелопаска заповедника, отрезали другой — с беличим гнездом — и прикрепили его к столбу деревянной ограды, что стоит неподалеку. Первое время белка боялась подойти к своему обновленному дому, бегала вокруг да сколо него, а потом все-таки решилась: уж больно хороши были в нем продуктовые запасы.

«ТАМ ЧУДЕСА...»

В одной из своих новелл («Чудесная книга») я рассказываю о том, как на усадьбе Михайловского, в пруду, что у «Острова Уединения», поселилась еыдра и вывела пятерых выдрят и что получилось, когда один из московских фотопротеров захотел сделать снимок ее семейства, и чуть не до смерти перепугал гостившего в той светелке известного поэта горностай, устроивший себе жилье под полом. Подобные истории случаются здесь нередко. Как во времена Пушкина, тут бывают чудеса — по ночам лешие в лесу бродят, в яблоневом саду домовые шуршут, в «пруду под ивами» русалки купаются.

БЛАГОДАТЬ

Зима на пушкинской земле бывает капризная — «то как зверь она завоет», то такими снежными сугробами все занесет, что еле-еле доберешься до Михайловской усадьбы. У дома Пушкина сугробы высотою в два метра и выше. Холодно. Куда-то попрятались все птицы. И только в домах, где люди, тепло. Теперь в Пушкинских горах и в округе их печи не только дрожащие, как то было при Пушкине, но и газовые, электрические, паровые...

А у птиц все, как было встарь. Для них такая зима — беда! Все в снегу: и земля, и деревья, кусты, и кормушки — все похоронил снег...

У меня дома свое птичье царство. В нем не только воробы, голуби, утки, но и поползни, синицы, дятлы, сойки и... «золотой петушок». Петух осознанно боится морозов. А мой петух не простой, а «ученый» — «пушкинский», летом все им любуются... Вот я и решил благоустроить его вольер: обил стены дерюгой, на пол положил соломенный тюфячок, двери обил войлоком, провел внутри электричество. Лампочка большого накаливания не только светит, но и греет петушиную хибарку. В стекле домика я сделал дырку — вентилятор с задвижкой. Благодать!

Стал мой «золотой» жить в полном благополучии. Узнали про его блаженство местные воробы, ютившиеся под застreichой дома моего, и начали залетать в вольер через «вентилятор». В петуховой хибарке не только тепло и светло, в ней и кормушка с зерном, с хлебными крошками и кринка с теплой водицей... Сперва прилетел воробышок-разведчик, а за ним и целая стая. Петя против гостей не возражал. Одиночество ему было в тягость... А тут целая стая веселых пичуг.

Первоначально, когда я утром приходил в вольер, чтобы его почистить и накормить хозяина и гостей, соробышки забивались от страха в угол, под пото-

лок. Потом привыкли. Как только открывал я утром двери, все хором кричали: «Здравствуйте, Семен Степанович, здравствуйте!»

— Ну, как вы тут живете? — спрашивал я.— И все хором мне отвечали: — Дружно, дружно.— А Петя радостно кричал: — Ку-ка-реку!

А. С. ПУШКИН И ДЕТИ

Среди псковских знакомых Пушкина были не только взрослые, но и дети. Он хорошо знал всех дворовых девчонок и мальчишек Михайловского и многих деревенских ребятишек Тригорского. Летом ходил вместе с ними в лес по грибы и ягоды, зимой катался на коньках по озеру, часто видел в окно, как по усадьбе бегал «дворовый мальчик, в салазки жучку посадив...». Хорошо знал попёнка и поповну местного священника отца Ларивона («Шкоды») — Сашку и Акулину. Под старость Акулина Ларионовна, дожившая до ста пяти лет и умершая в 1924 году, много рассказывала навещавшим ее журналистам и писателям, как она в детстве встречалась с Пушкиным и какой он был добрый человек.

Много лет спустя, после смерти Пушкина, местные сельские старики рассказывали, как часто Александр Сергеевич заходил в их крестьянские избы и «даже качал люльки с плачущими младенцами» в тех домах, где родители ушли в поле на барщину.

Он хорошо знал семью Осиповых-Вульф, где в годы ссылки была маленькая дочь Прасковья Александровны — Катенька, которой шел тогда второй год. В 1825 году, когда все тригорские во главе с Прасковьей Александровной уехали в Ригу, малютка осталась на попечении Пушкина и дворовых слуг. Александр Сергеевич оказался как бы нянькой. В своем письме от 1 августа 1825 года Осиповой в Ригу Пушкин писал, что он находит ее совсем здоровой и она встречает его «самым любезным образом». «Она прехорошенская», — добавляет он в другом письме от 11 августа 1825 года.

Когда Пушкин покинул Михайловское, ей шел четвертый год. А когда Пушкин приехал вновь в 1835 году, девушке шел тринадцатый год, она уже знала многое о Пушкине от своих сестер и матери. О своей встрече с Пушкиным в последний его приезд в Тригорское она нам ничего не поведала.

Зато очень подробно рассказала о том, как их семью навестил сопровождавший тело Пушкина к месту его погребения А. И. Тургенев. Вот отрывок из ее воспоминаний о февральских днях 1837 года:

«Когда произошла эта несчастная дуэль, я, с матушкой и сестрой Машей, была в Тригорском, а старшая сестра Анна в Петербурге. О дуэли мы слышали, но ничего путем не знали, даже, кажется, и о смерти. В эту зиму морозы стояли страшные. Такой же мороз был и 5 февраля 1837 года...

Матушка недомогала, и после обеда, так в часу третьем, прилегла отдохнуть. Вдруг видим в окно — едет к нам возок с какими-то двумя людьми, а за ними длинные сани с ящиком. Мы разбудили мать, вышли навстречу гостям: видим, наш старый знакомый Александр Иванович Тургенев. По-французски

рассказал Тургенев матушке, что приехали они с телом Пушкина, но, не зная хорошенко дороги в монастырь и перезявшие вместе с везущим гроб ямщиком, прискали сюда. Какой, ведь, случай! Точно Александр Сергеевич не мог лечь в могилу без того, чтобы не проститься с Тригорским и с пами...»

Екатерина Ивановна (в замужестве Фок) прожила 86 лет и была последней представительницей дома Тригорского. До глубокой старости она сохранила свою любовь к Пушкину. Последние месяцы своей жизни она провела в селе Святые Горы, в доме ее хорошего знакомого, местного жителя Столярова. Умерла она весною 1909 года. По свидетельству старожилов, ее похоронили у стен Георгиевской церкви на городище Ворониче, где расположено фамильное кладбище Осиповых-Вульф.

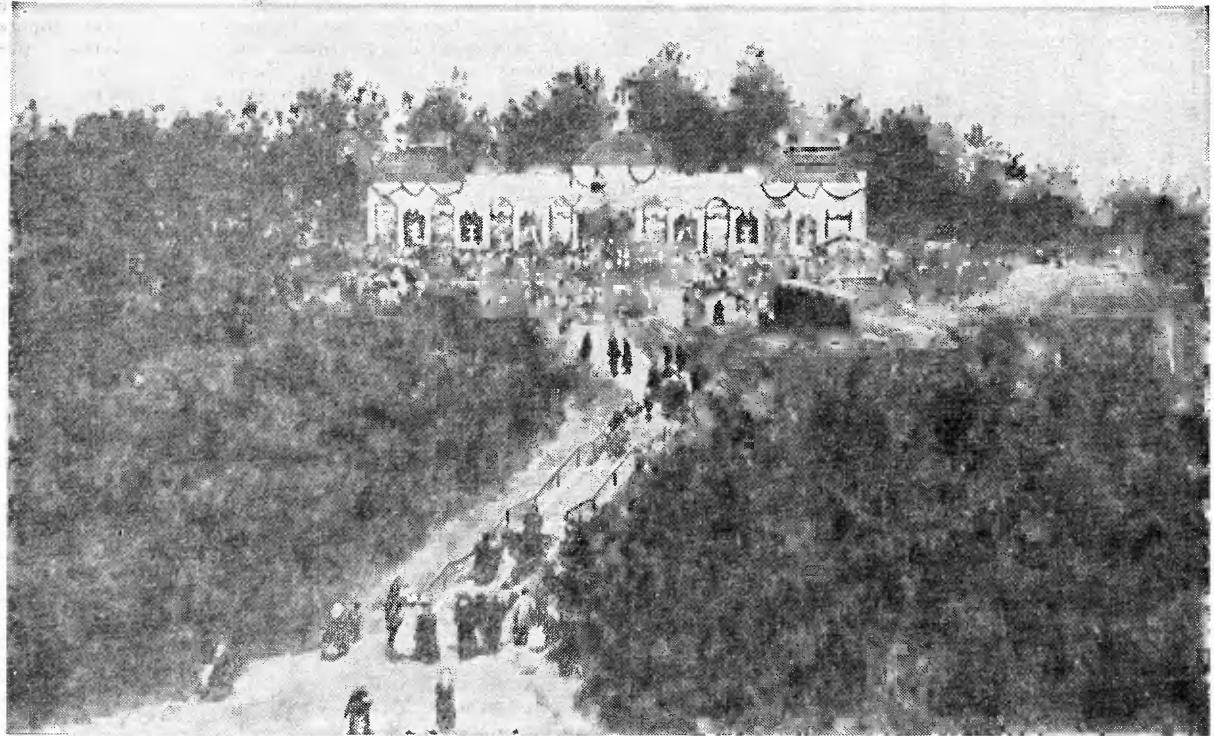
СВЯТОГОРСКИЙ ДВОРЕЦ — «ХРАМ СЛАВЫ» А. С. ПУШКИНА

26 мая 1899 года исполнилось сто лет со дня рождения А. С. Пушкина. Этую знаменательную годовщину торжественно праздновала вся тогдашняя Россия, соединившаяся в одном чувстве восторженного поклонения перед памятью великого поэта. К этой славной дате особенно готовились жители Пушкинского Святогорья, ибо их земля приняла «охладелый прах поэта» в 1837 году. Здесь была его «деревенька на Парнасе». Им принадлежит идея создания в селе Михайловском «заветного Пушкинского уголка», превращения его в национальную святыню. С разрешения царского правительства они обошли города и веси России, по древнему русскому обычаю собирали в кружки на это святое дело денежки повсюду — от Кавказа до Алтая, от Амура до Днепра. Принимали кто сколько даст, а давали: кто копеечку, кто пятаком и редко-редко — рубль-целковый... Их мечта наконец свершилась, и Михайловское стало народным достоянием. В Псковском государственном архиве сохранились списки того, где и сколько собрано денег, кто собирал и что говорил народ, опуская в кружки свои гроши на святое дело.

Такого всенародного праздника, какие устраивают в наше время, в царской России не было, да и не могло быть. Царское правительство и через 62 года после смерти великого поэта продолжало бояться его влияния на простой народ. Оно распорядилось издавать для народа из всего написанного Пушкиным только сочинения, особо проверенные, «допущенные к произнесению в народных аудиториях». Но все равно имя Пушкина было широко известно в народе.

На волостной сходке в 1898 году жители Святогорья избрали свой крестьянский комитет по подготовке к празднику. Здесь мне хочется рассказать лишь об одной любопытной истории, связанной с праздником 1899 года, — о сооружении в Святых Горах Пушкинского дворца, который был назван псковским начальством «Храмом Славы» Пушкина.

Как известно, псковские дворяне- помещики и правители ревниво относились ко всем задумкам



простого народа: «Крестьяне вряд ли что смогут сделать для Пушкина. Мы же культурнее простых мужиков, они ведь даже говорить-то правильно не умеют, а не только читать и писать, они вообще мало знают творения Пушкина» — так рассуждал на собрании Псковского Пушкинского комитета его член граф Гейден. Готовясь к празднику, псковские дворяне больше думали о себе, чем о простом народе, в этом обвиняли их даже передовая столичная пресса. Народ же готовился к юбилею по-своему, как к празднику радости и братства,— видел в нем «зарю пленительного счастья». Проект «Храма Славы» был заказан Псковским комитетом архитектору-художнику К. В. Изембергу, в помощь ему был выделен псковский губернский архитектор Ф. П. Неструх. В основу проекта была положена специально разработанная программа, которая предусматривала нижеперечисленные задания:

«1. Дворец должен быть воздвигнут в непосредственной близости к Святогорскому монастырю, в котором находится могила поэта.

2. Он должен занять главенствующее положение в топографии местности.

3. Здание должно отвечать понятию «дворец» и иметь праздничный вид, а его декоративная отделка подчинена Пушкинской теме (жизнь и творчество Пушкина).

4. Внутреннее помещение в основном должно состоять из большого зала и сцены. Вместимость зала не менее 1000 человек.

5. Учитывая, что на праздник соберется не одна тысяча человек, а значительно больше, перед зданием дворца должно быть устроено гульбище, на

котором сможет разместиться несколько тысяч человек».

Как известно, на Святогорский праздник явились свыше 5000 человек. Согласно смете, сооружение «Храма Славы» потребовало немалого количества средств и материалов. Учитывая это, комитет решил: «строить здание не навсегда, а как временное». Материалы для него (бревна, доски, стекло, холстину и проч.) взять напрокат у кого-нибудь из крупных псковских купцов-предпринимателей, с обязательством вернуть их по окончании празднества, в течение 1899 года, уплатив за прокат некую сумму денег, «а если возможно, то и бесплатно». Что и было свершено. Вскоре из Пскова в Святые Горы прибыли рабочие и строительные материалы. Сооружение было возведено очень быстро. Площадкой для него был выбран один из холмов, расположенных к востоку от монастыря. Вершина холма была срезана и выровнена. Здание было одноэтажное, деревянное, длиною 50 метров, шириной 25 метров и высотою 6 метров (исключая кровлю). Кровля состояла из трех куполов овальной формы: один в центре, два по краям. На центральном куполе трехметровая лира, на боковых куполах по две лиры меньшего размера. По кромке кровли — декоративная балюстрада. В центре здания — широкие врата, декорированные разноцветной матерней. Над ними большое живописное панно с изображением лаврового венка, цветов и урны... По всему фасаду — огромные панно с изображением сцен из произведений Пушкина — «Русалки», «Капитанской дочки», «Бориса Годунова», «Сказки о рыбаке и рыбке», «Полтавы», «Скупого рыцаря», «Евгения Онегина», «Руслана

Этот снимок Пушкинского праздника в 1899 году сделал известный фотограф К. Булла.

и Людмилы». Панно чередовались с большими окнами-витражами, декорированными флагами и зелеными хвойными гирляндами. Вокруг здания разбиты площадки, на которых были возведены ларьки для торговли гостинцами и сувенирами.

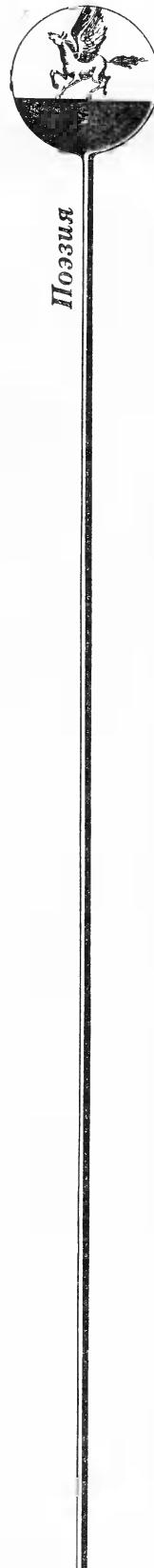
К «Храму Славы» была проложена специальная дорожка. Она шла от стен монастыря, через овраг и далее по специально возведенной деревянной лестнице в несколько маршей. Следы этой дорожки сохранились до наших дней. Стены внутри «Храма» были украшены большими картинами, изображающими усадьбу Михайловского, домик няни, вид Покровского кремля, «Бал у Лариных», «Полтавский бой» (копии картин художников Кондратьева, Крыницкого, Самокиша-Судковского, Овсянникова, Самокиша).

На эстраде был поставлен постамент с бюстом Пушкина.

Открытие праздника началось с возложения венков к бюсту. Первыми возложили свой серебряный венок сыновья поэта Александр и Григорий Пушкины. Вслед за ними возложили венки жители Святогорья, гости из Москвы, Петербурга, Пскова, Острова, Новоржева, Опочки, Пензы, Ярославля, Царского Села. После чего начались Пушкинские чтения с демонстрацией «туманных картинок» на экране, выступления писателей и поэтов, а вслед за этим большой концерт. Праздник и чтения продолжались три дня: 26, 27 и 28 мая.

Прибывший специально из столицы известный фотограф К. Булла сделал несколько снимков «Храма Славы», Пушкинского праздника вообще. Снимки были опубликованы во многих тогдашних журналах. (Один из снимков воспроизведен нами в настоящем очерке.)

Михайловское,
Псковская область.



ГАЗИМ-БЕГ БАГАНДОВ

☆☆☆

Всяк язык на белом свете
И прекрасен и велик,
Хорошо я понял это,
Изучив родной язык.
Пусть друг с другом и не схожи,
Но любой язык земной
Звучен велич, хоть, может,
Каждому из нас дороже
Всех других язык родной.
Языки среди их множеств
Все велики, нет иных,
Хоть и могут быть ничтожны
Те, кто говорит на них.

☆☆☆

Мы теряем, говорят,
С возрастом белую память.
Забываем, говорят,
Тех людей, что были с нами.
Почему же и сейчас
Время мне не помешало
Помнить ту, что видел раз
Тридцать лет назад без мала.

☆☆☆

Даже мудрый полагает,
Будто бы любви не знает
Волк, живущий среди скал.
Нет, он любит несчастливо,
Волк не был бы так тоскливо,
Если бы любви не знал.
Может, и мудрец считает:
Страсти будто бы не знает
Куропатка, что бела.
Но сужденье это лживо:
Если б страсть ее ни жгла,
Куропатка так тоскливо
Никогда бы не звала.

☆☆☆

Зависть! Бедным и богатым
Человеческим сыном —
Всем присуще это чувство.
Я ж завидовал не злату —
Только златокузнецам,
Их высокому искусству.

Перевел с даргинского
А. ГРЕБНЕВ.



Автопортрет-около 1809 г.

Из произведений О. А. КИПРЕНСКОГО. 1782—1836.



Портрет А. С. Пушкина. 1827 г.



Мечтательница.



Портрет Ев. Давыдова. 1809 г.



АЛЕКСЕЙ ПЬЯНОВ

В ОДИН КРЫЛАТЫЙ МИГ...

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Н. ЗАБОЛОЦКИЙ

Пушкин не любил позировать. Ему с трудом давались томительные минуты неподвижности. Кипренский знал это и потому старался не затягивать сеансы, развлекая гостя разговорами.

К работе этой приступил он не без сомнений и даже некоторой робости. В последнее время — он это чувствовал — не все удавалось ему. А тут — Пушкин... Первый поэт России, уже создавший «Полтаву» и «Бориса Годунова».

Однако писалось на удивление легко и радостно. Давно уже не ощущал Кипренский такого душевного подъема, как в те дни, когда в мастерскую к нему приходил Александр Сергеевич. Казалось, что вместе с этим человеком возвращалась упоительная юность, когда вдохновение не покидало художника и все удавалось словно само собой, когда творения его, исполненные какой-то особой, магической силы, вызывали восторг, поклонение, зависть...

Иногда Кипренский умолкал на полуслове, опускал кисть, не замечая, что пачкает краской полу блузы, вглядываясь в Пушкина. Ему казалось, что портрет не удается, что не уловил он в этом знакомом и дорогом ему лице чего-то главного, не сумел запечатлеть. Краски холодны и тусклы. Поза неестественна...

Но сомнения проходили, и опять кисть, стремительная, словно стрела, летела к холсту.

Кипренский спешил: он уже решил для себя, что снова уедет в Италию. Он отобрал уже работы для выставки в Риме. Пушкинский портрет, заказанный Дельвигом, хотел взять с собой непременно и потому торопился завершить его.

Шел 1827 год...

Вскоре уедет он в Италию, проведет там последнее, не самые счастливые свои годы и никогда уже не увидит больше Россию, которая оплачет еще одного гениального сына, «сделавшего ей честь» своим искусством...

Забудутся громкие похвалы знатоков, приходивших в восторг от его портретов; выцветут высокие слова журнальных статей. А эти двенадцать,

словно мимоходом, в шутку написанных пушкинских строк останутся вечным эпиграфом к его полотнам:

Любимец моды легкокрылой,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых муз,
И я смеялся над могилой,
Ушед навек от смертных уз.

Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.
Оно гласит, что не унижу
Пристрастия важных аонид.
Так Риму, Дрездену, Парижу
Известен впредь мой будет вид.

Орест Адамович Кипренский увидел свет 13 марта 1782 года в городке Копорье под Ораниенбаумом. Впрочем, фамилию и имя он получил не от родителей. Бригадир Дьяконов отдал своего побочного сына на воспитание крепостному человеку Адаму Швальбе. По этому случаю были выправлены казенные бумаги, удостоверявшие отцовство Швальбе, фамилию же мальчику дали при крещении по месту его рождения — Копорский. Потом, поступив в Академию художеств, он сам усовершенствует, облагородит ее и станет Кипренским. Но доброго Адама Швальбе не забудет. В семнадцать лет напишет «Портрет А. К. Швальбе», который позже причислят к классике. А многоопытные по части живописи итальянцы бросят тень на свой авторитет, приняв эту работу юного русского художника за творение самого Рембрандта.

Он не станет доказывать свое авторство словами, а напишет здесь такие холсты, такие создаст портреты, что Рим признает Кипренского и уже никогда не повторит курьезной ошибки, допущенной при первом знакомстве.

Слава его обретет масштаб европейский. Он встанет в первый ряд портретистов своего времени; с блеском и поражающей глубиной отразит лик века в лицах лучших людей России, к коим по праву принадлежит и сам; он одним из первых среди русских живописцев обратит свой взор к народным образам.

Во многих жизнеописаниях Кипренского приводится эпизод, ярко характеризующий романтические устремления юного художника, его патриотизм, чистоту его душевных порывов.

«Мартовским утром 1799 года на торжественном вахт-параде в Санкт-Петербурге хрупкий юноша в малиновой форме воспитанника Академии художеств совершил неслыханное. Нарушив чопорный дворцовый церемониал, он обратился к Павлу I «с утруждением Государа Императора об определении в военную службу...». Этот дерзостный поступок семнадцатилетнего художника свидетельствовал не только о пылком воображении, но и о чувстве сопричастности великим событиям эпохи, которое впоследствии сделало Кипренского непревзойденным мастером, воплотившим в портретах современников дух своего гернического времени» (Н. Кислякова).

К счастью, дерзость Кипренского, нарушившего «стильство военного парада», осталась без последствий. Он так и не променял кисть на саблю.



Вверху: И. А. Крылов среди деятелей искусства;
внизу: крестьянский мальчик.

Живопись и рисунок увлекали его. Он писал часами, забывая обо всем на свете. Он наполнял теплотой согретого солнцем мрамора холодные гипсы Академии. А первые портреты юного живописца свидетельствовали о том, что этот мальчик скоро удивит своих учителей.

И удивил.

Классические каноны оказались тесными обруча-ми на романтической душе выпускника Академии Ореста Кипренского. Они лопнули под напором темперамента, освободив огромную творческую энергию. Она клокотала в нем, била через край. Ее амплитуда совпадала с ритмами века, начало которого так много нового обещало России.

В эти годы и взошла звезда Кипренского. Блеск ее был ослепительно ярок. Им озарены лучшие полотна и рисунки художника. Среди них портреты Евграфа Давыдова, Жуковского, Крылова, Семеновой, Батюшкова, Козлова, Мицкевича, Голенищева-Кутузова, Гнедича, Муравьева, Вяземского, Пушкина...

Накануне войны 1812 года Кипренский приехал в Тверь. Работал много и плодотворно. Кисть сменял карандаш. Диапазон моделей — от принцессы Екатерины Павловны до тверских крестьян и рыбаков, которых рисовал он, бродя по волжским берегам.

«Слава молодого Кипренского росла стремительно.

Он вернулся из Твери в Петербург почти признанным гением. Слух о нем проник в Западную Европу. Вся столица говорила о «волшебном карандаше» художника. Легкость, с какою он создавал свои портреты, казалась чудом» (К. Паустовский).

Поездка в Рим представлялась ему сказочным путешествием. Сказка затянулась на несколько лет. Она многое добавила к его славе, но потом поблекла, пожухла под суровыми житейскими ветрами.

Он возвратился в Россию и снова начал писать с одержимостью, какой не знал последние годы в Италии. Писал тех, кому вскоре суждено было испытать на себе всю жестокость царизма и войти в историю под именем декабристов...

Холодно и неуютно было художнику в николаевской России. Тень повешенных на кронверке Петропавловской крепости упала на страну. И только голос Пушкина звучал в этих сумерках с прежней уверенностью и страстью:

Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стременье.

Он, этот голос, согревал сердце художника, разбитое утратой друзей и иллюзий молодости.

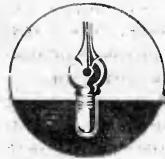
И может, потому Кипренский вложил в пушкинский портрет всю свою любовь к великому поэту и к великому народу, давшему его миру. Работа эта — одна из самых значительных среди созданных им.

Кровная связь с народом была одним из главных источников, питавших творчество Кипренского. Она помогла сыну крепостной крестьянки стать великим художником, обусловила его гражданские позиции, его реализм, во многом определивший дальнейшие пути развития русской — да и мировой — портретной живописи.

«В один крылатый миг», по выражению Батюшкова, рождались лучшие, исполненные психологической глубины, тоикие, виртуозные портреты Ореста Кипренского.

Эти крылатые мгновения принесли ему бессмертие.





**КОРНЕЙ
ЧУКОВСКИЙ**

«БЕЗ ПИСАНИЯ Я НЕ ПОНИМАЮ ЖИЗНИ...»

*Страницы
из дневника*



1910

23 ЯНВАРЯ. Василий Иванович Немирович-Данченко был у меня сегодня и рассказывал между прочим про Чехова; он встретился с Чеховым в Ницце: Чехов отвечал на все письма, какие только он получал.—Почему? спросил Вас. Ив.—А видите ли, был у нас учитель, в Таганроге, которого я очень любил, и однажды я протянул ему руку, а он (не заметил) и не ответил на рукопожатье. И мне так больно было.

1914

10 ФЕВРАЛЯ. ...Книжку мою законфисковали. Задерживали. Я очень волновался, теперь спокоен¹. Сейчас сяду писать о Чехове. Я Чехова боготворю, тяжко в нем, исчезаю, и потому не могу писать о нем — или пишу пустяки.

1917

4 МАРТА. Революция. Дни сгорают, как бумажные. Не сплю. Пешком пришел из Куоккала в Питер. Тянет на улицу, ног нет.

1 МАЯ. Ничего не могу писать. Не спал всю ночь оттого, что «засиделся» до 10 часов с И. Е. Репиным. Дела по горло: нужно кончать сказку, писать «Крокодила», Уолта Уитмэна, а я сижу ослом — и хоть бы слово. Такова вся моя литературная карьера. Пишу два раза в неделю, остальное съедает бессонница.

Портрет Корнея Чуковского
работы Сергея Чехонина.
1923 год.
Публикуется впервые.

12 МАЯ. ...читаю Уитмена — новый писатель. До сих пор я не заботился о том, нравится ли он мне, или нет, а только о том, понравится ли он публике, если я о нем напишу. Я и сам старался нравиться не себе, а публике. А теперь мне хочется понравиться только себе — и поэтому я впервые стал мерить Уитмена собою — и диво! Уитмен для меня оказался нужный, жизненно-спасительный писатель. Я уезжаю в лодке — и читаю упиваясь.

1918

28 ОКТЯБРЯ. Тихонов² пригласил меня недели две назад редактировать английскую и американскую литературу для «Издательства Всемирной Литературы при Комиссариате по Народному Просвещению», во главе которого стоит Горький. Вот уже две недели с утра до ночи я в вихре работы. Составление предварительного списка далось мне с колossalным трудом. Но мне так весело думать, что я могу дать читателям хорошего Стивенсона, О. Генри, Сэмюэля Бетлера, Карлейла, что я работаю с утра до ночи — а иногда и ночи напролет. Самое мучительное это заседания под председательством Горького. Я при нем глупею, робею, говорю не то, трудно повернуть шею в его сторону — и нравится мне он очень...

23 НОЯБРЯ. ...Третьего дня я написал о Райдере Хаггарде. Вчера о Твэнне. Сегодня об Уайльде. Фабрика!

1919

20 ЯНВАРЯ. Читаю Бобе³ бытины. Ему очень нравятся. Особенно ему по душе строчки «Уж я Киевград во полон возвьшу». Он воспринял ее так: Уж я Киев град в «Аполлон» возвьму. «Аполлон» — редакция журнала, куда я брал его много раз.

ЖИЗНЬ, ПРОЖИТАЯ ТАЛАНТЛИВО

Корнею Ивановичу Чуковскому — 100 лет. Из них он прожил на земле 87 лет. Многие из тех, кого великий сказочник особенно любил, кому подарили свои сказки и посыпали блестящее исследование «От двух до пяти», еще ходят в школу, с иными из них он еще успел поиграть, и они, наверное, помнят дедушку Корнея.

А из 87 прожитых лет почти 70 Чуковский вел дневник. Вел с перерывами, не все записи, наверное, сохранились, но дневник Чуковского занимает 2500 машинописных страниц.

Обычно в дневниках много пишут о себе. Для этой публикации отобраны именно те записи Чуковского, где он говорит о своей работе. И что же! Они занимают всего лишь пятнадцатую часть дневника. Да и то в них можно найти портреты прозаиков, поэтов, актеров, издателей, художников, матери и детей писателя и множество мимолетных, но столь дорогих сердцу Чуковского детских образов.

Вот такого рода портреты, разговоры с деятелями нашей культуры, картины быта художественной и научной интеллигенции в разные эпохи жизни страны — из них в сущности и состоит почти весь дневник Чуковского. Эти беглые записи с течением времени об-

МАЙ. ...Пишу главу о технике Некрасова — и не знаю во всей России ни одного человека, которому она была бы интересна.

20 НОЯБРЯ. ...Блок очень впечатлителен и перечив. Я недавно читал в коллегии докладец о том, что в 40-х гг. писали: аплодисманы, мебели (множественное число) и т. д. Теперь в его статье об Андрееве встретилось слово мебели (мн. ч.) и в отчете о заседании — «аплодисманы».

25 НОЯБРЯ. Особенность моей теперешней деятельности в том, что каждый день я начинаю какую-нибудь новую работу и, не кончив, принимаюсь за следующую. Сейчас, например, у меня на столе: Редактура Гулливера (Полонской), редактура Диккенса в переводе Иринарха Введенского, список самых лучших книг для издательства Гржебина, Принципы художественного перевода, статья о письмах Щедрина к Некрасову, Докладная записка о Студии⁴ и т. д. и т. д.

27 НОЯБРЯ. ...Я взялся в Доме Искусств организовать Студию, Библиотеку, Детский Театр. И уже изнемог: всю ночь не спал — в темноте без свечи думал об этих вещах — а про литературу и забыл.

6 ДЕКАБРЯ. О, как холодно в Публичной Библиотеке. Я взял вчера несколько книг... и должен был расстисаться на скамьях; прикосновение к ледяной бумаге — ощущалось так, словно я писал на раскаленной плите.

11 ДЕКАБРЯ. Вторую ночь не заснул ни на миг — и голова работает отлично — сделал открытие (?) о дактилизации русских слов — и это во многом осветило для меня поэзию Некрасова.

ретали новую ценность. Как теперь выяснилось, они стали документальной основой для многих мемуарных портретов в книге Чуковского «Современники». Они использованы Чуковским для глав о Репине, Горьком, Короленко, Леониде Андрееве, Луначарском, Зощенко, Тынянове... Страницы из дневника, посвященные Блоку и Репину, недавно опубликованы в специальных изданиях. И вот теперь читателям «Юности» предлагаются страницы, связанные с самим Чуковским.

Дневник — единственное произведение Корнея Ивановича, которое он не правил, переписывая каждую фразу. Как написалось, так и написалось, у жизни нет черновиков. Но удивительная вещь! Создается впечатление, что у дневника при всей его пестроте, калейдоскопичности есть, как и у самой жизни Чуковского, некий общий замысел, есть четкая программа, которую писатель изо дня в день стремился осуществлять. Он ликовал, когда ему это удавалось. А ежели ему случалось отступать от своей программы, от единого замысла всей его долгой и плодотворной жизни, то Чуковский чувствовал себя, как вы прочтете ниже, «нищим», «бездарностью», сочинителем «дребедени», «чепухи», «пошлым и дряненьким».

Кто же был автором этой программы? Кому принадлежит замысел всей жизни Чуковского? Думаю, читателям «Юности» небезинтересно узнать, что им были их ровесники, автор первых записей дневника, девятнадцатилетний юноша Коля Корнейчуков, «незаконно-рожденный», «кухарин сын», изгнанный по этому социальному признаку из одесской гимназии. Долговязый малаяр и репетитор, юный философ, с жаждой конспектирующий философские труды, страстный поклонник Чехова, он придумал себе новое имя — Корней Чуковский и под таким именем, впоследствии прославленным, начал какую-то новую, не совсем обычновенную жизнь, почти ни в чем не совпадавшую с модами, обычаями и привычками той эпохи и окружавшей его среды.

1920

РОЖДЕСТВО 1920 г. (т. е. 1919, ибо теперь 7 января 1920). Конечно, не стал всю ночь. Луна светила как бешеная... Я весь поглощен дактилическими окончаниями, но сколько вещей между мною и ими: Машины⁵ роды, ежесекундное безднечье, безхлебье, безздоровье, бессонница, Всемирная Литература, Секция Исторических Картик, Студия, Дом Искусств и проч., и проч., и проч.

Поразительную вещь устроили дети: оказывается, они в течение месяца коптили кусочки хлеба, которые давали им в гимназии, сушили их — и вот, изготавив белые фунтики с наклеенными картинками, набили эти фунтики сухарями и разложили их под елкой — как подарки родителям! Дети, которые готовят к рождеству сюрпризы для отца и матери! Не хватает еще, чтобы они убедили нас, что все это дело Санта Клауса!

23 НОЯБРЯ. Утром при светлячке пишу. Только что кончил «Муравьева и Некрасова» и снова берусь за Блока... На шестое декабря я назначил свою лекцию о «Муравьеве и Некрасове». Мурочек 9 месяцев, она делает невообразимые гримасы. Когда я беру ее на руки, она первым делом берет меня за усы, потому что усы — мой главный отличительный признак от всех окружающих ее безусых.

1921

1 ЯНВАРЯ. Я встречал Новый Год поневоле. Лег в 9 часов — не заснуть. Встал, оделся, пошел в столовую, зажег лампу и стал корректировать Уитмена. Потом — сделал записи о Блоке. Потом прочитал рассказ Миши Слонимского — один — в пальто — торжественно и очень, очень печально. Сейчас сяду писать статью для журнала милиционеров!!

«Я боюсь ничтожных разговоров, боюсь идилии чайного стола, боюсь подневольной, регламентированной жизни,— записывает он 2 марта 1901 года.— Я бегу от нее. Но куда? Как повести иную жизнь? Деятельную, беспокойную, свободную? Как?» Это он перед женитьбой обдумывает свою взрослую, семейную жизнь. И уточняет: «Лишь бы не была кастрюль, салфеток, солонок и другой дряни... Это первый путь к порабощению... Долой эти кофейники, эти чашки, положки, карточки, рамочки, амурчики на стенах! Вообще все лишнее и ненужное! Смешно!» Читатель без труда обнаружит и в куда более поздних записях Чуковского отзвуки юношеских антимещансских настроений. Обратим, например, внимание на то, как встречает Корней Иванович Новый год: если уж застолье, то за письменным столом!

Перед смертью он подумал о своем правнучке, десятимесячном богатыре Митяе, кому предстоит жить в XXI веке и вспоминать своего прадеда, «небезызвестного в свое время писателя». Не только об этом правнучке Митяе, но и о куда более отдаленном потомке подумал юный Чуковский 14 марта 1901 года: «Я оставил ему эти бумажки, и он лет через 300 будет с восторгом и пренебрежением разбираться в них». Когда он не думал о будущем, ему казалось, что он живет в долг. Он думал о будущем, даже когда ему оставалось лишь несколько дней жизни после восьмидесяти семи прожитых лет!

«Читать, писать и заниматься...— наставляет он самого себя в записи от 2 декабря 1902 года.— Не тратить ни одного часа понапрасну... Хоть один месяц в жизни провести талантливо...» Как это все знакомо каждому двадцатилетнему! Чуть ли не каждый месяц в молодости мы собираемся начать жизнь сначала и прожить ее деятельно, талантливо. Пример жизни Чуковского, его дневник показывают, что подобное решение, принятное в юности, вполне осуществимо и что талантливо можно прожить не только месяц после этого решения, а еще почти семьдесят лет.

По дневнику видно, какую огромную роль в жизни

14 ФЕВРАЛЯ. Утро — т. е. ночь. Читало «Сокровище Смирёных» Метерлинка, о звездах, судьбах, ангелах, тайнах — и невольно думаю: а все же Метерлинк был сырт. Теперь мне нельзя читать ни о чем, я всегда думаю о пище; вчера читал Чехова «Учитель словесности», и меня ужасно поразило то место, где говорится, что они посегали молочницу, спросили молока, но не пили. Не пили молока!!! Я сказал детям, и оказывается, они все запомнили это место и удивлялись ему, как я.

1922

25 ФЕВРАЛЯ. Вчера было рождение Мурочки — день для меня светлый, но загрязненный гостями. Отвратительно. Я ненавижу безделье в столь организованной форме.

18 МАРТА. Был вчера в кружке Уитменщиков и вернулся устыженный. Правда, Уитменщанства там было мало: люди спорили, вскрикивали, обвиняли друг друга в неискренности, но — какая жажда все-освящающей «религии», какие запасы фанатизма. Я в последние годы слишком заинтересовался, я и не представлял себе, что возможны какие-нибудь оценки Уитмена, кроме литературных, — и вот оказывается, благодаря моей чисто литературной работе — у молодежи горят глаза, люди сидят далеко за полночь и вырабатывают вопрос: как жить. Один, вроде костромича, всё вскидывался на меня: «это эстетика!» Слово «эстетика» — ругательное слово. Им эстетика не нужна — их страшно занимает мораль. Уитмен их занимает как пророк и учитель. Они желают целоваться и работать и умирать — по Уитмену. Инстинктивно учуя во мне «литератора», они отшатнулись от меня.— Нет, цела Россия! — думал я, уходя. Она сильна тем, что в основе она так наивна, молодая, «религиозна». Ни иронии, ни скептицизма, ни юмора, а всё всерьез, *in earnest*... И я по-

Чуковского сыграло самообразование, самопознание. Вот один пример. К 1906 году двадцатичетырехлетний Корней Чуковский уже прославился как блестящий литературный критик и талантливый журналист, редактор революционного сатирического журнала «Сигнал». Он уже с юмором, но не без гордости записывает 17 января 1906 года: «Да, господин дневник, многое вы и не подозревали. Я уже не тот, который писал сюда до сих пор. Я уже был редактором-издателем, сидел в тюрьме... сейчас состою под судом, за дверью висит моя шуба — и обедаю я почти каждый день». Вот как хорошо устроил он свои дела — и в тюрьме сидел, и шуба есть! Но в том же 1906 году в дневнике появляется запись, для наших дней такая обычная: столько людей с уважением записывает высказывания малышей, их печатают в книгах, в журналах, читают по радио. А все началось вот с чего: «22 июля. Вчера Коленька долго смотрел из моего окна на сосну и сказал: «Шишки на дерево полезли как-то». Он привык видеть их на земле». Вот откуда, на мой взгляд, берут свое начало и сказки Чуковского и его исследования детской психики, детского языка и стихотворчества.

Подобно Чехову Чуковский не произносил никаких деклараций и поучений, никак не афишировал своих дел и начинаний, подавал свои научные и поэтические открытия как нечто само собой разумеющееся. А как он любил Чехова! Как был удивлен и счастлив, когда на склоне лет, пусть во сне, но увидел-таки своего главного учителя в литературе и в жизни!

До конца дней он вспоминал свою мать, украинскую крестьянку, одесскую прачку, вспоминал ее любовь, ее нравственные уроки. Не отсида ли идет его деятельная любовь к народу, ко всему народу, включая самых маленьких детей? Не потому ли он такился над каждой фразой своих книг, чтобы все они до единой были доступны и интересны самому широкому кругу читателей?

Валентин БЕРЕСТОВ

чувствовал, что я рядом с ними — нищий, и ушел опечаленный. Сейчас сяду переделывать статью о Маяковском.

21 МАРТА. Снег. Мороз. Туман. Как-то зазвал меня Мгебров (актер) в здание Пролеткульта на Екатеринскую улицу — посмотреть постановку Уолта Уитмэна — инсценированную рабочими. Едва только началась репетиция, артисты поставили роскошные кожаные глубокие кресла — взятые из Благородного Собрания — и вскочили на них сапожища. Я спросил у Мгеброва, зачем они это делают. «Это восхождение ввысы!» — ответил он. Я взял шапку и ушел. «Не могу присутствовать при порче вещей. Уважаю вещь. И если вы не внушиите артистам уважения к вещам, ничего у вас не выйдет. Искусство начинается с уважения к вещам».

Ушел и больше не возвращался. Уитмэн у них провалился.

31 ИЮЛЯ. «Тараканище» пишется. Целый день в мозгу стучат рифмы. Сегодня сидел весь день с 8 часов утра до половины 8-го вечера — иказалось, что писал вдохновенно, но сейчас ночью зачеркнул почти всё. Однако, в общем «Тараканище» сильно про-двинулось.

3 АВГУСТА. «Тараканище» мне понравился. Словом. Кажется деревянной и мертвкой чепухой — и потому я хочу приняться за «язык». Дождик мильный и мирный.

10 АВГУСТА. Мура больна... Смотрел на нее и ревел... Как я счастлив, что достал деньги: купили лекарств (я ночью ездил в Знаменскую аптеку) — денег не было даже на полфунта манной. Деньги я достал у Клячко⁶... За это я организовываю для него детский журнал «Носорог». Были мы вчера угром у Лебедева — Владимира Васильевича. Чудесный художник, изумительный. Сидит в комнатенке и делает «этюды предметной конструкции».

30 СЕНТЯБРЯ. Был с Бобой в Детском Театре на «Горбунке». Открытие сезона... «Горбунок» шел отлично — постановка старательная, богатая выдумкой. Текст почти нигде не искашен, действие распределяется по раме, которая окаймляет сцену. Я сидел как очарованный, впервые в жизни я видел подлинный детский театр и все время думал о тусклой и горькой жизни несчастного автора «Конька Горбунка». Как он ярок и ослепителен на сцене, сколько счастья дал он другим — внукам и правнукам — а сам не получил ничего кроме злобы.

15 ДЕКАБРЯ. Бездельничаю после Москвы. Все валится из рук. Печатаем «Майдодыра» и «Тараканище» — я хожу из типографии в литографию и болтаю около машин... О, как трудно было выживать рисунки из Анненкова⁷ для «Майдодыра». Он взял деньги в начале ноября и сказал: послезавтра будут рисунки. Потом уехал в Москву и пропадал там 3 недели, потом вернулся, и я должен былходить к нему каждое утро (теряя часы, предназначенные для писания) — будить его, стыдить, прокликать, угрожать, молить — и в результате у меня есть рисунки к «Майдодыру»!

22 ДЕКАБРЯ... Чехонин⁸ пожелал сделать мой портрет. В воскресенье еду к нему на сеанс.

1923

...Проснулся внезапно, побежал посмотрел на часы, вижу: 12 часов ровно. Через минуты две после

того, как я встал, грохнула пушка, зазвонили в церкви. Новый Год... 1922 год был ужасный год для меня, год всевозможных банкротств, провалов, унижений, обид и болезней. Я чувствовал, что черствую, перестаю верить в жизнь, и что единственное мое спасение — труд. И как я работал! Чего я только не делал!.. писал «Майдодыра»... писал «Тараканище». Переделал совершенно, в корень свои некрасовские книжки⁹, а также «Футурристов», «Уайлдъ», «Уитмэна». Основал «Современный Запад»¹⁰ — сам своей рукой написал почти всю Хронику 1-го номера, доставал для него газеты, журналы — перевел «Королей и Капусту»... — о сколько энергии, даром истраченной, без цели, без плана!.. И все же я почему-то люблю 1922 год. Я привязался к этому году к Мурке, и меня не так мучили бессонницы, я стал работать с большей легкостью — спасибо старому году! Сейчас, например, я сижу один и встречаю новый год с первом в руке, но не горюю: мне мое перо очень дорого — лампа, чернильница, — и сейчас на столе у меня моя милая «Энциклопедия Британника», которую я так нежно люблю. Сколько знаний она мне дала, как она успокоительна и ласкова...

Вот что такое 40 лет: когда ко мне приходит какой-нибудь человек, я жду, что он скорее ушел. Никакого любопытства к людям. Я ведь прежде был как щенок: каждого прохожего обнюхать и возле каждой тумбы подняться ногу.

Вот что такое дети, большая семья: никогда на столе не улежит карандаши, исчезает как в яму, и всегда кто-нибудь что-нибудь теряет: «дети, не видели ножниц?» «Папа, где моя ленточка?» «Коля, ты взял мою резинку?»

2 ЯНВАРЯ 1923. Мурка стоит и «читает». Со страшной энергией в течение двух часов:

Ума нáу, ўма нáю, ума нáу, уманý

перелистывает книгу, и если ей иногда попадется под руку слово, вставляет и его в эту схему, не нарушая ее. Раньше ритм, потом образ и мысль.

10 ЯНВАРЯ. ...Чехонин пишет (т. е. рисует углем) мой портрет: по-моему сладко и скучно — посмотрим, что будет дальше. Он очень милый, маленький, лысоватый, добрый человечек в очках, я его очень люблю. Всегда сидит за работой, как гном. Придеш к нему, он встанет, и зазвенят хрустали на стоящих светильниках 18 века. У него многое дорогих и редкостных вещей, иконы, картины, фарфор, серебро, но я никогда не видел, чтобы такая роскошь была в таком диком сочетании с мещанской три薇альной обстановкой. Среди старинной мебели — трехногий табурет... На чудесную арфу он вешает пальто и костюм, и гостям предлагает вспашать. «Очень удобная арфа!» — говорит он. Во время сеанса он вспоминал о Глебе Успенском, которого знал в Чудове, о Репине (учеником которого он был; «Репин рассказывал нам об японцах, здорово! Мастерщ! Не скоро в России будет такой второй!») Очень хорошо он смеется — по-детски.

14 ЯНВАРЯ. ...Чехонин третьего дня писал меня вдохновенно и долго.

Портрет мой ему удается — глаза виноватые, лицо жалкое, — очень похоже.

17 ЯНВАРЯ. ...У Мурки такое воображение во времена игры, что, когда потребовалось ловить для медведя на полу рыбу, она потребовала, чтобы ей сняли башмаки. Сейчас она птичка — летает по комнатам и целыми часами машет крыльями.

7 НОЯБРЯ. ...Сейчас держу корректуру Муркиной книги. Часть рисунков Кониашевича переведена уже

на камень. Я водил вчера Мурку к Клячко — показать, как делается Муркина книга. Мурку обступили сотрудники, и Конашевич стал просить ее, чтобы она открыла рот (ему нужно нарисовать, как ей в рот летит бутерброд, он нарисовал, но непохоже). Она вся раскраснелась от душевного волнения, но рта открыть не могла, оробела. Потом я спросил ее, отчего она не открыла рта:

— Глупенькая была.

23 НОЯБРЯ. Весь вчерашний день ушел на расклейку Муркиной книги. В последнюю минуту спохватились, что не хватает двух рисунков. Но в общем книга лучше, чем казалась. Очень приятно наклеивать рисунки — в этом что-то праздничное.

СРЕДА 12 ДЕКАБРЯ. Сегодня высокоторжественный день моей жизни: утром рано Мура получила паконец свою долгожданную Муркину книгу...

Долго, долго рассматривала каждую картинку и заметила то, чего не заметил бы ни один из сотни тысяч взрослых:

— Почему тут (на последней картинке) у Муры два башмачка (один в зубах у свиньи, другой под кроватью)?

Я не понял вопроса. Она пояснила:

— Ведь один башмачок Мура закопала (на предыдущих страницах).

1924

ПЯТНИЦА 11 ИЮЛЯ. Сегодня день рождения моего малого Бобочки. Он был утром у меня, убрал мою заречную комнату, сделал из березовых листьев веник, замел, побрызгал водою полы, вынес мою постель на балкон, выбил палкой, вычистил, потом звавши Муру на плечи и понес ее домой. Он очень любящий и простодушен...

Мальчик Юрочка Некрасов 5½ лет, послушав началь Тараканища, спросил: А как же раки — они очень отстали? Я не понял. Оказывается: раки ехали «на хромой собаке», а львы в автомобиле. Ясно, что раки должны были отстать.

1925

22/III. Пришло в голову написать статью о пользе фантастических сказок, столь гонимых теперь. Вот такую: беременная баба узнала, что на таком-то месяце ее будущий младенец — обзавелся почему-то жабрами. — О, горе — не желаю рожать щуку! Потом еще немнога — у ее младенца вырос хвост: О горе! не желаю рожать собаку! — Успокойся, баба, ты родишь не щуку, не собаку, но человека. Чтобы стать человеком, утробному младенцу необходимо побывать вчера и собакой и щукой. Таковы были все — и Лев Толстой, и Эдисон, и Карл Маркс. Многое черновых образов сменяет природа для того, чтобы сделать нас людьми. В три года становимся фантастами, в четыре воинами и т. д. Этого не нужно бояться. Это те же собачьи хвосты. Черновики. Времянки. Самый трезвый народ — англичане, дали величайших фантастов. Пусть звери для 4-летних младенцев говорят — ибо все равно для младенцев все предметы говорят.

Очень туго пишется «Самоварный бунт». Сижу по пять часов, вымучиваю две строки. Жаль, что я не сделался детским поэтом смолоду: тогда рифмы так и перли из меня...

С Мурой чуть я выхожу на улицу, сейчас начинает идти снежок. Она уверена, что я это нарочно так устраиваю.

27 МАРТА. ...Туго пишется Федора — не скучна ли она? Боюсь, что нет настоящего подъема. На каждого писателя, произведения которого живут в течение нескольких эпох, всякая новая эпоха накладывает новую сетку или решетку, которая закрывает в образе писателя всякий раз другие черты — и открывает иные...

— Вчера впервые показал Клячке «Федорино горе». Ему нравится. Он советует художника Твардовского, у которого большая выдумка. Попробую.

8 АПРЕЛЯ. Вчера в час дня у Сологуба¹¹... Ждем Маршака. Заседание учредительного бюро секции детской литературы при Союзе Писателей.

Мне Сологуб неожиданно сделал такой коммент: «Никто в России так не знает детей, как вы». Верно ли это? Не думаю. Я в такой же мере знаю женщин: то есть знаю инстинктивно, как держать себя с ними в данном конкретном случае — а словами о них сказать ничего не могу. С детьми я могу играть, баюковаться, гулять, разговаривать, но пишу о них не без фальши и натужно. Кстати, я высчитал, что свое Федорино горе я писал по три строки в день, причем иной рабочий день отнимал у меня не меньше 7 часов. В 7 часов — три строки. И за то спасибо. В сущности дело обстоит иначе. Вдруг раз в месяц выдается блаженный день, когда я легко и почти без помарки пишу пятьдесят строк — звонких, ловких, лаконичных стихов — вполне выражавших мое «жизнечувство», «жизнебиение» — и потом опять становлюсь бездарностью. Сижу, мараю, пишу дребедень и снова жду «наития». Жду терпеливо день за днем, презирая себя и томясь, но не покидая пера. Исписываю чепухой страницу за страницей. И снова через недели две — вдруг на основе этой чепухи, из этой чепухи — легко и шутя «выкомариваю» все.

1 АВГУСТА. Был вчера в городе, по вызову Клячко. Оказывается, что... запретили «Муху Цокогуху». «Тараканище» висел на волоске — отстояли. Но «Муху» отстоять не удалось. Итак, мое наиболее веселое, наиболее музыкальное, наиболее удачное произведение уничтожается только потому, что в нем упомянуты имена!! Тов Б-ова, очень приятным голосом объявила мне, что комарик — переодетый принц, а Муха — принцесса. Это рассердило даже меня... Я спорил с нею целый час — но она соглашалась на своем. Пришел Клячко, он тоже нажал на Б-ову, она не сдвинулась ни на йоту и стала утверждать, что рисунки неприличны: комарик стоит слишком близко к мухе, и они флиртуют. Как будто найдется ребенок, который до такой степени развратен, что близость муки к комару вызовет у него фривольные мысли!

6 АВГУСТА. ...На днях отправил О-ву такое письмо — по поводу «Мухиной Свадьбы»:

«...мне сказали, что муха есть переодетая принцесса, а комар — переодетый принц!! Надеюсь, это было сказано в шутку, так как никаких оснований для подобного подозрения нет. Этак можно сказать, что «Крокодил» переодетый Чемберлен, а «Мойдодыр» — переодетый Милков.

Возражают против слова свадьба. Это возражение серьезное. Но уверяю Вас, что Муха венчалась в ЗАГСЕ. Ведь и при гражданском браке бывает свадьба. А что такое свадьба для ребенка? Это пряники, музыка, танцы. Никакому ребенку фривольных мыслей свадьба не внушает.

А если вообще вы хотите искать в моей книге переодетых людей, кто же Вам мешает признать паука переодетым буржуем. «Гнусный паук — символ

нэпа». Это будет столь же произвольно, но я возвращать не стану. «Мухина Свадьба» моя лучшая вещь. Я полагал, что написание этой вещи — моя заслуга. Оказывается, это моя вина, за которую меня жестоко наказывают. Внезапно без предупреждения уничтожают мою лучшую книжку, которая лишь полгода назад была... разрешена и основ Советской власти не разрушила.

Есть произведения халтуры, а есть произведених искусства. К произведениям халтуры будьте суровы и требовательны, но нельзя же уничтожать произведение искусства лишь потому, что в нем встретилось слово именами.

Ведь даже монументы царям не уничтожаются Советской властью, если эти монументы — произведения искусства.

Мне посоветовали переделать «Муху». Я попробовал. Но всякая переделка только ухудшает ее. Я писал эту вещь два года, можно ли переделать ее в несколько дней. Да и к чему переделывать? Чтобы удовлетворить произвольным и пристрастным требованиям?..

Я хотел бы, чтобы на эту книгу смотрели прощепт: паук, злой и жестокий, хотел поработить беззащитную муху и непременно погубил бы ее, если бы не герой комар, который защитил беззащитную. Здесь возбуждается ненависть против злодея и беспота и привлекается сочувствие к угнетенным. Что же здесь вредного — даже с точки зрения тех педагогов, которые не понимают поэзии?»

17 ДЕКАБРЯ. ...Свой кабинет я отдал Коле¹² на день и Бобе на ночь, а сам устроился в узенькой комнатке, где родилась Мира, обставил свою кровать табуретом и двумя столиками — и царяко карандашом с утра до ночи. Трудность моей работы заключается в том, что я ни одной строки не могу написать сразу. Никогда я не наблюдал, чтобы кому-нибудь другому с таким трудом давалась самая техника писания. Я перестраиваю каждую фразу семь или восемь раз, прежде чем она принимает сколько-нибудь приличный вид.

1926

1 МАРТА. Последние два дня окрашены у меня Ольгой Иеронимовной Капицей. В субботу я слушал ее доклад в Союзе Писателей — о детском фольклоре... Я подошел к Капице и попросил позволения прийти к ней на дом. Она, 60-летняя, милая, очень добрая... Говорит, что ею собрано около 2000 детских песен — выкопано из разных сборников и послушано по деревням ее студентками... Есть много ценных материалов. Привлеченный этими материальными на следующий день пошел к ней.

Живет она в самом конце Каменноостровского — в высоком огромном доме — с очень вонючими и грязными лестницами. У нее прелестная комната, вся увешенная портретами и картинами. Книги, цветы, старинные вещи, коврики, рукописи — культура, вкус, работа. Комната полна ее любимым сыном, ученым физиком, который, в настоящее время работает в Англии и вскоре должен приехать к ней погодить. Сын ее — Петр Леонидович — действительно человек замечательный. Ему 31 год. Он инженер электрик, кончик политехнический институт. Смолоду у него была изобретательская жилка. В 20-м году — в 2 недели у него в семье умерло 6 человек, в том числе его отец, его молодая жена (урожденная Черносвистова) и двое маленьких детей... Он смел, талантлив, независим. Огромная воля. Ему дали стипендию Махаеву — на 3 года. Тогда-то он и изобрел акку-

мулятор, развивающий огромную силу. Его избрал доктором Кембриджского университета — он ездил в Голландию, Германию, Францию — всюду делал доклады о своих изобретениях. На заводе Vickers'a он спроектировал динамо-машину — которая стоила больше 200 000 р., строилась год и только сейчас закончена. Когда ее пускали в ход, он не отходил от нее 24 часа. После испытания этой машины его сделали Fellow of Cambridge University. Ольга Иеронимовна дала мне о нем большую статью, напечатанную в газете...

3 МАРТА. Вчера Мура: «Папа, я хочу тебе что-то сказать, но мне стыдно. Это страшный секрет. (Взволнованно бегает по комнате). Я тебе этого ни за что не скажу. Нельзя, нельзя! Или нет, я скажу, — только на ухо. Дай твое ухо. (Покраснела от волнения).

— Ты знаменитый писатель?»

Я сказал ей, что знаменитый писатель теперь один только М. Горький, и она даже как будто обрадовалась, что я не знаменитый писатель.

17 МАРТА. ...Был в воскресенье у Тынянова. Михаил Юрий Николаевич читал мне отрывки из своей новой повести «Смерть Грибоедова». Отрывки хорошо написаны — но чрезвычайно хорошо. Слишком густо дан старинный стиль. Нет ни одной не стилизованной строки. Получаются одни эссеции, то есть внутренняя ложь, литературщина. Я сказал ему. Он согласился со мною и сказал, что переделает... Потом произошел эпизод, после которого я до сих пор не могу прийти в себя: мы заговорили о «Кюхле», и я сказал ему, как анекдот, что мне за редактуру «Кюхли» Кубич предложил 300 рублей и что я, конечно, отказался, но считаю, что эти 300 р. должны быть даны ему. Он сказал:

— О нет! Я думал, что вы и в самом деле должны получить эти деньги. Ведь вы основательно проредактировали «Кюхлю», особенно ту главу...

Мне почему-то эти слова причинили боль: брать деньги с любимого писателя за то, что прочитал его работу и по-товарищески сделал ему несколько замечаний по поводу его (очень незначительных) промахов!

И я разревелся, как последний дурак.
Он обнял и поцеловал меня.

1928

14 МАРТА. ...Осип Мандельштам, отозвав меня торжественно на диван, сказал мне дивную речь о том, как хороша моя книга «Некрасов», которую он прочитал только что¹³. Мандельштам небрит, на подбородке и щеках у него седая щетина. Он говорит натужно, после всяких трех-четырех слов произносит м-м-м-м-м — и даже эм-эм-эм — но его слова так находчивы, так своеобразны, так глубоки, что вся его фигура вызывала во мне то благоговейное чувство, какое бывало в детстве по отношению к священннику, выходящему с дарами из «врат». Он говорил, что теперь, когда во всех романах кризис героя — герой переплеснулся из романов в мою книгу, подлинный, страдающий и любимый герой, которого я не сужу тем губсудом, которым судят героев романисты нашей эпохи. И прочее очень нежное.

1930

14 АПРЕЛЯ. Это страшный год — 30-й. Я хотел с января начать писание дневника, но не хотелось писать о несчастьях, все ждал счастливого дня... и вот заболела Мура, сначала нога, потом глаза... и вот запрещены мои детские книги... а сейчас позвонила Тагер¹⁴: Маяковский застрелился. Вот и

ождался счастья. Один в квартире хожу и плачу и говорю «Милый Владимир Владимирович», и мне вспоминается тот «Маякдуский», который был мне так близок — на одну секунду, но был... которому я как дурак «покровительствовал»... который добивался, чтобы Дорошевич позволил ему написать свой портрет, и жил на мансарде высоченного дома, и мы с ним ходили на крышу... и как он... ходил на мои лекции в желтой кофте, и шел своим путем, плюя на нас, и вместо «милый Владимир Владимирович» я уже говорю не замечая «Берегите, сволочи, писателей»... и как я любил его стихи, чуя в них за внешним и глубиной, и лирику, и вообще большую духовную жизнь... казалось, что он у меня еще впереди, что вот встретимся, поговорим, «вззовновим», и я скажу ему, как он мне свят и почему.

КОНЕЦ ИЮЛЯ (19). Разбирал письма о детях, которые идут ко мне со всего Союза. В год я получаю этих писем не меньше 500. Я стал какая-то «Всесоюзная мамаша» — что бы ни случилось с чьим-нибудь ребенком, сейчас же пишут мне об этом письмо. Дней 7—8 назад сижу я небритый в своей комнате — пыль, мусор, мне стыдно в зеркало на себя поглядеть — вдруг звонок, являются двое — подтянутые, чудесно одетые, с очень культурными лицами — штурман подводной лодки и его товарищ Шевцов. Вытянулись в струнку, и один сказал с сильным украинским акцентом: «Мы пришли вас поблагодарить за вашу книгу о детях: вот он не хотел жениться, но прочитал вашу книгу, женился и теперь у него родилась дочка». Тот ни слова не сказал, а только улыбался благодарно... А потом они отдали честь, щелкнули каблуками — и хотя я приглашал их сесть — ушли...

20/IV. [А лупка.] Вчера у Муры. У нее ужас: заболела и вторая нога: колено. Температура поднялась. Она тягает в весе.

2 СЕНТЯБРЯ. ...Мура вчера вдруг затвердила Кузьму Пруткова:

Если мать иль дочь какая
У начальника умрет.

Старается быть веселой — но надежды на выздоровление уже нет никакой. Туберкулез легких растет.

5/XI. ...Вчера я привез Мурочке из Ялты мешочек ракушек и «панораму». Еле держит панораму тонкой рукой и восхищается узорами калейдоскопа. Я машинально сказал Пушкина

Внимает он привычным ухом
Свист —

она докончила всю наизусть.

НОЧЬ НА 11 НОЯБРЯ. $2\frac{1}{2}$ часа тому назад ровно в 11 часов умерла Мурочка. Вчера ночью я дежурил у ее постели, и она сказала:

Лег бы... ведь ты устал... ездил в Ялту.

Сегодня она улыбнулась — странно было видеть ее улыбку на таком изученном лице... Так и не докончила Мура рассказывать мне свой сон. Лежит ровненькая, серьезная и очень чужая. Но руки изящные, благородные, одухотворенные. Никогда ни у кого я не видел таких.

13/XI. ...Я наведывался к могиле. Глубокая, в каменистой почве... и вот некому забить ее гробик. Я беру молоток и вбиваю гвоздь над ее головой. Вбиваю криво и вожусь бесполково... похороны были не самое страшное: гораздо мучительнее было двухлетнее ее умирание. Видеть, как капля за каплей уходит вся кровь из талантливой, жизнерадостной, любящей...

8/XII. ...Издательство писателей переехало на Невский, туда, где в старину был книжный магазин М. О. Вольфа. Я был там и предложил Груздеву (председателю правления, вместо Федина) сборник своих детских стихов — хочу издать их для взрослых — все те, которые написаны для Мурки, при участии Мурки, в духе Мурки. Эта книга есть как бы памятник ее веселой, нежной и светлой души. Я, конечно, не сказал им, почему мне так хочется издать эту книгу, но Мише Слонимскому (по телефону) сказал. И Миша со своей обычной отзывчивостью взялся хлопотать об этом.

1932

4.VII. Путь наш в Алупку был ужасен... И вот уже тянется мутная гряда — Крым, где ее могила. С тошнотою гляжу на этот омерзительный берег. И чуть я вступил на него, начались опять мои безмерные страдания. Могила. Страдания усугубляются апатией. Ничего не делаю, не думаю, не хочу. Живу в долг, без завтрашнего дня, живу в злобе, в мелочах, чувствуя, что я не имею права быть таким пошлым и дряненьким рядом с ЕЕ могилой — но именно ЕЕ смерть и сделала меня таким. Теперь только вижу, каким поэтичным, серьезным и светлым я был благодаря ЕЙ. Все это отлетело, и осталось... да в сущности ничего не осталось.

18/VIII. ...Я сейчас делаю сразу двадцать литературных дел, и одно мешает другому. Нельзя одновременно: писать статью в защиту сказки, и комментарии к рассказам Николая Успенского, и характеристику А. В. Дружинина, и стихи для маленьких детей, и фельетон о редактуре классиков. А я делаю все вместе — и плохо, то есть хуже, чем мог бы, если бы каждая тема была единственная.

1933

НОЧЬ С 23 НА 24/XI. Завтра мое выступление... Будет также выставка моих книжек (детских).

26/XI. Был мой концерт... Ходынка... Ребята толпились даже на улице. Отношение ко мне самое нежное — но у меня тоска одиночества... Ни один человек не знает даже, что я не только детский писатель, но и взрослый.

Вчера был у Татьяны Ал. Богданович¹⁵... Пришел Тарле и стал уговаривать меня бросить детские мои книги — и взяться за писание «таких книг, как о Некрасове». Сравнивал меня с Сент-Бевом и проч. Недовольство собой возросло у меня до ненависти.

1934

21/II. ...Начал собирать матерьялы для своей книги «От двух до пяти» — для пятого издания, хотя четвертое еще не вышло. Хочу подсчитать по психологии, педагогии, лингвистике, а то я в этой книге сплошной самоучка. И нужно прощупать более гибкий и обаятельный стиль. Очень казенno и мертво построена вся книга. Этого не замечают, так как самый материал умягчает сердца, но я, держа на днях корректуру 4-го издания этой книги, удивился, до чего я в ней неталантлив.

НОЧЬ НА 21 ИЮНЯ. Завтра утром у меня записывают голос в радиоцентре. Записывают на пленку. Я так волнуюсь, что не сплю и разныеочные мысли лежут мне в голову... Этот приезд показал мне, что действительно дана откуда-то свыше инструкция любить мои детские стихи. И все любят их даже чрез-



мерно. Чрезмерность любви главным образом и пугает меня. Я себе цену знаю, и право, тот период, когда меня хаяли, чем-то мне больше по душе, чем этот, когда меня хвалят. Теперь в Москве ко мне относятся так, будто я ничего другого не написал, кроме детских стихов, но зато будто по части детских стихов я классик. Все это, конечно, глубоко обидно.

1935

6/V. Вчера я выступал вечером в Педвузе им. Герцена — на вечере детских писателей. В зале было около 1 1/2 тысячи человек. Встретили бешеным аплодисментом, я долго не мог начать, аплодировали каждой сказке, заставили прочитать четыре сказки и отрывки «От двух до пяти», и я вспомнил, что лет 8 назад я в этом самом зале выступил в защиту детской сказки — и мне свистали такие же люди — за те же самые слова — шикали, кричали «довольно», «дойдя», и какими помоями обливали меня педологи, — те же самые, что сейчас так любовно глядят на меня из президиума.

1936

ИЮНЬ. Черт меня дернул поселиться в Сестрорецком курорте. Жарко раскаленная крыша моей комнаты, — невозможно не только заниматься, но и высидеть 5 минут. Дамочка разиалеванная («я ваша почитательница») говорит за столом:

На верху: К. И. Чуковский с дочерью Марией (Мурой). Середина 20-х годов.
Картинки Вл. Конашевича — из «Муркиной книги». Изд-во «Радуга», 1924 г.

— Вы, должно быть, ужасно любите детей. Сколько замечательного вы пишете о них.

Я из ненависти к ее фальшивым ужимкам говорю:

— Нет, я терпеть не могу детей. Мне на них и смотреть противно.

— Что вы! Что вы!

— Верно вам говорю.

— Почему же вы пишете о них?

— Из-за денег.

— Из-за денег?!

— Да.

И она поверила и рассказывает кому-то на пляже: «Чуковский ужасный циник».

Между тем дети здесь поразительные. Дети сторо- жа-украинца. Их у него с полдюжины... юятся в сараичке — без окон — но веселы, опрятны, полны украинской приветливости и советского самоуважения. Ни тени сервилизма.

С тех пор, как я познакомился с этими детьми (есть еще дочь повара, и милая, худая, начитанная дочь заведующего), для меня как-то затуманились все взрослые. Странно, что отдыхать я могу только в среде детей.

7/IX. Одесса. Вчера приехали. Не был здесь с 1908 года. Перед этим был в 1905 г. Видел восстание «Потемкина». А перед этим здесь прошло все мое детство, вся моя молодость. А теперь я приехал сюда стариком и вспоминаю, вспоминаю... Вот биржа — в мавританском стиле. Здесь в 1903 г. в январе я стоял с томиком Чехова (издание «Нивы») и не мог донести до дома — раскрыл книгу на ули-

А пойдёшь,—
Пропадёшь,

Муре в рот попадёшь,
Муре в рот, Муре в рот,

Муре в рот
Попадёшь!»



це — стал читать, и на нее падал снег. Вот маяк — где мы геройствовали с Житковым. Вот одесская 2-я прогимназия, где я учился. В эту прогимназию я побежал раньше всего. Здесь теперь типография... у дверей копошился какой-то старик. «Я — Чуковский, писатель, здесь у вас в типографии печатаются мои книги, я хотел бы взглянуть на тот дворик, где я был 45 лет назад, — я здесь учился... Здесь была школа...

— Нельзя.

— Почему?

— Говорят вам — нельзя. Сегодня выходной... Я здесь хозяин.

Так и не пустил. Его фамилия Гутов.

Был я на Ново-Рыбной, там, где прошло мое раннее детство. Дом номер шесть. Столбики еще целы — каменные у ворот. Я стоял у столбиков, и они были выше меня, а теперь... И даже кипитка та самая, которую открывал Савелий. И двор. Даже голубятня осталась...

Как жаль, что в Одессе я не посетил Канатного переулка, где прошла моя мутная и раздребеженная молодость. Дом Баршмана! Я заплакал бы, если бы увидел его. Там через дорогу жили Полищук, Роза, Бетя. К ним моя влюбленность, к ним и ко всем приходящим к ним. А внизу конфетная фабрика. В окно можно было видеть, как работницы грязными руками по 12 часов обворачивали карамельки. Там я прочел Бокля, Дарвина, Маркса, Михайловского, там я писал первые стихи, там вообще наметился пунктиром я нынешний. Стихи я читал (Пушкина, Некрасова) со слезами — и думал, думал, выдумывал свою философию — самоцели или самодавления — и писал об этой философии целые тетради. Если бы

жизнь моя не сложилась так трудно (многодетность, безденежье, необходимость писать из-за хлеба), я непременно стал бы философом. Помню жаркое ощущение, что я один знаю истину о мире — что я должен открыть эту истину людям, погрязшим в заблуждениях — и сознание своего бессилия из-за необразованности, незнания физики, психологии, вообще слабый научный багаж — о! как тяжко было мне фельетонничать! В доме Баршмана я узнал всё, что знаю сейчас — даже больше. Там я учился английскому языку. (Сижу на мосту «Аджаристана». Выходим из Севастополя... И начинаются неотступные мысли о Муре — при виде крымских гор — их опертания).

15/IX. 1986. Алупка. На могиле у Мурочки. Заржавела и стерлась надпись, сделанная на табличке...

Мурочка Чуковская
24/II 1920—10/XI 1931

А я все еще притворяюсь, что жив. Все те же колочки окружают страдалицу. Те же дурацкие трубы — и обглоданные козами деревья.

29/IX. На пароходе «Крым». Отъезжаем от Ялты в Сочи. Потрясающе провожали меня дети... Каждый хотел непременно нести за мною какой-нибудь предмет: один нес за мною зонтик, другой шляпу, третий портфель. Тот, кому не досталось ничего, горько заплакал. Я сел в «піск ір». Они убежали и вдруг гляжу: несут мой самый большой чемодан — которого и мне не поднять — все вчетвером — милье! И как махали платками.

15/IV. ...Третьего дня жактовские дети по моему совету—даже не совету, а мимоходному замечанию—организовали библиотеку. Я устроил их «бега» и победителям дал призы—книжки. Теперь они по-жертвовали в библиотеку все эти призы—те книжки, которые у них имеются.

13 ИЮЛЯ. А Громов летит, летит. Я всю ночь не спал, принимал ломинал, жизнь моя мелка и бесмысленна, но целую ночь я видел АНТ-25,—над тундрами, над льдами, среди туманов—в бешеном безостановочном вихре полета. Я Громова знаю немного. Лет 6 назад я летел над Москвой в АНТ-14, которым он управлял. Он высокий, спокойный, фигура похож на Шаляпина: простодушие и надменность. И сейчас неотвязно лечу вместе с ним—здесь в Петергофской своей конуре. Даю детям 100 р. на библиотеку.

22/VIII. ...Руководство библиотекой я поручил Мане Шмаковой, школьнице 7 класса... Я смело возложил на нее звание зава, так как работу по регистрации книг она произвела великолепно, составила каталог, установила штрафы, организовала читателей.

13/XI. ...Тревожит меня моя позиция в детской литературе. Выйдут ли «Сказки», выйдет ли лирика? И что Некрасов? И что «Воспоминания» Репина¹⁶. Повесть моя движется медленно. Я еще не кончил Дракониди. Впереди—самое трудное¹⁷.

В душе страшное недовольство собою.

1940

26/VIII. Была Анна Ахматова. Величавая, медленная. Привела ее Ниночка Федина. Сидела на террасе. Говорила о войне... «Я так и в дневнике записала «Одичалые немцы бросают бомбы в одичалых англичан».

1941

15 ОКТЯБРЯ. ...Эти дни для меня страшные. Не знаю, где Боба. 90 процентов вероятности, что он убит. Где Коля?.. Это мои... раны.

1942

1/IV. День рождения. Ровно LX лет. Ташкент. Цветет урюк. Прохладно. Раннее утро. Чирикают птицы. Будет жаркий день.

Подарки у меня ко дню рождения такие. Боба пропал без вести¹⁸. Последнее письмо от него—от 4 октября прошлого года из-под Вязьмы. Коля—в Ленинграде. С поврежденной ногой, на самом опасном фронте. Коля—стал бездомным: его квартиру разбомбили...

Живу в комнате, где, кроме двух географических карт, нет ничего. Сломанный умывальник, расшатанная кровать, на подоконнике книги—равнь случайная—вот и все—и тоска по детям. Окна во двор—во дворе около сотни ребят, с утра до ночи кричащих по-южному.

1944

1 МАРТА. ...Достоевский (Для моей статьи о Чехове.) «Только то и крепко, подо что кровь пропечет». Только забыли, негодяи, что крепко-то оказывается не у тех, которые кровь пролывают, а у тех, чью кровь пролывают. Вот он—закон крови на земле».

31 МАРТА. ...У Чехова в «Чайке»:

«—Лечиться в шестьдесят лет!

— И в шестьдесят лет жить хочется...

— Лечиться в шестьдесят лет, жалеть, что в молодости мало наслаждался, это, извините, легкомыслие.»

Но ведь легкомыслие главное мое спасение.

Как чудесно, что в великий предсмертный канун я еще раз могу с волнением и радостью читать Чехова.

Сего дня 29 АВГУСТА в пятницу... ругательный фельетон о моем «Бибионе»... Был у меня Боровой¹⁹—мы гуляли с ним—было весело—пришли с прогулки—Мария Борисовна говорит: «посмотри, вот статья о «Бибионе». Погода теплая, сырватая. Все же у меня хватило силы прочитать Боровому о Некрасове, но сейчас сердце болит до колик—и ничего взять в рот не могу.

5 СЕНТЯБРЯ. ...Я читаю: «Благонамеренные речи» Щедрина, записи Г. З. Елисеева, дневник Блока... В сущности, я всю жизнь провел за бумагой—и единственный у меня был душевный отдых: дети. Теперь меня ошелмовали перед детьми, а все, что я знаю, никому не нужно...

Надо взять мою тоску измором—задушить ее неспособной работой. Берусь за мою рукопись о Некрасове, которая так же клошковата, как и все в моей жизни сейчас.

26 СЕНТЯБРЯ. Первый погожий день после убийственной слякоти. Был у меня Алексей Иванович Пантелеев, и мы пошли с ним на Нейскую поляну²⁰. За нами увязались веселые дети: Леночка Тренева. Варя Арбузова. Леня Пастернак и еще какие-то—шестилетние, пятилетние, восемилетние веселой гирляндой—тут драка не драка, игра не игра. Барахтаются, визжат, цепляются—в каком-то широком ритме, который всегда дается детям осенью, в солнечный день—подарили мне подсолнухов, обворвали для меня всю рябину—и мне вдруг после страшно тяжелой похоронной тоски стало так весело, так подетски безбрежно и размашисто весело, что, должно быть, А. И. с изумлением смотрел на этот припадок стариковской рзвости.

18 НОЯБРЯ. ...я заметил, что в нынешнюю волевую эпоху лица русских людей менее склонны к мимике, чем в прежнее время. Мое, например, лицо во всяком нынешнем общественном собрании кажется чересчур подвижное, ежеминутно меняющееся, и это отчуждает от меня, делает меня несолидным.

Вчера сдал наконец статейку о Некрасове в «Новый мир».

1947

30/XII. ...Вчера Литгазета потребовала у меня написать 100 строк о самой лучшей и о самой худшей книге 1947 года. Я с увлечением написал о Нечкиной («Грибоедов и декабристы»), снес самолично в редакцию, и оказалось: так как никто другой не написал в подходящем стиле, весь задуманный отдел развалился и зря я потерял целое утро. Даю себе слово уйти в Некрасова и не соблазняться газетной работой. Сколько я истратил души на такую мелочь и чушь!..

1949

1 ЯНВАРЯ. Сижу над статьейкой об Англо-Американской словесности...

На 1948 год лучше не оглядываться. Это был год самого ремесленного, убивающего душу кропанья всевозможных (очень тупых!) примечаний к трем томам огизовского «Некрасова», к двум томам детгизовского, к двум томам «Библиотеки поэта», к однотомнику «Московского рабочего», к однотомнику Огиза, к Авдотье Панаевой, к Слепцову и проч., и проч., и проч. Ни одной собственной строчки, ни одного самобытного слова, будто я не Чуковский...

1953

25 АПРЕЛЯ. ...Хочется сделать что-нибудь — «достойное нашей эпохи» — а я все свои душевые силы сосредотачиваю на таких проблемах: можно ли в таком-то стихотворении Некрасова заменить кавычки — тире? Вчера хоть сидел часок над воспоминаниями о Житкове, а сегодня 300 гранок детгизовского Некрасова... Всегда у меня была тяга к событийной, напряженной, клокочущей жизни. В 21 год я уехал в Лондон — был на «Пстремкине» — писал... статьи — жил неперекор обстоятельствам — а теперь точно в вате — только и могу жить в санаторных условиях, как и подобно старику.

22 ДЕКАБРЯ. ...Мне всю ночь снился Чехов. Будто я разговаривал с ним, и он (я даже помню каким почерком) внес поправки в издание Гослита. Приснувшись, я еще помнил, какие поправки, но теперь, через час, забыл.

1954

1 АПРЕЛЯ. Вот мне и 72 года! Невероятно. Встал в 5 часов — очень бодрый и радостный... Переделываю «Мастерство» [Некрасова]. Хочу к 1 мая спрашиваюсь... Правлю главу о фольклоре.

5 АПРЕЛЯ. Вчера одним махом перевел рассказ О. Генри «Стриженый волк». К вечеру сделал открытие: о связи фольклорных стихотворений Некрасова с Рылеевскими — и вписал эти соображения в главу о фольклоре.

15 ИЮЛЯ. Пятьдесят лет со дня смерти Чехова. Ровно 50 лет тому назад, живя в Лондоне, я вычитал об этом в Daily News и всю ночь ходил вокруг решетки Bedford Square'a — и плакал как сумасшедший — до всхлипов. Это была самая большая моя потеря в жизни. Тогда же я сочинил плохие, но искренне выплаканные стихи: «Ты любил ее нежно, эту жизнь многоцветную», то есть изложил в стихах то самое, что сейчас (сегодня) изложил в Литгазете.

Прошло 50 лет, а моя любовь к нему не изменилась — к его лицу, к его творчеству.

1955

13 ДЕКАБРЯ. Вчера сдал наконец в «Дом детской книги» новое, 11-ое издание своей книжки «От двух до пяти»... Мне хотелось работать над Чеховым, над Блоком, над Бунином, над Слепцовым — а тянуло к этой незаконной книжонке, как, судя по романам, тянет от жены к любовнице.

На прошлой неделе выступал с чтением о Блоке. В зале Чайковского было пышное чествование...

Готовя это выступление, я прочитал свою старую книжку о Блоке²¹ и с грустью увидел, что она вся обокрадена, ощипана, разграблена нынешними блоковедами. Когда я писал эту книжку, в ней было ново каждое слово, каждая мысль была моим изобретением... То же и с книжкой «От двух до пяти»...

Между тем я умею писать только изобретая, только высказывая мысли, которые никем не высказывались. Остальное совсем не занимает меня. Излагать чужое я не мог бы.

1956

1 СЕНТЯБРЯ. ...Третьего дня вышло новое издание «От двух до пяти». Книжка стала серьезной, чеканной, стройной. Нет ни одной мысли, которую я списал бы откуда-нибудь — вся она моя, и все мысли в ней мои. Ее издать надо было серьезно, строго, просто, а издали ее вычурило, с финтифлюшками, с плохими детскими рисунками.

1958

2 ЯНВАРЯ. ...Я начал писать о Брюсове и брови. Начал об Алексее Толстом и брови. Начал об Оскаре Уайльде и брови. Сейчас нужно: Чехов, Чехов, Чехов. Вчера стал изучать его записные книжки.

23 МАЯ, ночь на 24. ...без писания я не понимаю жизни. Глядя назад, думаю: какой я был счастливец. Сколько раз я знал вдохновение! Когда рука сама пишет, словно под чью-то диктовку, а ты только торопишься — записывай. Пусть из этого выходит такая мизерня, как «Муха цокотуха» или фельетон о Вербицкой, но те минуты — наивысшего счастья, которое доступно человеку.

31 ДЕКАБРЯ [Барвиха]. Вчера Маршак был прелестен. У него в номере (18-м) мы устроили литературный вечер: я, он и Кнорре. Стали читать его переводы Бернса — превосходные, на высочайшем уровне. Мы обедали и ужинали вместе; за ужином вспоминали Льва Моисеевича Клячко, о котором Самуил Яковлевич сохраняет самые светлые воспоминания. Мне тоже захотелось вспомнить этого большого и своеобразного человека. Я познакомился с ним в 1907 году, работая в литературном отделе газеты «Речь». Он был репортером, «королем репортеров», как говорили тогда. Казался мне вульгарным, всегда сквернословил, всегда рассказывал анекдоты — типичный репортер того времени. Выделялся его из их толпы только доброта. Так как по своей должности он часто интервьюировал министров, да и видел их ежедневно (в Думе и в министерствах), к нему всякий раз обращались десятки людей, чтобы он похлопотал о них. И он никогда не отказывал...

В 1921 году Клячко задумал основать изательство... Нужна была марка... повторяющаяся на каждом томе. Я предложил изобразить на марке Ноя, который видит радугу и простирает руки к летящему голубю. Мы так и назвали будущее мемуарное изательство «Радуга», я познакомил Клячко с Чехониным, который и нарисовал нам Ноя с голубем и радугой. На другой день, когда у Клячко был семейный праздник (кажется, именины одной из дочерей), он немного выпил и был в благодушнейшем настроении, я прочитал ему две свои сказки, которые написал тем летом на Лахте (наряду со статьей: денежная тема в творчестве Некрасова) — «Мойдодыра» и «Тараканище»... На следующий день он знал их на-

извест и декламировал каждому, кто приходил к нему. «Ехали медведи на велосипеде».

В тот же день побежал к моему приятелю Ю. Анненкову (тот жил рядом со мною на Кирочной), съездил в литографию, снова посетил Чехонина, и каша заварилася. Его энтузиазм был (нужно сказать) одноким. Те, кому он читал мои сказки и кому, по его настояльному желанию, читал я, только похищали плечами и громко высказывали, что Клячко свихнулся. Помню репортеров, которые продолжали составлять его компанию (Полякова рыжего, Гиллера и др.), которые предсказывали ему верное банкротство. Он и вправду казался одержимым: назначил обеим моим книжкам «огромный» по тому времени тираж: 7000 экз. и выпустил их к Рождеству 1922 года (или чутьку позже). Когда я привел к нему Маршака, тогда же, в самом начале 1922 г., он встретил его с восторгом, как долгожданного друга, издал томик его пьес и был очарован его даровитостью. Помню, как он декламирует:

На площади базарной,
На каланче пожарной —

упиваясь рифмами, ритмом, закрывая глаза от удовольствия. В качестве газетного репортера он никогда не читал никаких стихов. Первое знакомство с поэзией вообще у него состоялось тогда, когда он стал издателем детских стихов — до той поры он никаких стихотворений не знал.

1960

21 АПРЕЛЯ. ...Вожусь с воспоминаниями о Короленко. Снится мне до полной осознательности Чехов. Он живет в гостинице, страшно худой, с ним какая-то пошлая женщина, знающая, что он через 2–3 недели умрет. Он показал мне черновик рассказа: вот видите, я пишу сначала без «атмосферы», но в нижней части листка высчитываю все детали, которые нужно сказать мимоходом в придаточных предложениях, чтобы создалась атмосфера... Чехов пригласил меня кататься в коляске. И та пошлячка, которая стоит при нем, говорит:

— Ты бы, Антоша, купил «Кадиляк».

И я думаю во сне: какая стерва! Ведь знает, что он умрет и машина останется ей.

И поцеловал у Чехова руку.

5 ОКТЯБРЯ. Погода прелестная, сухая. Ко мне в гости приехала 589 школа 5-й класс и 2-й класс. У меня болела голова, я лежал в тоске — и вдруг столько чудесных — веселых, неугомонных детей. Я провел с ними 4 часа и выздоровел. Даже усталости не чувствовал ни малейшей. Они собирали ветки для костра, бегали наперегонки, наполнили весь наш лес гомоном, смехом, перекличками — и мне кажется, я никогда ни в одну женщину не был так влюблен, как в этих ясноглазых друзей. Во всех сразу... В библиотеке я много читал им своего — они внимательнейшие слушали. Потом бегали по скамьям, показывали физкультурные номера, взлезали на деревья, девочки не хуже мальчишек. Мне даже учителя их понравились.

1961

11 ФЕВРАЛЯ счастливейший день. С утра до вечера пишу без оглядки, не перечитывая того, что написано. Писать мне приятно лишь в том случае, если мне кажется, что я открываю нечто новое, чего никто не говорил. Это, конечно, иллюзия, но пока она длится, мне весело...

13 ФЕВРАЛЯ. Пишу вовсю. Глава об иностранцах и Бешинском — пишется мною сплеча и я боюсь перечитать ее.

1 АПРЕЛЯ. День рождения: 79 лет. Встретил этот предсмертный год без всякого ужаса, что удивляет меня самого... было грустно и весело...

Очень интересно отношение старика к вещам: они уже не его собственность.

Всех карандашей мне не истратить, туфлей не доносить, носков не испрепать. Все это чужое... И все это знаю. И делают вид, что я такой же человек, как они.

23 ИЮЛЯ, воскресенье. ...Еле жив. Не выходит 3 недели. Все больше валиюсь в постели. Вожусь с «языком». Но сегодня надо встать. Через полчаса начало спектакля (у нас в лесу) «Ореховый прутник» — по мотивам румынских народных сказок.

Все это устроила Цецилия Александровна Воскресенская, дочь жены Сельвинского — женщина феноменальной энергии. Она всполошила весь поселок, устроила декорации, два месяца натаскивала всю деревню, вся деревня заворожена этим спектаклем. Вчера я дошкандыбал до костра — увидел такое предспектакльное настроение, какое помню только в Художественном театре перед постановкой «Слепых» Метерлинка. Все дети вдруг оказались милыми, дисциплинированными, сплоченными тесной дружбой. Ровно в 12 за мною пришли... погода чудесная, идут, идут без конца наряженные дети, и дежурные указывают им путь. Я гляжу из окна. Видна крепкая организация, какой у нас не бывало. Надеваю индейские перья — схожу вниз — и вижу чудо. Великолепная декорация с башней. Все дети — шелковые. За кулисами суета — на сцене идеальный порядок. Девочка Марибо Костоправкина играет роль героини, идущей освободить своего брата от чар ведьмы. Ведьма — Грунья Васильева. Немножко жаль, что чудесные детские лица прикрыты масками: Котя Смирнов — дракон. Женя — привязанный к скале великан — ужасные личины, под которыми свежие щеки и детские глаза. Спектакль идет без суплера. Все знают свои роли. Среди публики — Константин Федин (оба его внука — участники спектакля)... Успех огромный. Десятки детей хотят записаться в кружок.

Я все бьюсь над стопкой о школьном арго. Больно чувствовать себя бездарностью.

30 ИЮЛЯ. ...Первые пять глав своей книги «Живой как жизнь» я уже отдал «Молодой гвардии»... Слишком большую главу занимают в моей книжке канцеляризмы. Между тем дело не только в них, пропала самая элементарная грамотность.

СЕГОДНЯ, 6 АВГУСТА два огромных события — полет 2-го Востока в космос — Германа Степановича Титова. Сейчас, когда я сижу в комнате и пишу эти строки, его, Германа Степановича, мотает в безвоздушном пространстве вокруг этой трагически нелепой планетки с ее Шекспирами, Львами Толстыми, Чеховыми, Блоками, Шиллерами и Эйхманами. Что он чувствует в эти минуты? Меня почему-то томит такая тревога, что я буквально не нахожу себе места. Нашел ли он там, в пустоте, бессмертие или смерть?

И второе событие. Я закончил (даже не верится) свою книгу «Живой как жизнь», над которой корпел день и ночь весь этот год.. Книжка вышла свежая и, пожалуй, невредная... Всех страниц оказалось 180. Всех глав семь. И я даже поверить не могу, что, вставая с постели в 4–5 часов утра, я уже не должен сочинять эти главы.

11/1. ...Вспомнил о маме. Послала она меня в аптеку (Дзенкевича) за каплями Боткина и дала бумажный рубль. Я сунул рубль в перчатку, а перчатка была вырвавая,— и в аптеке оказалось, рубля нет. Я в слезах и в отчаянии прибежал домой без рубля и без лекарства. И мама сказала:

— Ну что ж! Подумай только, как обрадуется тот, кто найдет этот рубль. Какая-нибудь бедная женщина и т. д.

История с ее именами. 24 декабря в день св. Екатерины. Особенный день, другого цвета, другого запаха, чем все остальные. И нужно было по секрету подготовить подарки. И тут происходили чудеса: вдруг дней за десять где-нибудь в башмаке я находил трехрублевку. «Мама, вот 3 р.» — «Это не мои деньги». Уверенный, что просто мне повезло, я шел с Марусей²² и Маланкой в магазин Колпакчи и покупал стеклянный графин со стаканами, а на полученную сдачу бюст Шевченко, и был так мал, что не знал о Шевченке ничего и думал, что всякий бюст называется шевченко. А Маруся, найдя у себя под подушкой такие же три рубля, покупала канву и мотки гаруса и начинала вышивать для мамы подушки, таясь по темным углам. Секретность соблюдалась чрезвычайная.

— Мама идет! Прячь! — шептал я в ужасе, но мама упорно не замечала ни Маруси, ни вышивки. Мне и в голову не приходило тогда, что мама знает в этой вышивке каждый крестик и, покуда Маруся спит, корректирует ее вышивание. И ужас: я сам же нечаянно и разбил кувшин предназначенный для подарка. И на туалетном столе — розовая юбка у туалетного стола, а сверху тюль — нашел новую трехрублевку.

Воспитывала она нас демократически — нуждою. Какой это был ритуал: когда она мыла посуду, вытирать полотенцем тарелки и вообще помогать маме.

1965

И так с 4 АПРЕЛЯ 1965 я здесь в 93 боксе загородной больницы, то есть в раю. ...Вечером после работы с Я. пошел пройтись. Ко мне подбежала Виля Полякова, 11-летняя девочка, с которой я воююсь, так как она чем-то напоминает Мурочку, которая дожила до 11 лет... Мурочка была феноменальна по чуткости, по талантливости...

1968

(Апрель — май)

Больничные записки.

Что вспомнилось или собачья чуши (писано в больнице при высокой температуре).

Как-то в ресторане Вена я увидел поэта Мих. Кузмина в большой незнакомой компании. Меня привлекли к столу. Кузмин указал на одну пышную даму, сидящую рядом с ним, и сказал:

— Вот вы все пишете о Некрасове, а не знаете, что эта вакханка — родная дочь Авдотьи Яковлевны Панаевой.

— Как вы смеете! — рассердилась вакханка.— Я никому, никому не говорю, что я ее дочь.

Вакханка оказалась писательницей Нагродской, автором напущенного романа «Гнев Диониса»...

Тут же Нагродская проговорилась, что у нее есть тетрадь, исписанная рукой Некрасова. Нужно было разобраться у нее эту тетрадь.

Жила она в Павловске. Не надеясь на свои силы, я взял с собою двух друзей: Эмиля Кроткого и Иса-

ака Бабеля. По дороге я рассказал им, какое значение для некрасоведения может иметь наша добыча. Всю дорогу Эмиль Кроткий безостановочно острял, Бабель многозначительно молчал. Бабель в то время симулировал великую почтительность ко мне, и каждую фразу свою начинал словами «Уй Корней Иваныч» и часто сопровождал меня в моих хождениях по городу — и конечно, я чувствовал, что это напускная почтительность, что в ней есть очень много подспудной иронии, но охотно принимал эту игру.

Мы пошли к Нагродской вдвоем с Эмилем Кротким. Бабель остался в саду. Кроткий сразу испортил все дело. Он стал говорить этой dame, каким драгоценным она владеет сокровищем, как дорога для потомства каждая строчка Некрасова и т. д., и т. д.

Я постарался отделаться от такого неумелого союзника и кликнул на помощь Бабеля. Бабель суммарно слушал наши разговоры, как слушает великий артист неумелых дилетантов, и сделал нам знак, что-бы мы замолчали.

— Позвольте, Елена (или Елизавета?) Аполлоновна²³ поговорить с вами интимно... — сказал он.— Наедине.

И ушел с нею в другую комнату. Видно было, что она симпатизирует ему больше, чем нам.

Мы ждали его очень долго. Наконец он вышел весь красный, в крупинках пота на высоком челе, с веселыми огоньками в глазах. В руке у него была черная (ныне знаменитая) тетрадь, которую он и вручил мне с обычным своим ироническим полуоклоном. Я выдал Нагродской расписку, и руки у меня дрожали. Когда мы вышли, я спросил Бабеля, какое такое волшебное слово сказал он ей, что она согласилась расстаться со своим сокровищем.

— Я говорил с ней не о Некрасове, нет, а о ее романе «Гнев Диониса». Я расхвалил этот роман до небес, я говорил, что она для меня выше Флобера и Гюисмана, я говорил ей, что и сам нахожусь под ее влиянием. Она пригласила меня приехать к ней в ближайшую пятницу, она прочтет мне начало своего нового шедевра... И зачем вам какие-то прежние архивные документы, если вы владеете настоящим и будущим.

— Но ведь «Гнев Диониса» — бездарный роман! — сказал я.

— Не знаю, не читал, — ответил Бабель.

Зиновий Исаевич Гржебин окончил Одесскую рисовальную школу, никогда ничего не читал.

В литературе он разбирался инстинктивно. Леонид Андреев говорил:

— Любли читать свои виши Гржебину. Он слушает сонно, молчаливо. Но когда какое-нибудь место ему понравится, он начинает нюхать воздух, будто учился запах бифштекса. И тогда я знаю, что это место и в самом деле стоящее...

Гржебин действительно располагал к себе. Он был неповоротлив, казался благородным, трогательно идилическим простецом. У него было трое девочек: Ката, Буба и Ляля и милая, худощавая, преданная ему жена Мария Константиновна, и мать Марии Константиновны, престарелая русская женщина. Дом был гостеприимный, щуплый, я очень любил там бывать...

Жил он на Таврической улице в роскошной большой квартире. В моей сказке «Крокодил» фигурирует «милая девочка Лялечка»; это его дочь — очень изящная девочка, похожая на куклу.

Когда я писал:

«А на Таврической улице мамочка Лялечку ждет», — я ясно представлял себе Марью Константиновну, взврежденную судьбою Лялечки, оказавшейся среди зверей.

Понедельник, 10. ИЮНЬ. ...Вновь в тысячный раз читаю Чехова. О Чехове мне пришло в голову написать главу о том, как он, начав рассказ или пьесу минусом, кончал ее плюсом. Не умею сформулировать эту мысль, но вот пример: водевиль «Медведь» начинается ненавистью, дуэлью, а кончается поцелем и свадьбой. Для того чтобы сделать *постепенно* переход из минуса в плюс, нужна выразительность диалога. См. например «Дорогую собаку». Продает собаку, потом готов приплатить, чтоб ее увести.

1969

ВОТ УЖЕ 4 СЕНТЯБРЯ. Сколько событий обнаружилось за это время... Я начал писать о детективах и бросил. Начал о Максе Бирбоме²⁴

и бросил. Сейчас пишу о том, как создавались мои сказки.

7 ОКТЯБРЯ. ...Пробую писать, не пишется... Пишу 3-й этюд о своих сказках²⁵. Тороплюсь, потому что знаю, что завтра голова моя будет слабей, чем сегодня.

У меня над дверью табличка: «Подозревается болезнь Боткина».

8 ОКТЯБРЯ. ...Продолжаю писать.

16 ОКТЯБРЯ. Слабость, как у малого ребенка, хотят я сказать, но вспомнил о Митяе Чуковском и взял свои слова обратно. Митяй, которому сейчас 10 месяцев, феноменальный силыч, сложен, как боксер. В январе 2000 года ему пойдет 32-й год. В 2049 году он начнет писать мемуары:

«Своего прадеда, небезызвестного в свое время писателя, я не помню. Говорят, это был человек легкомысленный, вздорный...»

Примечания

¹ Речь идет о сборнике стихотворений американского поэта Уолта Уитмена (1819—1892). Чуковский переводил Уитмена с 1906 года и выступал с лекциями о нем. В 1914 году в издательстве «Т-во И. Д. Сытина» вышел сборник стихотворений Уитмена в переводе Чуковского с предисловием И. Е. Репина. Книга называлась «Поэзия грядущей демократии».

² Александр Николаевич Тихонов (Серебров) (1880—1956), заведующий издательством «Всемирная литература».

³ Боба (Борис), р. 1910 г.—сын К. Чуковского.

⁴ Речь идет о Студии художественного перевода.

⁵ Маша — Мария Борисовна Чуковская (1880—1955), жена К. Чуковского.

⁶ Лев Моисеевич Клячко (1873—1934), журналист, книгоиздатель.

⁷ Юрий Павлович Анненков (1889—1974), художник, первый иллюстратор «Двенадцати» Блока.

⁸ Сергей Васильевич Чехонин (1878—1936), график, декоратор, живописец. Ему принадлежат первые иллюстрации к «Тараканищу».

⁹ Речь идет о книгах — «Жена поэта», «Некрасов как художник» и «Поэт и палач», выпущенных в издательстве «Эпоха» в серии «Некрасовская библиотека».

¹⁰ «Современный Запад» — литературный журнал, выходивший под редакцией А. Н. Тихонова (Сереброва).

¹¹ Федор Кузьмич Сологуб (1863—1927), поэт и прозаик.

¹² Коля, р. 1904 г.—старший сын К. Чуковского.

¹³ К. Чуковский. Некрасов. Статьи и материалы. Л., «Кубуч», 1926. В книгу вошли этюды о поэзии и личности Некрасова, а также новонайденные произведения поэта. 2-е издание этой же книги вышло под названием «Рассказы о Некрасове» (М., «Федерация», 1930).

¹⁴ Елена Михайловна Тагер (1895—1964), писательница и переводчица.

¹⁵ Татьяна Александровна Богданович (1873—1942), писательница и переводчица.

¹⁶ И. Е. Репин. Далекое — близкое. Воспоминания. Под ред. и с предисл. К. Чуковского. М.-Л., «Искусство», 1937.

¹⁷ Речь идет о повести «Гимназия». Эта повесть вышла в 1938 году с подзаголовком «Воспоминания детства». Окончательный вариант печатался под названием «Серебряный герб».

¹⁸ Борис Корнеевич Чуковский, инженер-гидростроитель, в начале войны ушел добровольцем в московское ополчение и осенью 1941 года погиб в боях под Москвой.

¹⁹ Лев Яковлевич Боровой (1900—1970), писатель.

²⁰ Неясная поляна — шуточное название большой поляны, находящейся между переделкинским кладбищем и дорогой, по левой стороне которой стоят дачи Павленко, Федина, Пастернака, Вс. Иванова, Афиногенова, Сейфуллиной.

²¹ К. Чуковский. Александр Блок как человек и поэт. Изд-во «А. Ф. Маркс», Пг., 1924.

²² Маруся (Мария), р. 1879 г.—сестра К. Чуковского.

²³ Имя, отчество Нагродской — Евдокия Аполлоновна.

²⁴ Макс Бирбом (1872—1956), английский сатирик, карикатурист.

²⁵ Статья не была закончена. Опубликована посмертно под названием «Признания старого сказочника» (см. «Литературная Россия» 23 и 30 января 1970 г.).

Публикация и примечания
Елены ЧУКОВСКОЙ



АЛЛА
КИРЕЕВА

ОСТАНОВИТЬСЯ, ОГЛЯНУТЬСЯ...

1492 году на камне, и доныне лежащем у старой немецкой церкви, безымянный монах высек слова: «Об этом камне многие знают много, каждый — что-нибудь, но никто не знает достаточно». Камень, упавший с неба, был непростым, — сегодня такие камни называют метеоритами.

А монах, сумевший сказать о загадочном камне так, как не могли сказать другие, явно был поэтом. Ведь и спустя почти пять веков в его словах сохранились мудрость, поэтическость, таинственность. Сразу же хочется вспомнить фразу Альберта Эйнштейна, фразу, в которой как бы продолжается мысль средневекового монаха: «Самое прекрасное, что мы можем испытать, — это ощущение тайны. Она есть источник всякого подлинного искусства и всей науки. Тот, кто никогда не испытывал этого чувства, кто не умеет остановиться и задуматься... тот подобен мертвому, и глаза его закрыты...»

Раньше, давным-давно, человек часто смотрел в небо. Там, по его понятиям, был бог. Но там были еще солнце, луна и звезды, по которым человек определял направление. Небо подсказывало, куда идти. Глядя в небо, можно было — пусть и не очень точно — предсказать погоду. И, наконец, можно было увидеть красоту мироздания.

Прошло время, теперь для изучения звезд существуют обсерватории, радиотелескопы, огромные наблюдательные комплексы. Да в большом городе и небо-то почти не видать. Когда одну девочку, выросшую в городе и впервые в жизни попавшую в степь, спросили, нравится ли ей там, она отвечала: «Очень! Здесь небо до самой земли!..»

Мир меняется. Темп развития человеческого общества стремительно нарастает. «Каменный век», «железный век», «век пара», «век электричества»... У нынешнего нашего с вами столетия названий вообще не счесть — «атомный век», «электронный», «космический», «реактивный» и т. д. Есть даже глобальное — «эпоха НТР».

Вроде бы все завоевания науки брошены на службу человечеству. В небе — спутники, межзвездные корабли. Лайнеры, поглотившие расстояния, уплотнившие время. Но в этом же самом небе — желтый смог и мельчайшие кусочки угля, вылетающие из высоких заводских труб. На земле и под землей — машины, перевозящие и обслуживающие уйму народа. Но здесь же — всевозможный мусор, тысячи, миллионы тонн мусора. В морях и океанах — бесчисленные танкеры, сухогрузы, пассажирские теплоходы. А рядом с ними покачиваются на волнах огромные нефтяные пятна, и глубоко под водой, на океанском дне покоятся контейнеры с отходами атомной промышленности... «Что поделать? Парадоксы прогресса...», — вздыхаем мы.

Дома у многих из нас достаточно технических устройств, которые могут постирать и погладить, обогреть человека и заморозить продукты, дать возможность переговорить с другом, находящимся в другом городе. Более того, машина может развлекать и даже просвещать. Пользуясь ею, можно, не выходя из дома, увидеть космонавтов, совершающих очередной виток вокруг Земли, побывать на параде, «съездить» в Египет или Петропавловск-на-Камчатке, посмотреть

кинофильм (новый, старый, хороший, плохой), спектакль, увидеться с Рихтером или Райкиным. Все возможно.

Казалось бы, при содействии таких помощников высвобождается уйма свободного времени. А вот и нет! Его все меньше и меньше. Некогда взглянуть на небо, некогда остановиться и оглянуться, надо бежать, надо спешить. Век такой, жизнь такая, такое время...

Время и впрямь стремительное. Многие из недавних волшебных сказок стали явью. А человек по-прежнему тянется к сказке, и чем больше он узнает о мире, тем с большим вниманием вглядывается он в глубины народной мудрости, всматривается в прошлое Земли. Да, мир меняется почти ежедневно, но чувства человеческие остаются теми же — любовь и ненависть, верность и ревность. Человек меняется мало. Наверное, именно поэтому великие произведения искусства всегда современны. И сегодня созвучны нам бессмертные строки гомеровской и дантовской поэзии, и сегодня близки и понятны нам мысли любимых литературных героев.

«Если век может идти себе вперед, наука, философия и гражданственность могут усовершенствоваться и изменяться, то поэзия остается на одном месте... Цель ее одна, средства те же». Это сказано в начале прошлого века Пушкиным. Но и в конце XX века эти слова звучат весомо и справедливо.

Прошлое связано с настоящим, связано с будущим тысячами зримых и незримых нитей. Даже самое далекое прошлое имеет прямое отношение к нашим нынешним дням, оно связано с каждым из нас, лично. Российские воины, сражавшиеся на Куликовом и Бородинском полях, советские солдаты, победившие фашизм во время Великой Отечественной войны, защищали не только грядущие жизни своих потомков, но и всю нашу многовековую культуру. Всю — и прошлую и будущую!

Но дело даже не только в таком — символическом — восприятии истории, и не только в том, что вся она — более или менее подробная — может вместиться в обыкновенный школьный учебник. Дело в буквальном — почти осозаемом! — близости поколений и времен.

Посмотрите, как наглядно и остроумно объяснил взаимосвязь людей, живших в разные исторические эпохи, старый русский писатель А. В. Амфитеатров. Вот что он писал в 1910 году:

«Сноша, которому сейчас 21 год, в пятнадцать лет сознательно застал Антона Чехова, умершего в 1904 году. Антон Чехов, пятнадцатилетним юношем застал историка Погодина (ум. 1865), весьма замечательного и центрального человека... Погодин, пятнадцатилетним юношем, застает Державина (1816, Державин пятнадцатилетним юношем, застает Ломоносова (1765). Ломоносов, пятнадцатилетним юношем, застает смерть Петра Великого (1725).

Итого, всего четыре жизни человеческих — совсем не сверхъестественно долгих, а чеховская даже чрезмерно коротка — отделяют 1910 год от преобразования старой Руси, — всего четыре пересказа из уст в уста должно было пройти ее живое предание».

Писатели и поэты прошлого — «культурные предки» современных людей. Вряд ли сыщешь сегодня поэта, да и просто грамотного человека, в жилах которого не бродила бы «поэтическая» кровь Пушкина, Тютчева, Есенина.

Да, время стало стремительнее, мощнее, наполненнее. Статистика подтверждает: каждый час в мире совершаются полтора десятка открытых изобретений. Разные люди в различных областях науки и техники говорят свое слово, открывают новое. Вдумай-

тесь; в час — пятнадцать изобретений и открытий! А в сутки?! А в год?!

В искусстве тоже совершаются свои «изобретения» и открытия. Но есть существенная разница: крупное научное открытие зачастую опровергает — либо меняет — многое из того, что было до него в той или иной отрасли знаний. Оно как бы устанавливает новые связи, утверждает новые закономерности, показывает их жизненность, объясняет их суть.

Истинные законы науки существуют объективно, независимо от того, открыты они уже или еще не открыты. Закон Ньютона был физической реальностью и до рождения Ньютона. И если бы он не был открыт Ньютоном, то непременно появился бы другой ученый, который — рано или поздно — обязательно открыл бы этот закон. Ведь не случайно к одному и тому же открытию, к одному и тому же изобретению, подходили с разных сторон — одновременно или почти одновременно — Ломоносов и Лаваузье, Бойль и Мариотт, Попов и Маркони.

А вот создать «Анну Каренину» не смог бы никто, кроме Толстого. И «Бесов», кроме Достоевского, никто бы не написал. И «Мертвые души», и «Двенадцать», и «Тихий Дон», кроме их авторов, никто никогда не смог бы создать.

Помимо информации о времени и о жизни наших предков, великие литературные произведения всегда доносят до нас энергию человеческого духа, энергию творческой личности. Эта энергия во все века ценилась на вес золота. Цениится она и сейчас. Но бывает, читаешь стихи иных поэтов и чувствуешь, что убывает твоя собственная энергия:

В джинсы модные одеты,
В серебре запястья рук.
И дымок от сигареты
Расплывается вокруг.
Соловьи всегда банальны,
И играют во садах
Современные баяны
На транзисторных ладах.

В стихотворении Анатолия Бегдановича «Время» хотя и есть какие-то внешние приметы нынешнего дня, однако, кажется, автору недостает личностной оценки того, о чем он пишет. Его наблюдения бана́льны и необязательны. А вот строфа из произведения, так сказать, на «вечную» тему — о загадочной человеческой душе:

Душу выразить не умеючи,
Потому что она таинственная,
Человек сидит на скамеечке,
Заунывную песню насиживая.

(Е. Александров)

Согласитесь, такого рода стихи открытием назвать нельзя. А открытия, как известно, в искусстве необходимы. Ведь только искусство способно сберечь цельность человека во все более усложняющемся мире. Оно, искусство, как атмосфера Землю, стремится предохранить человека от эрозии цинизма, от душевного малокровия, сътого равнодушия.

Однако не надо забывать, что человек живет во времени, а со спецификой и парадоксом этого времени необходимо считаться.

Знакомый журналист рассказывал, как во время математического конгресса зашел он в аудиторию университета. У доски стоял человек и писал какую-то формулу, дикованную и длинную. Слов было крайне мало. Все они были вроде бы знакомыми, но как-то не соединялись в предложения: «таким образом».., «тогда».., «при условии».. Это было интересно, но совершенно непонятно. Наш журналист чувствовал

себя как ученик, пропустивший целую учебную четверть и пришедший на контрольную по тригонометрии. Человек у доски произнес знакомое слово: «значит...», написал бесконечную формулу, потом добавил: «конечно, не...», написал еще две длинные строчки, и тут же раздался громовой хохот аудитории.

То был профессиональный язык, который не был знаком нашему другу. Нет человека, рождающегося со знанием языка, а тем более — профессионального, с умением читать математические формулы или иное письмо. Этому обучаются.

Профессиональный поэтический язык понимают все. Вернее, как правило, все понимают слова, из которых он состоит. (Правда, сами стихи бывают как простыми, так и сложными для восприятия.)

Много новых слов и понятий вошло в поэзию сегодня — в эпоху НТР. Обогатило ли это поэзию? Безусловно, да. Вспомните стихи Леонида Мартынова, Вадима Шефнера и более молодых Дм. Сухарева и А. Вознесенского, где энтеоровские понятия естественны, органичны. Поэты мыслят ими, а не используют их в качестве аляповатых декораций к нехитрым рассуждениям. Но, как говорится, повезло не каждому стихотворцу. Приведу несколько примеров с «научно-техническими» терминами:

Телеграфом сердца принимаю
телеграмму своего родства(?)

(Л. Терехин)

Я слушаю твое молчанье
По телефону грустных глаз(?)

(Е. Александров)

Небо все же голубей всех экранов «теле».

(А. Пшеничный)

Посмотрите, ведь вроде бы все есть: и телефон, и телеграф, и «экраны теле», но понятия и слова эпохи НТР сами по себе не могут сделать стихи современными, а тем более талантливыми. Банальность иногда бывает выражена и самыми современными терминами. Но термины эти стоят на ткани стиха, как заплаты. Однако авторов это не останавливает. По-видимому, они считают, что употребление в стихах научно-технических образов и понятий современно, модно, престижно.

Кстати, само словечко «престижность» стало в последнее время достаточно распространенным. Раньше оно было в языке, но употреблялось крайне редко. А сегодня им пользуются все. Престижно, например, «быть в курсе», престижно читать «модную» литературу, слушать «модные» диски, интересоваться «модной» живописью. И как-то получается, что интерес к искусству начинает входить в «большой джентльменский набор»: модные тряпки, модные новости, разговоры о модном в искусстве. Хорошо, если «подготовка» к таким «разговорам» занимает, увлечет, потянет человека к искусству настоящему.

Хотя и настоящее искусство бывало модным. Современники, например, видели в Петрарке «станичного пророка», очень интересовались, гордились им и при жизни венчали его лаврами. По-своему модными были в свое время и Дюма, и Гюго, и Александр Блок. Но вообще-то история литературы знает всякое. При живом Пушкине некоторая часть «читающей публики» вдруг охладела к нему и увлеклась Бенедиктовым и Марлинским. Были поэты, которые, отшумев и отсверкав при жизни, навсегда ушли в небытие. А были такие, которые стали известными лишь после своей смерти (иногда спустя

много лет и даже столетий). Всякое было в истории литературы.

Вспомните Игоря Северянина: в течение одного-двух лет 10 изданий «Громокипящего кубка», 6 изданий «Злотолиры», 4 — «Ананасов в шампанском».

В своих «поззоконцертах» он выходил на эстраду с орхидеей в петлице черного, в талию, спортука. Волосы его были завиты. Свои «поэзы» он не декламировал, а пел. В зале стонали от избытка чувств молоденькие девушки начала века. Нескромность прекрасно уживалась с его громкой скандальной славой, творцом которой был в первую очередь он сам. И поэзия его «гармонировала» с мещанством того времени: поэт стремился к «роскошной жизни», но не заметил, как сам стал частью этой роскоши. И потому, наверное, его поза так импонировала не требовательной публике:

Я прогремел на всю Россию,
Как оскаленный герой!
Литературного мессию
Во мне приветствуют порой...

Однако мода пришла и прошла.

Не только мы оцениваем произведения искусства, но и искусство оценивает нас. «Скажи мне, что ты любишь, и я скажу, кто ты». Искусство, отношение к нему раскрывает нас самих. Поэзия — это тест, помогающий понять, каковы наши творческие способности.

Пользу искусства нельзя измерить. Человек, интересующийся модой, по-своему прав. Но для того, чтобы как следует понять современное, надо знать прошлое, то, что было раньше: историю культуры, литературы, поэзии.

Порой мы изобретаем велосипед. После экранизации по произведениям Бальзака, Стендоля, Достоевского, Голсуорси, Толстого в библиотеках выстраивались длинные очереди. Библиотекарям казалось, что люди до демонстрации многосерийных фильмов и представления не имели, что в природе существуют эти авторы и их произведения. Правда, работники библиотек заметили, что если, скажем, показывают «Блеск и нищету куртизанок», не вся кому придет в голову спросить другую книгу того же автора «Отца Горио» или «Шагреневую кожу». В узком подъезде к искусству есть что-то инкубаторское. Но важно не это, важно другое — пусть будет любой толчок в сторону литературы и искусства, тогда можно будет преодолеть инерцию случайного и беспорядочного потока информации и самим выбирать из непредставимого богатства мировой культуры с в о е.

Одной из черт НТР стало увеличение производства и расширение сферы потребления духовных ценностей. Взглядите на тиражи книг, на миллионные тиражи пластинок, фильмов.

За углом магазина «Мелодия» толкуются любители музыки в поисках нужных дисков. А на Кузнецком мосту выстроилась огромная интеллигентная очередь желающих подписатьсь на Пушкина. И это не мода. Это потребность.

Впрочем, не редкость и такой разговор:

— Вы подписались на Достоевского?

— Мы подписались на всего Достоевского... «Весь Достоевский» порой так и стоит красиво на полках, как говорили в старину, «перазрезанный».

Мещанство старается «прибрать к рукам» и действительно талантливые явления. У Владимира Высоцкого есть такие строки:

С моей гитара, струны к ней в запас,
И я гордился тем, что тоже в моде...

Странного в этом ничего нет: человеку приятно знать, что он нравится, что он нужен людям. Одна-

ко каким людям? И не случайно это же стихотворение заканчивается строчками:

Не надо подходить к чужим столам
И отзываться, если окликуют...

В то время — так недавно! — когда Владимир Высоцкий (певец? поэт? актер?) пел свои песни, выходя с гитарой на эстраду, он мог только мечтать о таком сборнике стихотворений, какой вышел только что в издательстве «Современник».

А песни его жили. Они крутились на магнитофонах в студенческих общежитиях в Москве и на самых дальних стройках, на кораблях — туристских, военных и космических. Его песни моментально запоминали и охотно пели дети — их слушала вся страна. Слушала, хотя композиторы говорили, что его нельзя называть композитором, поэты не были уверены, что он поэт...

Сейчас, когда вышел сборник «Нерв», стало очевидно, что Владимир Высоцкий — поэт. Он пришел в песню, когда у времени возникла в этом потребность, вернее, когда родилась необходимость: он как бы заполнил своими песнями вакuum. Заметьте, под его песни никогда не танцевали — их слушали. Слушали сосредоточенно и внимательно. И, надо сказать, лучшие из них воспитывали и воспитывают подрастающее поколение. Я не знаю, будут ли наши внуки увлекаться песнями и стихами Владимира Высоцкого, но наши дети (как, епрочем, и взрослые) к творчеству поэта относятся серьезно: здесь аккумулировано время, наше с вами время, и потому стихи и песни — в строю, у них есть свое место в нашей жизни.

Нас привлекает в первую очередь личность, личность сильного, думающего человека. Путь песни короче, чем путь стихотворения, она быстрее доходит до слушателя. Это совсем другой контакт, нежели контакт читателя наедине с книгой. Высоцкий — собеседник увлекательный, живой, неожиданный. У нас было немного ироничных песен — их стало больше. Высоцкий не только ироничен, он лукав и отважен. В стихах сборника, лихих и пронзительных, в простых строчках просвечивает отчаянная душа поэта, раненная, наделенная поэтической зоркостью, болью и прозрением.

Поэт не кривит душой: он бросает вызов тем, кто кокетничает с публикой (помните Северянина?), тем, кто хочет понравиться вечности. Но вечности понравиться нельзя. И Высоцкий знает это. Он искренен и правдив. Эта искренность, постоянное желание сказать о важном, о главном, исповедальность его стихотворений подкупают поклонников певца. Сказав «поклонников», я остановилась — слишком их много. Лучше сказать — единомышленников. Тираж сборника «Нерв» не маленький: 55 000 экземпляров. Но он, конечно, не удовлетворит всех желающих приобрести книжку...

Высоцкий не суется. Он работает. Работал много и увлеченно. В театре и кино. Над ролями, песнями и стихами. В сборник «Нерв» вошла приблизительно третья того, что было написано поэтом. В сборник вошли лучшие песни. Песни, ставшие стихами:

Кто сказал: «Все сгорело дотла,
больше в землю не бросите семя?»
Кто сказал, что земля умерла?
Нет, она затаилась на время.

Материнства не взять у земли,
Не отнять, как не вычерпать море.
Кто погорел, что землю сожгли?
Нет, она покернела от горя...

Она вынесет все, переждет,
Не записывай землю в калеки.
Кто сказал, что земля не поет,
Что она замолчала навеки?!

Нет, звенит она, стоны глуша,
Изо всех своих ран, из отдушин,
Ведь земля — это наша душа,
Сапогами не вытолкнуть душу.

Все творчество поэта согрето нежностью к людям и ко всему живому, именно поэтому нуждаемся мы сегодня в этом «накале движенья, звуков, нервов». И накал мысли, добавим мы. Ибо неординарность мышления, прямота и резкость, сочетаясь с настоящей, я бы сказала, мальчишеской романтикой, и создали феномен под называнием Владимир Высоцкий. Он был своим у времени, в котором жил. Он писал от имени очень разных людей, но от своего, первого лица. «Понадобилось бы очень много жизней, чтобы все на своей шкуре испытать», — сказал как-то Высоцкий. Но даже когда он пел о гибели друга, он говорил от себя и о себе:

Нам и места в землянке хватало вполне,
нам и время текло для обоих...
Все теперь одному только кажется мне —
это я не вернулся из боя.

И для нас и для поэта текло общее время. Наше время. Он принимал на себя чужую боль и так влезал в чужую шкуру, что верилось: все это он пережил сам.

В своих песнях-стихах Владимир Высоцкий прожил очень много жизней. Он только не успел дожить свою...

Человечество очень богато. У него всего так много, в том числе и талантов, что оно не всегда бывает бережливым.

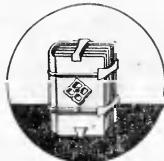


Проходит время. И книга, прочитанная раньше, начинает звучать по-новому. Изменились мы, по-взрослев, что-то пережили — и вместе с нами меняется понимание того или иного произведения.

Во время войны по-новому были прочитаны классика и советская поэзия. Само искусство было понято по-новому. Оно стало частью вооружения народа. Во многих музеях боевой славы можно и сейчас встретить рядом с простреленными партийными и комсомольскими билетами окровавленные томики стихов Пушкина, Есенина, Симонова... Кажется даже, что кровь поэта и кровь читателя перемешались, так неотделимы были они, поэт и читатель, во время большой войны. Поэзия стала нравственной поддержкой, она давала духовную твердость, вселяла веру в победу. Не случайно враги цивилизации, враги человечества в первую очередь скигали настоящие книги, стремясь лишить народ крыльев, духовной опоры. Поработить его.

Литература, поэзия — память рода человеческого. Родословная человека. Поэты — не только те, кто пишет стихи и находит время смотреть в небо. Это и мы с вами. Люди, которые умеют бережно относиться к своему духовному богатству. И умножать его.

Я начала статью с фразы, выбитой на камне, упавшем с неба, средневековым монахом. Думаю, что эту фразу можно отнести и к искусству: «Об искусстве многие знают много, каждый — что-нибудь, но никто не знает достаточно».



ГЕННАДИЙ
АЛИФАНОВ



ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Думаю, что в момент, когда на полку становится только что прочитанная книга, никто не задает себе вопрос, когда же рука вновь протягивается, чтобы перелистать знакомые страницы. Между тем именно необходимость повторного прочтения едва ли не самый объективный критерий настоящего интереса к произведению.

В данном случае речь идет о «Крымской повести» Николая Самвеляна (изд. «Детская литература», 1981 г.). Ровно через неделю после прочтения эта книга вновь оказалась у меня на столе. Теперь хотелось выборочно, медленно ее перечитывать. Например, описание темного вечера в Ялте, когда этот курортный город оказался островом среди разбушевавшейся революционной стихии. Отсюда особенно отчетливо, по контрасту, было видно, что Россия в 1905 году отказала самодержавию в праве говорить от ее имени.

Ясней стала и эволюция героя книги Владимира: человека, воспринимающего мир в красках, образах. Художник именно в силу восприимчивости натуры, способности сострадать, остро чувствовать переживания других, неизбежно, сам того не замечая, должен был прийти к ощущению (именно ощущению), что революция — абсолютная необходимость, что без нее теперь уже не обойтись, а «работать» на нее обязан каждый, кому не чуждо самоуважение. И Владимир сделал то, что мог; он написал картину «Очаков» в огне, так как был свидетелем расстрела «Очакова» на Севастопольском рейде, а затем выставил картину в витрине ялтинского писчебумажного магазина. В городе вновь возникли волнения, митинги. Градоначальник Ялты генерал Николай Думбадзе приказал уничтожить картину. Но она внезапно исчезла. Исчез и художник. Оба они — и картина и ее создатель — отыскались лишь через несколько дней сами собой. Художник пришел к генералу и принес наделавшую шуму картину. Владимиру погрозили пальцем — да не простым, а генеральским! — и поставили под «гласный надзор». А картину генерал уничтожил. Казалось бы, и сказке конец. Но жизнь посмеялась над генералом. Друзья подсказали Владимиру мысль изготовить ко-

пио картины и подсунуть ее генералу, что художник и сделал. Зато оригинал спрятали. Теперь картина, а также изготовленная позднее автором копия экспонируются в Симферопольском и Очаковском музеях. Как видите, сюжет, с одной стороны, прост, с другой — почти детективен. А кроме того, абсолютно реален, достоверен. В повести нет ни вымышленных персонажей, ни ситуаций, созданных одной лишь фантазией автора. Исчезновение картины, поиски ее, преследования, побеги под пулями, конспиративные явки — налицо вешия динамика, все атрибуты острожетной повести. Но, как ни странно, именно фактурная сюжетность не выглядит главным достоинством повести. Сюжет как бы гаснет, уходит на второй план, так как неволено следишь за совершенно иным и более захватывающим — стремительным развитием характеров героев.

Здесь я позволю себе небольшое отступление, имеющее прямое отношение к теме разговора.

Помню, много лет назад журнал «Юность» (№ 3 за 1967 год) писал о повести Николая Самвеляна «Утро мечтателя», что это ведь особая, что у ее автора есть «одно волшебное качество: светлый взгляд на мир».

Повесть «Утро мечтателя» вышла в свет на Украине и по сей день, по причинам мне неизвестным, не стала достоянием всесоюзного читателя, хотя, как видим, центральной прессой была замечена. Еще ранее повести и рассказы тогда совсем юного автора публиковались на страницах украинских и армянских журналов. И уже в Москве в издательстве «Молодая гвардия» вышли в свет «Послесловие к жизни Колыки», «Вилла Гражина», затем в 1980 году вышла в нескольких номерах журнала «Студенческий меридиан» современная повесть-притча «Серебряное горло» — стремительная, местами резкая, почти злая, в которой поднята вечная тема: о Моцартах и Сальери, о том, что талант был и остается категорией нравственной, что гений и злоустройство несовместимы.

Уверен, что успех исторических повестей и романов Николая Самвеляна в значительной степени определен глубинной верой писателя в торжество созидающего начала, доверия к человеку. Отсюда и высокая нравственная требовательность писателя.

Три исторические книги Николая Самвеляна вышли в свет в издательстве «Детская литература». Адресованы они юношеству.

Но характерно — отмечены они были изданиями, которые, как правило, редко пишут о детской и юношеской литературе. Повесть «Московии таинственной посол» (первая художественная книга о великом восточнославянском просветителе Иване Федорове) вызвала полемику между весьма популярными журналами. Сошлись на том, что повесть нестандартна, а авторское восприятие мира у некоторых вызывает протест, а у других — явную симпатию.

«Новый мир», например, писал в № 6 за 1979 г. о «Московии таинственном после» и «Казачьем разъезде»: «Читая романы Н. Самвеляна, еще раз убеждаешься, что успех исторического произведения определяется не книжными знаниями автора, а его пристрастиями и антипатиями, то есть личностными ощущениями тогдашнего мира».

Что ж, наверное, из-за отсутствия этих личностных ощущений многие наши исторические романы представляются старательно и нарочито беспристрастно прописанными монументальными полотнами, в которых все же нет той едва заметной неправильности, отступления от выверенной системы мышления, без которой, считал Герцен, невозможно подлинное искусство. Но я все же решусь поспорить с мнением уважаемого журнала относительно так называемых «книжных знаний».

Ни Карл, ни Мазепа не смогли бы быть написаны так ярко, если бы автор не обратился к так называемым «книжным знаниям». В данном случае это записи протестантского священника Даниила Крмана, единственного стороннего наблюдателя, случайно оказавшегося в ставке Карла и описавшего день за днем постепенное угасание военного гения «Северного Александра Македонского», столкнувшегося с ранее неведомой ему народной войной. Приятно, что именно после выхода в свет «Казачьего разъезда» дневник Крмана, затерявшийся среди многих других рукописей в Научной библиотеке Будапештского университета, был введен в научный оборот.

А разве не заслуживают внимания тексты подлинных документов, органично вплетенных в ткань «Казачьего разъезда» да и «Крымской повести»? Ведь многие из них были ранее почти или вовсе не известны. И тут возникает вопрос: нет ли особого обаяния для читателя в том, что сегодня, прямо на глазах, рождается новый тип исторического романа — в полном смысле слова художественного, но в не меньшей степени претендующего на право называться научной, исследовательской работой? Думается, сегодняшнему читателю такой сплав интереснее очередных домыслов на фоне давним-давно известных исторических фактов. Нужна новая информация (именно новая!) — как художественная, так и фактическая.

Любопытная деталь: «Крымской повести» предшествовало несколько публикаций найденных автором ранее неизвестных документов, дополняющих наши знания о событиях на юге страны грозной осенью 1905 года. Но этими исследованиями займутся специалисты, историки. А широкой публике адресована сама «Крымская повесть».

Если бы я писал каноническую рецензию, а не раздумья о книге, то, наверное, указал бы на то, что образ удачливого коммерсанта Зауэра слегка шаржирован, в чем, может быть, нет прямой необходимости. Хотелось бы увидеть и самого Петра Петровича Шмидта — он показан только через впечатления других персонажей. Понимаю, что это литературный прием. Но можно поспорить о том, насколько он оправдан. Есть в повести ряд эпизодов, которые следовало бы расписать пространнее — в нашем с вами случае к лаконизму призывают не приходится. Скорее, напротив, иной раз жалеешь, что автор не использовал всей той фактологической и психологической информации, которая стоит за текстом.

Но сейчас речь не об этом. Хочу вернуться к тому, с чего начал: «Крымская повесть» из тех книг, которые не просто читаются. Их еще и перечитывают. Почему? Чем она привораживает? Может быть, лиризмом в сочетании с ироничностью? Может быть, неожиданно живыми, «работающими» не только на настроение, но и на сюжет пейзажами? Не исключено. А ведь стоило бы вспомнить: о Крыме написано немало. Его образ прочно вошел в литературу. Чтобы написать Крым по-своему, нужны, кроме умелой руки и зоркого глаза, еще смелость и, скажем пря-

мо, удачливость. И уж куда банальнее пытаться с помощью слов в тысячный раз показать море. Но ведь и сам Крым и прописанное-переписанное в литературе Черное море получились в повести своей, запоминающиеся, и уж никак не взятые напрокат.

Любопытными показались мне два женских образа, полемично противопоставленных друг другу. Людмила — цельная, ясная, озаренная утренним светом. А написал ее художник (Владимир) с рукой, протянутой к выключателю. Щелкнет выключатель, погаснет свет — и исчезнет видение. Но в памяти запечатлится надолго, навсегда. Как мечта. Да такой Людмила и была для Владимира — мечтой.

Рядом с нею — Надежда. Существо вполне земное. Вовсе не «дама с собачкой», не печальная тоскующая барышня, а натура деятельная, даже агрессивная, но внутренне опустошенная. Не случайно ее никто так и не полюбил. Да и не полюбит. По сути — тусклая, тупиковая жизнь. А ведь по первому взгляду Надежда может показаться человеком не просто интересным, а даже талантливым.

«Крымская повесть» заставляет думать и чувствовать. Автор говорит с читателями серьезно и с полным доверием к ним. Таким же доверием, вероятно, заплатил и читатели автору. Еще один оттенок — при завидном умении воссоздать эпоху, вырывать из небытия забытые типы, воскресить отшумевшие страсти, Н. Самвелян все же чувствует, что говорит с сегодняшними читателями. Речь идет не о модернизации мышления персонажей, а о своеобразном эффекте двойного зрения. Герои видены и поняты изнутри, но одновременно показаны как бы и со стороны, с расстояния десятилетий, которые отделяют нас от них. Отсюда и определенная стереоскопичность, объемность авторского зрения. А в выигрыше читатель — ему нет необходимости мучительно вживляться в эпоху. Она едва заметно, ненавязчиво прокомментирована и объяснена.

Может быть, подобное под силу именно тем авторам, которые упрямо не хотят «специализироваться» в качестве писателей только исторических или только современных, а продолжают пробовать свои силы и на том и на другом поприще? Что ж, пусть это будет одним из объяснений, хотя и не полным.

КИРИЛЛ
КОВАЛЬДЖИ

МИХАИЛ
ШЕВЧЕНКО
ОСЕННИЕ
РАДОСТИ



ВИДЕТЬ ЗВЕЗДУ...

Мне уже приходилось писать о Михаиле Шевченко. Вернее, об его исключительной в своем роде повести «Кто ты на земле», повести «о маленьком современнике», которая теперь вошла и в книгу «Осенние радости» (Центрально-Черноземное издательство, Воронеж, 1981 г.). Но переиздание ли это? И да и нет. Писатель продолжил свой рассказ о сыне, продолжил за черту

самого «выигрышного» детского возраста, классически сформулированного еще Чуковским.. Михаил Шевченко отважился дальне вести свою «летопись» и добился успеха.

Что же это за произведение? Безусловно, оно не просто фиксация фактов. Увидеть путь сотворения мира в сознании и сердце ребенка — на это требуется талант, писательская зоркость, позволяющие выделить все драгоценное из одинарного детского лепета, всегда умиляющего пристрастных (а как же иначе?) родителей. Михаил Шевченко через законы в себе, как бы статичные маленькие зарисовки воссоздал усложняющееся движение и рост понятий и представлений Максимки. Потому его новые высказывания — «от шести до десяти» — уже не «забавностью» привлекают нас, а блестками неожиданных и мгновенных постижений каких-то совсем не детских истин. Например:

«— Кто самый красивый?

И, не дождавшись моего ответа, сказал:

— Самый красивый человек тот, кто видит вокруг себя красивых».

Или комментарии Максимки к придуманной им стране:

«— Папа, в Мальтии есть такая пословица. На маленьком подготавливаешься к большему. Правда, она подходит нам?...»

«— Папа, какой твой любимый лозунг?..

— Да здравствует правда! — отвечаю незамедлительно.

— А знаешь, Файт Восьмой, когда-то президент Мальтии, говорил, что должна быть и не-правда. Неправда, папа, заставляет думать.. Удивительный он был человек, папа. Главное, очень терпеливый. Ты же понимаешь, как это важно для главы государства?.. Я многому у него научился».

«... — А знаешь, папа, в Мальтии есть такая примета. Если человек даже в пасмурную ночь видит звезду, его ждет что-то необыкновенное. Понимаешь? Вот сейчас я вижу».

Михаил Шевченко — поэт и прозаик. Но в каком бы жанре он ни работал, нельзя не заметить, что он чурается вымысла. Достоверность — вот его опора. Отсюда особое свойство его дарования — приверженность к действительности как таковой, желание ее сохранить, вскрыть ее смысл и богатство. Недаром и в стихах он говорит:

Когда однажды день такой настанет,
А он, наверно, скоро должен быть,
И будешь ты во что бы то ни стало
Меня высокой мерою судить,
Так знай же: я живу, тебе доверяюсь,
За эту жизнь ты мне сполна воздай.
Суди, как хочешь, только откровенность
И прямоту мою не осуждай.

Любопытно, что несколько лет назад Л. Жуховицкий свою рецензию на повесть М. Шевченко «Только бы на одну весну» (кстати, вошедшую и в пынешнюю книгу) назвал «Сила документа», имея в виду то, что произведение построено на письмах погибшего воина. Однако как раз тут М. Шевченко прибегнул к некоторым беллетристическим приемам, то есть попытался «досочинить» — и что же? Он лишился раз доказал, что его сила там, где он не сочиняет...

Рассказы последних лет вошли в этот сборник и в книжку «Воронежский вечер» (изд. «Правда», 1981). Новеллы зачастую похожи на яркие зарисовки с натуры («Чистое») или даже на эссе-вспоминания («В Доме Герцена», «Воронежский вечер»).

Вот щемящий лирический рассказ «Ах, почему я не любил яблок...», прекрасный, я бы сказал, народный портрет бабки Щипики в одноименном рассказе. Долгая, счастливая и горькая, ее жизнь оборвалась 21 июня 1941 года, в канун войны, словно ей, пережившей шесть войн, было немоготу увидеть еще одну... Запоминается и «Дед Поляк» и другие портреты. За этими рассказами стоят живые люди, веришь, что даже имена их не изменены...

В каждом рассказе я мог бы отметить достоинства, но особенно меня взволновал рассказ «Лорда». Это как раз тот случай, когда реальный кусок жизни возведен в высокую степень художественности.

Можно сказать, это рассказ постальтический, но о минувшем ли рассказ? Не в наши ли дни внимание общественности снова обращается к ней, к лошади — уходящей, почти ушедшей? Недаром прошлым летом «Комсомольская правда» трижды выступила на эту тему — 15 мая, 9 и 14 августа. И В. Песков, начавший разговор, и сотни читателей — все за лошадь, за ее возвращение в сельскую жизнь: «По письмам можно судить: нет другого животного, которому люди стольким обязаны... Единодушное мнение: проблема лошади — проблема хозяйственная и нравственная одновременно, и это повышает ее значение».

Это слова публициста. А вот перед нами сама Лорда, воскрешенная первом художника:

«С детства Лорда была дьявольски хороша. Серой масти — в жеребца, тонконогая, с веселыми глазами. Души не чаял в ней этец. Сам, бывало, молока не выпьет, хлеба не съест — Лорде несет. Непогодь зайдет — фуфайкой, а то и одеялом укроет ее, в хату возьмет на ночь. И она привязалась к отцу, как ребенок. Куда отец, туда и Лорда. Не успеет он поутру открыть дверь сараев, она уж навстречу. Обнюхает карманы — что там в них лакомое. Ведет отец на яр поить ее, так она — дьявол! — снимет с него картуз и ну играть им. Пустится в галоп с картузом по улице — грива на отлете. Вернется вроде бы отдать картуз отцу. Только он к ней, а Лорда — опять в сторону. Награется, отдаст наконец картуз, положит голову отцу на плечо и щекочет губами ему шею».

Есть художники, чей талант обнаруживается стремительно и ярко, а есть и медленно набирающие силу. Медленно, почти незаметно, зато неуклонно. Таков Михаил Шевченко. Его «Лорда» — это не случайно взятая высота.

После выхода книг, о которых шла речь, в декабре 1981 года в трех номерах «Литературной России» была опубликована повесть Михаила Шевченко «Старые мелодии», лирическая повесть о счастье и печали, о музыке и о разлуке, о том, что могло быть, да не сбылось...

Война кончилась, жизнь налаживалась, осуществлялась страстная мечта юноши — его, несмотря на жесточайший конкурс, приняли в музыкальное училище.. Но среди белого дня, мирного дня раздается грохот. То тут, то там случайно взрываются мины — одна из них, взорвавшись, пощадила Мишу, вторая покалечила навсегда его мать — пришлось училище бросить и вернуться домой.

Все вроде шло на лад, и первая любовь началась так счастливо, и вдруг... эти случайные мины... Да полноте — случайные ли? Багровые отсветы войны пересекли судьбы молодого послевоенного поколения. Пусть потом оно одолело невзгоды, встало на ноги, уверенно и заслуженно укоренилось в жизни, но «Старые мелодии» — про горечь несбывшегося, про те багровые отсветы, которые забыть нельзя.



ДМИТРИЙ
БИЛЕНКИН

ПОЧЕМУ МОЛЧИТ КОСМОС?

Размышления писателя-фантаста

Рисунки П. Сацкого.

инуло уже двадцать лет, как начались поиски сигналов внеземных цивилизаций.

И ничего. Молчание. Звезды немы, ни звука, ни даже намека на радиопередачу иных миров.

Это обстоятельство раскололо исследователей. Есть такие, кого неудача не разочаровала. Они справедливо замечают, что прослушано крайне мало диапазонов, наблюдениями охвачено крайне малое число звезд, отчего все сделанное напоминает попытку двумя-тремя взмахами рук поймать черную кошку в большой и темной комнате. Представители другой точки зрения также не без основания упирают на то, что мы не только не слышим сигналов иных миров, но и не видим во Вселенной «астроинженерных чудес», меж тем как высокоразвитые, давно нас обогнавшие цивилизации в силу ряда причин обязаны заявить о себе грандиозной преобразующей деятельностью, не заметить которую с Земли просто нельзя. Ведь даже наша молодая, едва проклонувшаяся в космос цивилизация за считанные десятилетия почти удвоила радиояркость Солнечной системы в метровом диапазоне волн — феномен, который вполне можно заметить и оценить с расстояния уже нескольких парсеков. Что же тогда говорить о куда более могучих цивилизациях? Признаки их деятельности должны ярко сиять в небесах, а раз этого не наблюдается, то, следовательно, разум — безмерная редкость Вселенной или технический прогресс тут же исчезает себя катастрофой, самозамыканием, деградацией, — словом, так или иначе надежды на контакт ничтожны.

Одну точку зрения можно назвать оптимистической, другую — пессимистической, но лучше обойтись без этих оценок, поскольку они не продвинут нас ни на шаг, ничуть не прояснят проблему: истина не зависит от наших эмоций. Что нужно, так это попытаться выйти за пределы привычных представлений: если дверь не отпирается используемыми ключами, то это еще не значит, что она не отпирается вообще.

Итак, две точки зрения: Вселенная полнится цивилизациями; нет, они безмерная редкость. Легко заметить, что обе эти гипотезы лежат в плоскости «здравого смысла», самоочевидно из него вытекают. В той же плоскости находится допущение, что высокоразвитые цивилизации должны являть чудеса астроинженерной деятельности, не заметить которые невозможно.

Все это ничуть не противоречит повседневному опыту, наоборот, прямо из него выводится (мы привыкли к тому, что предполагаемое либо есть, либо его нет; если оно есть, то его в пределе может быть или много, или ничтожно мало; в первом варианте шансы обнаружения велики, во втором — минимальны). В такой схеме рассуждения нет места для парадокса, он заведомо исключен. Меж тем, думается, он-то и составляет суть проблемы внеземных цивилизаций (ВЦ). Почему?

Послушаем философа. «Научные истины всегда парадоксальны, если судить на основании повседневного опыта, который улавливает лишь обманчивую видимость вещей». Эта мысль К. Маркса важна, ее подтверждает история познания. Повседневный опыт

подсказывал, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Он же настаивал, что тяжелый предмет падает, конечно же, быстрее легкого. В более позднее время самоочевидным представлялось, что свет может быть либо волной, либо потоком частиц, а третьего, естественно, не дано; истина же оказалась парадоксальной. И так далее. Каждый может добавить свои примеры, когда дорога к истине пролегала через парадокс, требовала «дикого» допущения (в этом смысле настояния Бора насчет «безумных идей»). Собственно говоря, получается так, что все попытки разрешить ту или иную сложную проблему познания, исходя из привычного здравого смысла и повседневного опыта, оказывались безрезультатными и требовали в той или иной мере ломки научных представлений. При этом нередко выяснялось, что неверно поставленным оказался сам вначале обращенный к природе вопрос (типа: свет — волна или частицы?).

Проблема ВЦ, внеземных цивилизаций, надо полагать, никак не проще проблемы природы света. Сомнительно, чтобы здравый смысл сегодняшнего дня и привычный опыт могли многое дать для ее решения. Проиллюстрирую это небольшим примером. Предположим, мы уже достигли звезд и сегодня встречаем вернувшихся оттуда космонавтов, слушаем их доклад, в котором говорится следующее: «На планете Альфа-Бета нами обнаружены существа, которым ведомо сельское хозяйство, ибо у них имеется скот, и возле своих жилищ они возделывают плантации некоторых культур. Правда, сельское хозяйство у альфабетян довольно примитивное, зато они прекрасные строители — их дороги, в особенности дома, просто великолепны, так как обеспечивают жителям такой оптимум условий, которого мы, люди, в своих сооружениях пока не добились. А общественная структура инопланетян настолько сложна, что мы как следует даже не сумели в ней разобраться».

Странно, если бы после такого сообщения нас не охватило бы ликовование: «Братья по разуму, наконецто! Пусть не столь развитая, но цивилизация же! Раскроем альфабетянам объятия, протянем руки...».

Стоп! Все, что я приписал альфабетянам, делают обычные земные муравьи и термиты. У вас на глазах. Что-то я, однако, не слышу восторгов, не вижу распостертых объятий и рук, протянутых к меньшим «братьям по разуму»...

Очень непросто обстоит дело с «иной цивилизацией» и «иным разумом». Вряд ли проще обстоит дело с распознанием его космической деятельности.

Но так ли уж верно последнее? Знание — это еще и понимание. Законы природы одинаковы для всех; есть, следовательно, общая база для взаимопонимания, контакта, межзвездной связи, «пи» под всеми солнцами «пи» и так далее. Вот на чем более всего зиждется наша убежденность, что были бы космические цивилизации, а уж проявления их деятельности от нас не укроются, мы их сравнительно легко заметим, оценим, поймем.

Такая уверенность вряд ли оправданна. И дело даже не в иной логике поведения и поступков, которая, быть может, свойственна чужому разуму. Конечно, такое допущение нельзя сбрасывать со счетов, однако проблема обнаружения иных цивилизаций, проблема понимания их деятельности имеет еще одну сторону, которая пока как-то остается в тени.

Высветить эту грань проблемы, надеюсь, поможет такой мысленный эксперимент. Идеализируем все космические цивилизации, в частности уподобим их нашей собственной и посмотрим, что из этого выйдет.



Вероятно, каждый согласится, что в таком варианте задача выявления «братьев по разуму», связи с ними предельно упрощается. Коль скоро все иные цивилизации, сколько их есть, в точности подобны земной, то речь фактически пойдет о связи нас с нами же, только в масштабах галактического пространства-времени: большего облегчения задачи придумать трудно. Ведь прослушивание даже неблизких звезд и посып туда сигналов сейчас, как говорится, дело техники.

Условия идеальные. Вопрос: велики ли наши [именно наши!] шансы добиться желаемого?

Попробуем разобраться.

Итак, контакт человечества, по существу, с самим собой на межзвездные расстояния. Для этого как минимум необходимы средства межзвездной сигнализации и, спать же как минимум, надо, чтобы сигналы обеими сторонами были восприняты именно как сигналы.

Легко заметить, что примерно до середины двадцатого столетия, до развития радиоастрономии, наша цивилизация этому минимуму не отвечала. Следовательно, коль скоро все наши «идеализированные цивилизации» отстали от земного уровня всего на несколько десятилетий, то все они глухи и немы. Обнаружить их пока невозможно, сколько бы их ни было и как бы близко от нас они ни располагались.

Но, понятно, ниоткуда не следует, что в ряду «идеализированных цивилизаций» мы самые-самые первые и что космос молчит по причине этого нашего авангардизма. Просто мы заранее должны согласиться с тем, что разум может быть и по соседству, но для нас его как бы и нет. Словом, определенную часть возможных цивилизаций (какую — сказать нельзя) мы сразу должны перевести в разряд сегодня не обнаруживаемых. Что, естественно, серьезно уменьшает наши шансы найти искомое.

Теперь рассмотрим обратную ситуацию: для энного числа «идеализированных цивилизаций» мы молодая, едва проклонувшаяся в космос культура.

Позицию «старших» анализировать не будем. Вопрос, почему незаметны их попытки выйти на связь, вообще предпринимаются ли они, — тема особого разговора, она требует самостоятельной статьи. Сейчас нас интересуют лишь наши собственные шансы на успех в деле обнаружения «старших» цивилизаций, которые по тем или иным причинам не придерживаются нашей стратегии активного поиска.



Условившись так, введем еще два допущения. Первое: деятельность «старших» в принципе заметна с Земли, подобно тому — или даже резче, — как радиопроявления нашей деятельности при современных технических средствах обнаружения уловимы откуда-нибудь с Сиринуса. Второе: цивилизации близко, до них десяток-другой световых лет.

В пределах разумного мы, кажется, сделали таким образом все возможное для облегчения задачи обнаружения «старших». Никаких особых технических проблем выявления тут не возникает, все в пределах уже теперешних наших возможностей, барьер же исковости мы своим первоначальным условием устранили полностью.

Стала ли оттого задача простой?

Подумаем.

Что, собственно, от нас сейчас требуется? Нам надо обнаружить проявления деятельности земной, как мы условились, цивилизации, только обогнавшей нас... На сколько? На сотни, на тысячи, на миллионы лет?

Если уж идти по пути облегчения задачи, то идти до конца. Логика нам подсказывает, что чем дальше ушла цивилизация по пути прогресса, тем грандиозней ее деятельность, тем, следовательно, легче ее заметить извне. Поэтому примем за факт, что на расстоянии немногих парсеков от нас существует земная же цивилизация, обогнавшая нас на миллион лет. Та самая цивилизация, которая, по мнению ряда исследователей, должна зримо и очевидно являть «астроинженерные чудеса».

Как мы их воспримем? Повторяю, задача сейчас свелась к тому, чтобы распознать нашу собственную деятельность, только ушедшую на миллион лет вперед. В силах ли мы это сделать?

В этом позитивально весьма и весьма усомниться. Миллионолетие прогресса, тогда как вся история нашего вида «гомо сапиенса» насчитывает лишь сотни веков! Столь отдаленное будущее для нас абсолютно непредставимо. Оно для нас менее понятно, чем радио для охотника за мамонтами. Чем был бы для такого охотника увиденный с расстояния десятка километров старт космической ракеты, это «инженерное чудо» современности? Естественным или, наоборот, сверхъестественным явлением? Любой рассказ и показ с трудом убедил бы его (если вообще убедил бы), что гром и молния космического запуска — результат деятельности таких же, как и он, «людей разумных».

Нет, «астроинженерные чудеса», осуществленные нами же, только с миллионолетним опережением, для

нас мысленно невидимы. Даже если они блещут над нами, даже если мы их наблюдаем в упор. Ибо видят не столько глаз, сколько разум — это знали по крайней мере еще древние греки. А чего разум принял не готов, того либо «не существует», либо оно предстает в неизвестном облике.

Это отнюдь не гипотетическая ситуация. Сегодня экспедиции то и дело обнаруживают племена, которые не подозревают о существовании двадцатого века. Хотя умственные способности таких людей (это доказано) ничуть не уступают нашим, хотя не заметить признаки нашей деятельности вроде бы невозможно (допустим, над теми местами ни разу не пролетел самолет, но уж движение спутников в ночном небе не приметить нельзя; однако же глаз без прозрения мысли слеп).

А между нами и представителями первобытных племен разрыв всего в тысячелетия. Мы же задали себе куда больший интервал. Это верно, у нас есть наука, мы куда больше знаем и дальше видим. Но миллион лет! Сколько и каких научно-технических революций должно случиться за этот срок, нам даже это неведомо. Меж тем и единичная, но кардинальная ломка привычных представлений, стереотипов — психологически весьма трудный процесс. Даже для самих новаторов; достаточно вспомнить «кризис физики» в начале века, те муки, которые испытывали первопроходцы, когда благодаря их собственным усилиям рушились устои прежних представлений. «Если мы собираемся сохранить эти проклятые квантовые скачки, то я жалею, что вообще имел дело с квантовой теорией», — воскликнул не кто иной, как один из основоположников квантовой механики — Шредингер.

И такая сторопы перед новым взглядом на мир — типичный случай.

Один из ученых недаром заметил, что «возможность наблюдать зависит от того, какой теорией вы пользуетесь». Наивно было бы думать, что трудности коренной ломки стереотипов и представлений познания остались в прошлом, что они были присущи началу нашего века и исчезли к его исходу. Разумеется, это не так. Меж тем, хотим мы того или не хотим, но на космос мы сейчас смотрим сквозь призму существующих теорий и можем увидеть в нем только то, что не слишком противоречит нашим сегодняшним представлениям о природе и деятельности разума. И в этом великая трудность обнаружения «старых» цивилизаций. Даже если они, как мы условились, во всем подобны нашей.

Логика нас подвела: большой разрыв в возрасте цивилизаций не облегчает, а осложняет нашу задачу обнаружения следов деятельности внеземного разума.

Переменим условия. Минимум тысячелетний интервал истории (каждый легко может представить, как выглядела бы наша цивилизация в глазах десятого века, что люди того времени о ней бы подумали; боюсь, их первоначальной реакцией было бы «свят, свят, изыди»). Возьмем всего лишь столетний разрыв.

Итак, 2082 год. Эпилог современной научно-технической революции (а может быть, разгар какой-нибудь новой?). Угадать трудно, даже для прогнозистов технологический облик 2082 года подернут густым туманом. Но кое-что снова способно прояснить сопоставление нынешнего с прошлым, поэтому опять же попытаемся решить обратную задачу: насколько понятным оказался бы наш 1982 год для года 1882-го.

Мысленно переместим ученых того времени со всей их аппаратурой хотя бы на Марс и предложим наблюдать Землю. Эфир вокруг них будет полнятся обрывками ослабленных расстоянием радио- и телепередач, но об этих признаках нашей деятельности не сможет догадаться даже ее праотец Максвелл. Что

ученые прошлого способны заметить в свои телескопы? Вспышки ядерных взрывов они могут увидеть. Как они их интерпретируют? Ну, конечно же, как некие природные, скорее всего световые феномены; ведь они даже не подозревают о возможности внутриядерной энергии.

Одно можно сказать твердо: на ученых того времени многое в нашей деятельности произвело бы впечатление фантастики. Причем куда более смелой и куда менее научной, чем вся фантастика Жюля Верна.

Нет оснований думать, что в условиях прогресса 2081 год на нас, сегодняшних, произведет иное впечатление. Нам он тоже наверняка представится фантастическим. Возможно, даже еще в большей степени фантастическим, чем девятнадцатому веку наш, поскольку прогресс от десятилетия к десятилетию ускоряется, и в благоприятных условиях эта тенденция какое-то, скорее всего долгое время сохранится. Впрочем...

Нет, эта задача — задача доподлинно представить себе технологический облик 2082 года — выше моих сил, хотя по профессии я писатель-фантаст и мне, казалось бы, карты в руки. 2082 год, с нашей точки зрения, будет выглядеть фантастическим, вот все, что я о нем знаю твердо.

Чем в этой ситуации окажется наша попытка разглядеть в космосе цивилизацию, точь-в-точь земную, но обогнавшую нас на сотню лет? Она сведется к намерению понять свое же собственное, пока непредставимое будущее, расшифровать проявления технологической, выглядящей ныне фантастикой деятельности.

Так ли уж велики здесь шансы на успех? Так ли уж проста проблема распознавания?

Предвижу два возражения. Первое: законы природы, как было упомянуто ранее, едини, на их использовании основана любая деятельность, это объективный и тождественный для любой цивилизации фактор. Достижения могут быть сколь угодно непонятными и фантастическими, но что-то в них обязательно со-впадет, наложится на известное нам, даст подсказку.

В принципе это верно. Но тот же фактор объективного отражения законов природы в умах и деятельности присущ всему ходу истории человеческого познания. Намного ли это облегчает любому из прежних веков задачу поимки телепередач двадцатого столетия или задачу расшифровки природы ядерных взрывов?

Второе возражение: в ядре деятельности на столетие обогнавшей нас «идеализированной цивилизации» наверняка сохранится кое-что для нас привычное. Ведь телеграф наших дней не столь уж отличен от телеграфа столетней давности, а колесо и в древнем Риме было колесом.

Справедливо. Только все это знакомое и привычное бросается в глаза лишь при взгляде в упор. Мы же смотрим сквозь дали космоса.

Но радио и лазер, эти уже известные нам средства межзвездной связи, чье даже ненаправленное использование способно высветить искомый объект помимо его желания и воли? Ведь не исчезнут же радио и лазер в 2082 году! Вот за что можно ухватиться.

Так ли? Думать, что радио — последнее слово связи на веки веков, было бы, пожалуй, неосмотрительно. Телеграф в свое время тоже представлялся пиком, выше которого ничего быть не может. Не стоит впадать в ту же ошибку, как бы мы ни были сегодня убеждены, что связь на космические расстояния только и может поддерживаться на электромагнитных волнах.

Это не голословные рассуждения. Я не отрицаю, что радио будет использоваться и в конце ХХI века.



Вопрос, как и в каких масштабах? Приглядимся к фактам истории. Они свидетельствуют, что все современное, передовое в области техники, для данной эпохи главное, со временем либо вообще исчезает, либо теряет свою гегемонию. Это закономерность, очевидная, даже если приглядеться всего лишь к технике столетней давности: паровая машина, телеграф, газовые светильники, железные дороги — одного уже практически нет, другое утеряло свое первенствующее значение. Можно ли после этого быть уверенным, что электромагнитные волны навсегда останутся гегемоном информации, связи, что цивилизации «образца 2082 года» обязательно будут ярко светить в радиодиапазоне?

Впрочем, не это главное. Идеализировав задачу обнаружения ВЦ, упростив ее до предела, я, надеюсь, показал, что и в этом случае поиск ее далеко не простая задача. Не простая психология. Даже если между «нами» и «ними» разрыв всего сто лет человеческой истории. Даже в этом случае!

Собственно говоря, получается так, что верно понять наблюдаемое в далых Галактиках, правильно ого оценить и истолковать именно как признак технологической деятельности сравнительно легко, если «идеализированная цивилизация» обогнала нашу всего на несколько десятилетий. Ну, пойдем на уступки — на столетие или даже два. Все равно, велика ли вероятность, что в нашем регионе Галактики есть две, так сказать, однофазные цивилизации? Увы, вероятность этого скорее всего ничтожна.

Мы же, наблюдая космос, имеем дело, понятно, не с идеализированными, а с реальными ВЦ. Мирами, которые имеют свою, чужую для нас, историю развития. По этой причине все трудности видения их космической деятельности (видения как понимания) надо возвести в квадрат, а может, и в более высокую степень.

Заметим, что предпринятый с чисто научных позиций анализ привел известного исследователя проблемы внеземных цивилизаций Б. Н. Пановкина к сходному выводу.

Естественно, что мы не слышим голосов иных разумных, не видим «астроинженерных чудес». Может быть, мы их и видим, да только они находятся вне наших теперешних представлений, значит, и вне нашего восприятия.

Конечно, это не доказательство, что они непременно есть. Просто их ненаблюдаемость с Земли ни в

кой мере не означает, что их нет вообще или что срок технологической деятельности любых цивилизаций предельно краток. Нет. Старых ВЦ может быть очень много, но и с ними для нас, сегодняшних, космос будет почти столь же безгласен, как и без них.

Космос молчит, потому что так и должно быть.

Это положение может сохраниться надолго и при наличии высокоразвитых цивилизаций. Само собой, оно может измениться хоть завтра, если какая-то старая ВЦ заметит проявления нашей деятельности и решит на них откликнуться. Почему этого пока не произошло,— вопрос, повторяю, иной, требующий отдельного разбора. Прежде всего мы обязаны думать сами за себя.

Означает ли все сказанное, что мы сами практически бессильны обнаружить «братьев по разуму» и надо пассивно ждать, пока ушедшие вперед не надувают подать понятный нам знак?

Конечно, нет. Здесь, как и в любом другом случае, дорогу осилит идущий. Продвижение вперед по пути познания и восприятия великой сложности мира и необыкновенности достижений разума год от года будет умножать нашу зоркость и повышать шансы на успех. Что попутно требуется, так это энергия выхода мысли за пределы представимого. Без этого, в сущности, невозможен никакой прогресс, в том числе и прогресс поиска ВЦ.

В любой данный момент движения познания подобная попытка должна представляться «безумной» и в то же время быть обоснованной. Для пояснения, как это может выглядеть конкретно, рассмотрим такой условный вариант: в нашем регионе Галактики нет ни единой высокоразвитой ВЦ и одновременно они имеются там во множестве.

Вариант, надо полагать, достаточно «безумный», во всяком случае, он таким, согласитесь, выглядит: как так — чего-то нет и в то же время его много? Допущение как будто нарушает законы логики, ставит под удар всеобщность правила «исключенного третьего».

Но так ли обстоит дело в действительности? Мысленно предложим вниманию ученых девятнадцатого века такой парадокс: человек спит и в то же время выступает перед миллионами людей. Думаю, что сто лет назад такой вариант сочли бы безумным без всяких кавычек. Сегодня это будничная повседневность радио, телевидения и технических средств записи. И совсем уж бессмысленно было бы предлагать современникам Дарвина еще более «дикий» парадокс: человека нет, но его видят и слышат, он возникает в миллионах квартир. Меж тем и это теперь будничная повседневность того же телевидения — человек умер, но его облик и голос продолжают существовать. Заглянув лет на тридцать вперед, в эпоху голографического телевидения, мы можем там столкнуться с человеком, которого физически уже нет, и в то же время вот он, перед чами, настолько реальный, что ни зрение, ни слух не откроют правды, иллюзию разоблачит лишь осязание. Да и то... Уже сейчас голография открывает перед нами перспективы материализации предметов по их изображению, точного копирования и телесного воспроизведения в принципе чего угодно. Дело это, конечно, не близкого будущего, кто знает, вполне ли осуществимое технологически, но теоретическая возможность подобного преобразования тем не менее выявлена.

Вот так, совсем не просто, уже в наши дни обстоит дело с понятиями «есть» и «нет», «существует» и «не существует». В каком-то смысле что-то отсутствует, и в то же время оно же присутствует, имеется и не

имеется, действует и не действует, его много и нет совсем.

Вот что мы спроектировали в своем допущении на космос.

Вряд ли наше наложение совпадает с реальностью, дан чисто условный вариант «безумной попытки выхода за пределы «здравного смысла»; это всего лишь демонстрация возможностей приема иного взгляда на проблему деятельности ВЦ, не более. Тут важно одно: предприняв поиск «братьев по разуму», мы заранее должны быть готовы к встрече с необыкновенным, фантастическим и даже, казалось бы, невозможным. На это мы должны настроить свое мышление.

Иначе мы скорее всего ничего не найдем.

Та же мысль все более сквозит в среде ученых. Так, видный теоретик проблемы внеземных цивилизаций Н. С. Кардашов в одной из своих последних работ пишет: «Фактически наиболее распространенной концепцией о внеземных цивилизациях является так называемая гипотеза «земного шовинизма», предлагающая, что мы должны найти подобных себе и еще к тому же обладающих современной нам технологией. Это положение, совершенно неприемлемое при логическом анализе, к сожалению, еще не изжило себя. Этот вопрос, по-видимому, является в настоящее время самым важным в всей проблеме (выделено мною.— Д. Б.), и без его разработки все ставящиеся эксперименты и теоретические исследования нисколько не продвинут нас вперед».

Уже выдвигаются нетривиальные, интересно обоснованные гипотезы. Как-то: с деятельностью ВЦ связаны энергетически самые бурные точки Вселенной — квазары и ядра галактик. Еще более дерзкая идея (Г. М. Идлис, Н. С. Кардашов) — высокоразвитые ВЦ нашли выход в иное пространство, осваивают уже не нашу Вселенную...

Стратегия поиска совершенствуется, быстро возрастают технические возможности (можно ожидать, что в недалеком будущем нам станут известны все звезды нашей Галактики). Великое событие — обнаружение «братьев по разуму», — по мнению многих специалистов, становится все более реальным. Н. С. Кардашов даже считает, что успех возможен уже в пределах этого десятилетия, и тогда «...огромный объем информации, накопленный во Вселенной за миллиарды лет, станет доступным и для человечества».

Близок этот час или далек — во многом опять же зависит от нашего умения искать и мыслить. Последнее, кстати говоря, после установления контакта скорей всего потребуется в еще большей мере, чем до встречи.

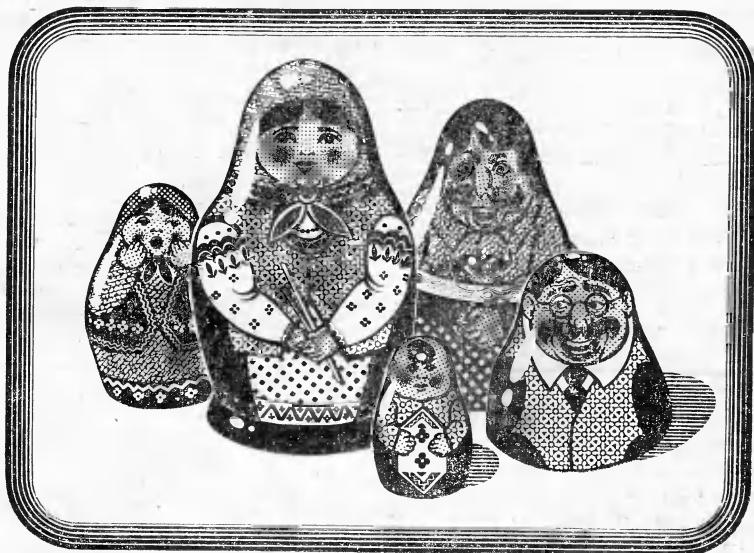
К чему и надо готовиться.



БОРИС ГУРЕЕВ

ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ

Рисунок
А. Сальникова.



Шитиков сидит в кресле и смотрит хоккей.

Жена Шитикова полулежит на диване, вяжет и смотрит хоккей.

За столом расположились: сын Шитикова, жена сына Шитикова и сын сына Шитикова — внук Шитикова. Сегодня они в гостях у родителей.

Все смотрят хоккей.

...А наши играют с канадцами. А Капустин получает шайбу от Шалимова в средней зоне. А перед ним вырастает непроходимый заслон. А Капустин хитроумным финтом обходит непроходимый заслон и на большой скорости устремляется... Свисток. Вбрасывание. Смена составов. Это Шепелев оказался в положении «вне игры» и...

Шитиков сидит и думает: «Это Шепелев оказался в положении «вне игры».

Жена Шитикова полулежит и думает: «Два накида, две петли... Жаль, что он так рано свистнул!»

Сын Шитикова думает: «Нужно было раньше отдавать налево. Пропустить, что ли, рюмочку под это дело?»

Жена сына Шитикова пытается толкнуть сына Шитикова под столом ногой, не достает и думает: «Скорее все это кончится!..»

Внук Шитикова давно хочет по-

просить еще одну конфету и обдумывает: как бы ее так попросить, чтоб ее получить?

...А матч продолжается. Бросок — штанга! Еще бросок — вратарь на месте! Вбрасывание. Смена составов.

Внук Шитикова спрашивает:

— Пап, а счет в какую пользу?

— Не в «какую», а в «чью», — поправляет жена сына Шитикова.

— Не «в пользу», а «кто ведет в счете», — поправляет сын Шитикова.

— Пап, а кто ведет в счете?

— Ты что, не видишь? — говорит сын Шитикова, показывая на экран.

— А сколько до конца осталось?

— Ты что, не слышишь?

— Дай ребенку конфету! — говорит с дивана жена Шитикова, одновременно подумав как о деспотичности своего сына по отношению к ее внukу, так и о непослушании своего внука по отношению к ее сыну.

...Но тут в ворота канадцев влетает шайба, и все вздрагивают, и оживляются, и переглядываются. Свисток. Вбрасывание. Смена составов...

Внук Шитикова торопливо жует конфету.

Сын Шитикова думает: «Ну, я за него возьму-усь! Он у меня

увидит сладкое! Пропустить, что ли, рюмочку под это дело?»

Жена сына Шитикова шарит под столом ногой и думает: «А этому лишь бы пить!.. А этой лишь бы вязать!.. Вяжет, вяжет... Хоть бы собственному внуку шапочку связала!»

Жена Шитикова думает: «Два накида, две петли».

Шитиков говорит, показывая на экран:

— Вон, Шепелев оказался в положении «вне игры».

Сын Шитикова говорит:

— Нужно было ему раньше налево отдавать. Пропустить, что ли, нам...

Внук Шитикова спрашивает:

— Пап, а почему нужно было раньше налево отдать?

Сын Шитикова говорит:

— Потому что Шепелев оказался в положении «вне игры».

— А что такое...

— Дай ребенку конфету, — говорит с дивана жена Шитикова и думает: «Два накида... Столько дел накопилось! Две петли... Хоть бы посуду взялась помыть — невестка называется!»

Внук Шитикова толкает сына Шитикова под столом ногой.

Сын Шитикова думает: «Растолкалась! Завела моду: чуть что — ногами. Вот назло не встану, назло!»

Жена сына Шитикова дотягивается и наконец-то до чьей-то ноги, с силой на нее давит и думает: «Сколько можно здесь торчать?! Ему что — завтра дрыхнуть, а мне ребенка в школу собирать».

Шитиков удивленно оглядывается на диван, смотрит на свою жену и думает: «Как это она дотянулась? Два накиды, две петли... Два накиды, две петли... О, ошиблась».

Музыка кончается. На голубом экране появляется дикторша.

Сын Шитикова встает и говорит:

— Ну что, поехали?

Жена сына Шитикова встает.

Жена Шитикова говорит:

— О-оо, ошиблась! Распускать придется.. Посидели бы еще.

Сейчас кино будет. По четвертой программе.

Шитиков встает.

— Не уговаривай, мать. Завтра рабочий день.

Жена Шитикова думает: «Особенно у тебя он рабочий! Два накида, две петли...»

Жена сына Шитикова думает: «В его возрасте, при его профессии — и ничего не читать. Эт-то надо уме-е-еть!..»

Сын Шитикова думает: «Хоть бы машину свою дал — дождешься от него!»

Потом они долго прощаются в прихожей.

Шитиков говорит:

— Спасибо, что пришли.

Сын Шитикова говорит:

— Да о чём ты, батя?! Воскресенье — святое дело!

— В следующее воскресенье

ждем вас с ответным визитом, — говорит жена сына Шитикова, очаровательно улыбаясь.

— Как, отец, придем? — говорит жена Шитикова, улыбаясь.

— Постараемся, — говорит Шитиков, улыбается и думает о том, какие они все, в сущности, близкие люди.

— Бабушка, а что больше: два накида или две петли? — уже в дверях спрашивает внук Шитикова.

— Две конфеты, — шутит кто-то из Шитиковых, и все Шитиковы одновременно улыбаются и одновременно думают: «Сквозняк! Дует!»

А внук Шитикова додумывает: «...Счас ка-а-ак дунет, так что все бабкино вязанье сдуёт!» — и тоже улыбается.

ВЛАДИМИР СЛУЦКИЙ СОВРЕМЕННЫЙ РОМАН

Рисунок И. Оффенгенденда.



Первокурсник Творожников был уже опытным студентом и знал, что дискотека — это современные танцы.

За свои неполные восемнадцать лет Творожников неоднократно присутствовал на торжественных

собраниях, много раз бывал на концертах, но на дискотеку оншел впервые.

Зрелище оказалось действительно впечатляющим. В полутемном зале в свете цветных прожекторов и милиционских «мига-

лок» ритмично прыгали студенты. Музыка низвергалась из всех углов зала и сплошным гулом ложилась на танцующих.

Творожников робко стоял у колонны и с непривычки стеснялся. Он бы, наверное, так и не решился присоединиться к танцующим, если бы рядом с ним не раздался бархатный девичий голос:

— Скучаете, молодой человек? Может быть, потанцуем?

Творожников хотел получше рассмотреть, кому принадлежит голос, но как-то неожиданно и сразу очутился в самом центре танцующих. Его партнершей оказалась высокая, стройная девушка с красивым волевым лицом.

— Звать-то тебя как? — резко спросила она совсем оробевшего Творожникова.

— Меня? — переспросил он и тихо ответил: — Толиком.

— Ну, а меня Катериной, — весело сказала она. — Ты на каком курсе?

— На первом, — еле слышно произнес Творожников.

— Счастливый. У тебя еще самое интересное впереди. А вообще ты мне сразу понравился, как только вошел. Аккуратнейший, скромный, ботиночки начищены, вместо джинсов брючки наглая-женные...

Творожников густо покраснел и тихо сказал:

— Знаете, уже поздно. Мне пора.

— Да брось ты, десять часов, детское время.

— Нет, нет, мне пора, и мама будет волноваться.

— Ну, ладно, давай провожу, — миролюбиво сказала Катерина

Они вышли на улицу. Шел мелкий, комочий снег. Изредка попадались одинокие прохожие. Катерина что-то увлеченно рассказывала о стройотряде, где она летом работала бригадиром, но Творожников не слушал ее. Он смотрел на ее красивый волевой профиль и думал, что Катерина может стать для него отличным товарищем. Мимо прошла стайка хулиганов. Творожников взял Катерину под руку, и ему сразу стало хорошо и спокойно. Возле дома Творожникова они попрощались и договорились встретиться в следующее воскресенье. Катерина быстро обняла Толика и крепко поцеловала в губы.

— Что вы делаете, что вы со мной делаете? — проговорил он в смятении и, резко вырвавшись, побежал в подъезд.

«Скромный», — тепло подумала о нем Катерина и, внутренне улыбаясь, пошла бродить по вечернему городу.

Через неделю они встретились у кинотеатра «Дружба». Творожников опоздал на 15 минут, но, увидев его счастливое лицо, Катерина ничего ему не сказала, хотя сама пришла на 15 минут раньше срока. Она осторожно положила руку ему на плечо. Творож-

ников доверчиво прижался к ней, и они медленно пошли по улице.

— Толя, скажи мне честно, кто в среду провожал тебя после института? — как можно спокойнее спросила Катерина.

— Светка Богданова с третьего курса. А что?

— Да ничего. Вот встречу ее завтра после занятий, — угрожающе сказала Катерина, — и поговорю с ней по-нашему, по-женски.

— Катя, не трогай ее, ну, пожалуйста. Все равно она мне ни капельки не нравится.

— Там будет видно, — сухово сказала Катерина и вдруг резко повернулась к Творожникову: — Толик, женись на мне, а?

— Это, что... предложение?

— Понимай, как хочешь.

— Так сразу... слишком неожиданно... Мне надо подумать... Что скажут родители... И потом мы так мало знакомы...

— А чего тут думать, а чего тут думать? — развелась Катерина. — У меня через полгода распределение. Уедем далеко-далеко, новый город будем строить.

— Нет, не могу... Мне еще учиться надо.

— И там люди учатся. На заоч-

ных переведешься. Фамилию мою возьмешь.

— А если дети пойдут? — тревожно спросил Толик.

— Я тебе помочь буду, — смилотвержено сказала Катерина, — пеленки буду стирать. Перед работой за молоком забегу.

— Не знаю, не знаю... — чуть не плача сказал Толик. — Это все так неожиданно.

Катерина нервно закурила сигарету.

— Ладно, Толик, — жестко сказала она. — Ты подумай. Но учти, мне спешить некуда, а тебя через год-два уже старым холостяком называть будут...

Первокурсник Федя Ястребов, который все это время внимательно слушал, спросил:

— И ты никогда не жалел об этом?

Анатолий Петрович, его дядя, замолчал и нервно заходил по комнате. Потом остановился, махнул рукой, как бы отгоняя какие-то непрошеные мысли, и глухо сказал:

— Ладно, зabolтался я с тобой, а мне еще второе приготовить надо.. Сам знаешь — скоро тетя с работы придет.

— Позвоним еще Паше, — листаю я записную книжку.

— Ну, — Наташка в сомнении надувает губы, — он такой молчун. Будет весь вечер сидеть в стороне, слова из него не вытянешь. Может, не надо?

Я минуту колеблюсь под ее взглядом, наконец проявляю принципиальность:

— Нет, все-таки Пашу мы возьмем с собой: он мой друг детства, и, кроме того, он всегда тащит самый тяжелый рюкзак!

Вот такая у нас компания. Не то что эти, которые «ты — мне, я — тебе».

СЕРГЕЙ ТУПИЦЫН

НАША КОМПАНИЯ

Рисунок И. Оффенгендена.

Мы презираем те компании, которые подбираются по служебно-житейским интересам: Мария Ивановна работает на базе, Ефим Петрович директор столовой, а Лелечкин муж может толкнуть наше чадо в вуз. Такие компании скучны и неинтересны, поймы, наконец.

Мы собираемся, чтобы вместе съездить за город, пожарить на костре шашлыки, попеть хорошие песни, посмеяться удачной шутке. Пусть скептики брюзжат, что романтика давно вышла из моды: мы романтики.

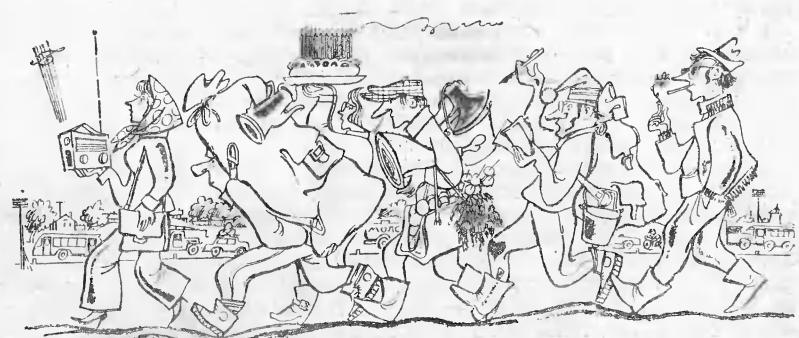
Завтра у моей жены Наташки день рождения, по традиции ре-

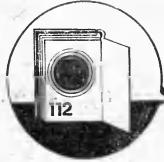
шено спровести его на природе в своей компании. Мы с Наташкой садимся у телефона, чтобы оповестить друзей.

— Обязательно позови Гошу, — напоминает Наташка, — лучше его никто не умеет готовить шашлыки. Да, и пусть Вася не забудет гитару.

— Позвоним еще Жариковым, — добавляю я, — они обязательно испекут пирог.

— Сёму, Сёму не забудь, — перебивает Наташка. — Он непременно посвятит мне стихи. А кто лучше Коли расскажет веселые истории?





ПЕТР ВЕГИН

ТАК НАЧИНАЮТ...

Сергей Горяев сейчас заканчивает Строгановку. Его молодые годы, вернее, его молодые полотна весьма непохожи на то, что делал в молодости и так удивительно развили в зрелые годы его отец Виталий Николаевич Горяев. Вспоминаются строки Бориса Пастернака:

Так начинают. Года в два
от мамки рвутся в тьму мелодий...

Тьма мелодий и есть исток каждого нового художника. Горяев-старший — это взрыв, спонтанность, его живописный образ рождается в процессе творчества. Когда смотришь на холсты Горяева-старшего, видишь сам процесс создания, возникновения. Таинство замысла и творения не спрятано, а, напротив, оно щедро раскрывается во всей своей динамике и не-повторимости.

У Горяева-младшего все наоборот. Он демонстрирует только образ — каким его угадал и видел. Процесс создания, путь к этому образу не участвуют в полотне. Четкое ощущение, законченная концепция, ласкальность цвета. Это принципы иконописи — так, и никак иначе. Каждый цвет у Сергея Горяева ищет свое место в пространстве. И цель его — найти единственно возможный цвет, способный жить и обозначать то, что своим внутренним зрением увидел художник: стол, газету, подушку, цветок. Когда это достигнуто, картина живет, и у меня уже не поднимается рука написать о таких работах — натюрморт. Это уже не мертвая натура, а оживленное цветом пространство.

За голубым полотном развернутой газеты я вижу лицо читающего, хотя оно и скрыто газетой. И ощущаю накал того, что этот человек читает, накал точно передан темно-красным треугольником скатерти и уточнен, акцентирован черным чайником, который поставлен, как ударение над словом. Разве это натюрморт? Действие, событие!

И совсем не цветок в кувшине рождает ощущение летнего утра на втором натюрморте. Не цветок — яркая, солнечная подушка, квадратное, но облако на голубом просторе. Почти плывущее по голубому — лето, глубокое, спокойное лето. Зимой таких красок и пластики не может быть, зимой все другое.

Сергей Горяев избрал для своей живописи трудную технику: он работает акриловыми красками. Английский и голландский акрил сохнет 15—20 секунд. Значит, каждый мазок, каждое движение кисти должно быть единственным и безошибочным. Так работает Гуттузо. Это значит, что Горяев учился у Гуттузо, его наставники в живописи — Учелло и Ерак, Родченко и Де'Кунинг, Леже и Акоп Акопян — художни-

ки, для которых общей характеристикой является, я бы сказал, мощь локальных отношений цвета.

Родословная скульптора Георгия Курдова тоже идет от его отца — пензенского скульптора. Но в искусство Георгий пришел не сразу, а «по параболе» — сначала учился в Лесном институте, затем в университете и только в семьдесят седьмом году поступил в Строгановку. Учился в мастерской монументальной скульптуры у Александра Бурганова. На выставке, где Георгий участвовал вместе с Сергеем Горяевым, его жанровая скульптура привлекла большое внимание и вызвала горячее обсуждение. И «Бедный Йорик», и «Гомер», и портрет Александра Блока... Но в особенности «Незнакомка», которую, кстати сказать, приобрела для своих фондов Академия художеств, — не так уж часто это бывает с работами молодых.

Блоковская «Незнакомка»... Каждый из нас давно уже составил свой образ — по стихам ли, по пьесе ли — и всякий раз, слушая или читая его, мы опять представляем ту картину, которую вызывал в нашем воображении блоковский шедевр. И вдруг мы встречаемся со скульптурным, статичным, запечатленным мгновением. В другом материале — не в слове, а в гипсе... «Незнакомка» и Блок. Униженная красота и Поэт. Смотрите на эту работу, мысленно читая стихи, и вы опщутите холод и напряжение, разделяющие этих двух людей, неловкость Поэта не перед нею — за нее, за эту вчерашнюю красоту, продаваемую теперь навынос, за надломленный стебель жизни... Разбитое окно с осколками стекла — это разбитый дом. Разбитый дом Женщины. Разбитый дом Поэта. Дом Незнакомки и одновременно — дом Блока. Одно окно — два дома. Это объединяющая преграда: объединяя этих двух людей, окно отделяет их, отсекает друг от друга. И ни Поэт, ни Женщина никогда не поступят в окно друг другу — в разбитое окно не поступать. И сзади них — нечто мощное и вечное, растущее вверх, как позвоночник Времени.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!

Такое чувство вызвала во мне эта работа Георгия Курдова. И, бесспорно, это не перенос поэтического текста в материал скульптуры — это осмысливание Времени. Блоковское стихотворение — это густок Времени. Курдов это блоковское Время осмыслил точно и тонко.

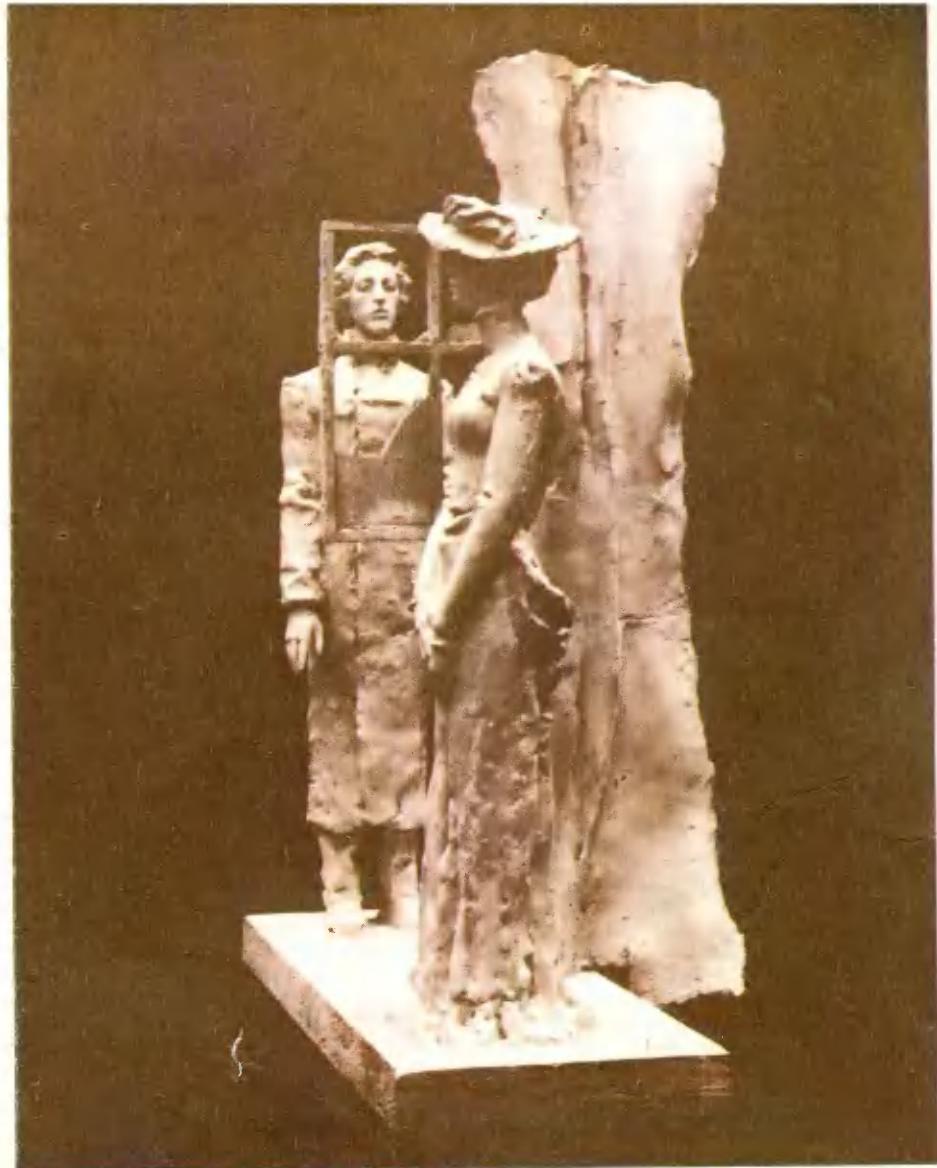
Он, вероятно, обладает редкой способностью точно брать интеграл от поэзии. Не менее яркой, чем «Незнакомка», вещью является и «Гомер». Эту работу можно назвать точнее и откровеннее — знаменитой мандельштамовской строкой «Бессонница, Гомер. Тугие паруса». И бессонницы нет (как ее передашь в гипсе?) и парус (а не паруса) не тугой, но поэтическая ассоциация неоспорима и точна. Слепой певец в рваной хламиде тянет руки к плывущему издалека кораблю, зная, что этот корабль несет новые вести. И, несмотря на слепоту, а может, благодаря ей он точно чувствует, где это новое находится в пространстве.

Художник, будь он живописцем, скульптором или поэтом, должен быть таким же чутким к пространству, к Времени, к новому.

Г. КУРДОВ.

Незнакомка

[гипс].



С. ГОРЯЕВ.

Натюрморт

[энкаустика].



ЮНОСТЬ З

Индекс
71120

Цена 70 коп.